

А ЗАВТРА - ВЕСЬ МИР!

Приключения Отто Прохазки IV



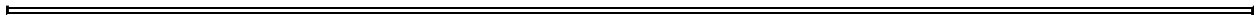
ДЖОН БИГГИНС

Annotation

В этой книге, последней по времени написания, но первой по хронологии событий, юный кадет Морской Академии Отто Прохазка на паровом корвете Австро-Венгерской империи несет цивилизацию невежественным народам Африки и Океании.

- [Реквизиты переводчика](#)
- [Аббревиатуры](#)
- [Наименования](#)
- [Глава первая](#)
- [Глава вторая](#)
- [Глава третья](#)
- [Глава четвёртая](#)
- [Глава пятая](#)
- [Глава шестая](#)
- [Глава седьмая](#)
- [Глава восьмая](#)
- [Глава девятая](#)
- [Глава десятая](#)
- [Глава одиннадцатая](#)
- [Глава двенадцатая](#)
- [Глава тринадцатая](#)
- [Глава четырнадцатая](#)
- [Глава пятнадцатая](#)
- [Глава шестнадцатая](#)
- [Глава семнадцатая](#)
- [Глава восемнадцатая](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)

- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)



Реквизиты переводчика

Переведено группой «Исторический роман» в 2018 году.

Книги, фильмы и сериалы.

Домашняя страница группы В

Контакте: http://vk.com/translators_historicalnovel

Над переводом работали: zloyzebr, nvs1408, gojungle, Oigene, Elevener, victoria_vn, Photina, mrs_owl, Urietta, Scavenger и pesok08 .

Поддержите нас: подписывайтесь на нашу группу В Контакте!

Яндекс Деньги

410011291967296

WebMoney

рубли – R142755149665

доллары – Z309821822002

евро – E103339877377

PayPal

istoricheskij.roman@gmail.com

VISA, MASTERCARD и др.:

https://vk.com/translators_historicalnovel?w=app5727453_-76316199

Аббревиатуры

Образованная в 1867 году Австро-Венгерская империя представляла собой объединение двух почти независимых государств под скипетром одного монарха, императора Австрийского и короля Венгерского. В этой связи в течение пятидесяти одного года практически все учреждения и многие чиновники этого составного государства имели перед своим названием инициалы, обозначающие их принадлежность к той или иной части державы.

Совместные австро-венгерские институты обозначались как «императорские и королевские»: «kaiserlich und königlich», или «k.u.k.» для краткости. Те, что относились к австрийской части монархии, (т.е. все, что не имело отношения к королевству Венгрия) именовались «императорско-королевскими»: «kaiserlich-königlich», или просто «k.k.», в дань уважения статусу государя как императора Австрии и короля Богемии. Тем временем чисто венгерские ведомства назывались «королевскими венгерскими»: «königlich ungarisch» («k.u.») или "kiraly magyar" ("k.m.").

Австро-венгерский флот следовал принятой на Европейском континенте практике измерять морские расстояния в милях (1852 м), сухопутные в километрах, боевые дистанции в метрах, а калибр артиллерийских орудий в сантиметрах.

Однако он придерживался бытовавшего в Англии до 1914 года обычая отмерять время двенадцатичасовыми интервалами. Корабли обозначались как «Seiner Majestats Schiff» — «S.M.S.».

Наименования

Поскольку две мировые войны сильно перекроили границы государств и изменили многие из используемых в этой истории названий до неузнаваемости, в этом списке отражены названия, использовавшиеся в 1916 году, и их современное произношение (наименование).

Приведенные здесь названия официально употребляли в Австро-Венгрии на рубеже веков, и они не подразумевают признания каких бы то ни было территориальных претензий прошлого, настоящего или будущего.

Аббация - Опатия, город в Хорватии на северо-востоке полуострова Истрия, на берегу залива Кварнер Адриатического моря.

Каттаро - г. Котор в Черногории, на берегу Которского залива Адриатического моря.

Черзо - Црес (остров в Адриатическом море, в северной части Хорватии, возле далматинского побережья в заливе Кварнер).

Фиуме - город Риека в Хорватии, в северной части Далмации, рядом с полуостровом Истрия.

Кремзир - город Кро́мержиж в Чехии известный как Ганацкие Афины. Был признан красивейшим историческим городом Чехии.

Луссин-Гранде - Вели-Лошинь (остров в Адриатическом море, в северной части Хорватии, возле далматинского побережья в заливе Кварнер)

Паго - Паг (остров в Адриатическом море, принадлежащий Хорватии. Находится в центральной Далмации)

Пола - Пула, город в Хорватии, на западном побережье полуострова Истрия в Адриатическом море.

Кварнерич - небольшая часть залива между островами Црес, Крк, Паг и Раб.

Сансего - Сусак (небольшой песчаный остров в заливе Кварнер. Располагается на севере адриатического побережья Хорватии)

Траутенау - Трутнов (Чехия)

Троппау - город Опава в Чехии, на территории Моравско-силезского края, на реке Опаве (приток Одера).

Велия — остров Крк в северной части Хорватии, возле далматинского побережья в заливе Кварнер.

Зара - Задар, город в Хорватии, один из важнейших исторических центров Далмации. Находится в центральной части побережья Адриатики.

Глава первая

ПОЛНЫЙ КРУГ

*Записано в Плас-Гейрлвид, Пенгадог
(недалеко от Ллангвинида, Западный Гламорган), февраль 1987 г.*

Многие люди, кем бы они ни были, считают, что перед глазами утопающего проходит вся его жизнь. Но как скептик со стажем, а также и как человек, который за время своей долгой мореходной службы неоднократно был близок к тому, чтобы утонуть, я должен сказать, что относительно этого безапелляционного утверждения у меня возникло множество сомнений.

Даже если отбросить очевидное — откуда это известно? Может, спрашивали у тех, кто едва не утонул, а потом был спасён и реанимирован? Дарована ли такая привилегия только тем, кто умирает от избытка воды в лёгких? Испытывают ли такие же ощущения те, на кого наезжает грузовик, или те, кто медленно задыхается от утечки выхлопных газов в машине, не понимая, что происходит?

Конечно, если время иллюзорно, то нет разницы, где и как заняться обзором прошедшей жизни, и не важно, умирает ли человек, медленно захлебываясь, или быстро и без долгих рассуждений выпускает дух, рискнув подойти слишком близко к краю платформы на железнодорожной станции в Таплоу.

Много лет назад, году этак в 1908-ом, я был молодым лейтенантом императорского и королевского австро-венгерского флота. Мой корабль стоял в Тулоне, и я вместе с одной знакомой отправился на однодневную экскурсию в Марсель. День был нерабочий, мы не нашли ничего лучшего, чем просто прогуливаться, и случайно набрали на крохотный музей полиции, наполненный свидетельствами примечательных преступлений, раскрытых местной жандармерией за долгие годы.

Помню, среди экспонатов стояли два скелета осуждённых отравителей. Пятый шейный позвонок каждого, окрашенный красным, демонстрировал, как аккуратно сработал нож гильотины, прошедший через него, «не причиняя никаких страданий и боли приговорённому», как

гласила карточка в витрине. И даже в таком случае это заставляет меня задаваться вопросом — отчего они так в этом уверены? Но если «целая жизнь пронеслась перед глазами» и этих двоих, когда это началось и когда закончилось? Как только щёлкнула задвижка, высвобождая лезвие, или в момент удара? Или когда отрубленная голова упала в корзину? И если перед ними промелькнула вся жизнь, что они видели — каждую чашку кофе и все штопанные носки за сорок с лишним лет? Или только избранные моменты? Если всё это в прошлом — как они отличили его от реальности? И если только избранное — как выбирались эти важные мгновения? Они наблюдали как зрители или участвовали в действии?

Нет, здесь всё слишком пронизано сложностями и неразрешимыми вопросами, чтобы люди могли с уверенностью рассуждать об этом. Я могу лишь добавить, что когда я оказался ближе всего к смерти, на борту подлодки возле острова Корфу в 1916 году, то прекрасно осознавал происходящее почти до самого конца и на самом деле не ощущал ничего, кроме необычного внутреннего спокойствия и сильного желания, чтобы всё кончилось как можно скорее. Помню свою последнюю мысль перед тем, как потерял сознание — я не оплатил счета кают-компания за сентябрь и надеялся, что служащий в Каттаро найдёт конверт и отправит его в бухгалтерию вместо меня.

Но даже если я и сомневаюсь в том, что утопающие пересматривают заново всю свою жизнь, должен сказать, что теперь, когда я живу на свете сто первый год, и моя собственная жизнь близится к концу, я стал замечать, что на поверхность среди обломков настоящего всплывают давно забытые события, как будто минувшая жизнь и в самом деле проходит перед глазами чередой разрозненных эпизодов, словно спасённые от уничтожения кадры старого фильма.

Полагаю, ничего особенно удивительного в этом нет — прошлым летом, как раз перед тем, как сёстры перевезли меня сюда, в Уэльс, мне вернули старый фотоальбом времён Первой мировой войны, обнаруженный в лавке старьевщика в западном Лондоне. Одного этого события достаточно, чтобы заставить задуматься даже самого старого и чёрствого материалиста.

Это натолкнуло меня на разговор со здешним рабочим Кевином Скалли о моём опыте службы командиром подлодки, что, в свою очередь, привело к изложению остальных мемуаров на магнитофонную ленту, когда Кевин и сестра Элизабет убедили меня, что воспоминания стоит записывать.

На Рождество я слёг с бронхиальной пневмонией, но отказался

помирать от неё, что, несомненно, противоестественно. И вот теперь, когда суровая январская погода уступила место столь же необычно мягкому февралю, я обнаружил, что в моём распоряжении оказалось ещё немного времени. Мне позволяли встать, одеться и даже сидеть в защищённом от ветра уголке сада — при условии, что предварительно меня хорошенько укутают и будут держать под наблюдением. Я сидел там и сегодня после полудня — и это совершенно восхитительно. Утихли привычные семибалльные западные ветры, светило солнце, и волны мягко накатывали на песчаный берег бухты Пенгадог.

Глядя на известняковую оконечность мыса вдаль, на другой стороне бухты, я мог бы представить себя в Аббации в конце зимы — если бы не отсутствие пальм, разумеется. Да, определённо, откуда здесь взяться пальмам — даже антарктические буки Огненной Земли вряд ли выжили бы на здешнем ветру на дальнем конце полуострова. Отсюда на три тысячи миль, до самого побережья Массачусетса, нет ничего, кроме бескрайних сине-серых волн и ревущего западного ветра. Деревья вокруг Пласа растут как кусты и стелются по земле, чтобы противостоять ветру.

Учитывая все обстоятельства, сестрам, видимо, пришлось потрудиться, чтобы найти самое неподходящее место на Британских островах для последнего земного пристанища пятидесяти или около того польских эмигрантов мужского пола, за которыми присматривают восемь-девять почти столь же дряхлых польских монахинь. Судя по внешнему виду, Плас-Гейрлвид построил в начале века один из медных баронов Суонси, выбравший этот продуваемый всеми ветрами мыс отчасти (по моим предположениям) из поздне-викторианского романтизма, а отчасти из более практичного желания находиться с наветренной стороны от ядовитых паров собственного плавильного производства. Возможно, барон думал и о защите от собственных рабочих на случай, если дело плохо обернется: дом находился в конце двухкилометровой дороги, и у почтовой конторы Ллангвинида было бы достаточно времени, чтобы вызвать по телефону конную полицию. Но если отбросить эти соображения, дом оказался крайне неудачным.

Приземистое двухэтажное здание в стиле короля Якова (рамы сводчатых окон и дубовые панели покрашены теперь в мрачный коричневый цвет) окружено террасами на склоне холма, давно заросшими кустарником и соединёнными скользкими лестницами из шатких каменных плит. Эти ступени собирают каждую зиму такой богатый урожай сломанных ног, что в больнице Суонси с октября по апрель теперь держат наготове две кровати и медсестру, говорящую на польском.

И не только сломанных ног: если я правильно помню, в позапрошлом ноябре мистер Станкевич вышел прогуляться, и через полтора месяца его нашли на пляже Ильфракомб, опознав по вставным зубам.

Крыша текла, водосточные желоба обваливались, а пока я в декабре валялся в постели, во время шторма сквозь крышу провалились два дымохода, и теперь на их месте красовались заплатки из фанеры и полиэтилена. Юный Кевин делает все, что в его силах, но Сестры Вечного Поклонения небогаты, да и в любом случае для поддержания дома в порядке нужен целый полк. Конечно, им следовало бы продать его, а на вырученные деньги расширить приют в Илинге.

Но кто же его купит? Дом достался Сестрам по завещанию местного фермера-поляка, который приобрел его на пару с товарищем в 1946 году, а потом (по слухам) убил своего партнера в пьяной драке и так хитро избавился от тела, что, в конце концов, полиции пришлось принять его версию, будто тот вернулся в Польшу и погиб от руки коммунистов. Кевин говорит, будто в округе считают, что в Пласе обитают призраки, и хотя большую часть земли хозяин потихоньку пропил, к дому никто и близко не подходил.

Полагаю, лет через двадцать, когда мы все умрем, сестры съедут отсюда, и дом наконец развалится или весьма кстати сгорит. Сам я, будучи моряком, не слишком возражаю против Плас-Гейрлвида, но для моих соседей слишком уныло проводить в нем последние годы жизни. Место ссылки для тех, кто и так уже в изгнании. Их выдернули из родной земли и засунули сюда, на край географии, ссориться друг с другом и видеть сны о мире, которого вот уже полвека как нет. Высылка на Луну и то оказалась бы менее жестокой, Луну хотя бы видно из Варшавы.

Для них, выросших среди капустных полей и сосновых лесов польских равнин за тысячи километров от соленой воды, это, должно быть, очень неприятное место. Но лично меня вой океанского ветра и штормовые волны, бьющиеся о скалы, совсем не беспокоят. Да, я чех по рождению, выросший в Северной Моравии, в самом сердце Центральной Европы. Но я очень рано выбрал флотскую карьеру, и пусть прошло уже много лет с тех пор, как я ощущал под ногами качающуюся палубу корабля, меня не тревожит слабая, хоть и ощутимая дрожь от удара особенно крупной волны или соленые брызги на оконных стеклах во время зимних штормов.

Однако вчера днем стояла спокойная и приятная погода. Утром меня осмотрел доктор Уоткинс и признал состояние удовлетворительным, так что сестра Фелиция, огромная безобразная монашка прусско-польского происхождения, выполняющая здесь роль адъютанта, позволила Кевину и

сестре Элизабет вывезти меня на прогулку. Очень кстати, поскольку я не выходил на улицу с прошлой осени. Не так уж далеко, всего лишь на другой конец бухты Пендагог, но возможность оказаться на некоторое время вдали от ароматов рассольника и старческого недержания, висевших над Пласом, как облака над Столовой горой, очень освежала.

Итак, мы отправились в путь на принадлежащем Кевину потрепанном ржавом «Форде-Кортина», захватив термос чая с лимоном и пару пледов для моих коленей. Сестра Фелиция была в таком игривом настроении, что даже помахала нам из дверей кухни, возможно, надеясь, что меня привезут назад завернутым в этот же плед, вроде спартамца, возвращающегося домой на щите, а не со щитом. Полагаю, для того, кто уже перешагнул столетний рубеж, я в хорошей форме: не нуждаюсь в подгузниках, неплохо соображаю и могу подняться по лестнице без посторонней помощи.

Немного беспокоит катаракта и негнущиеся суставы, и порой я задыхаюсь, но в остальном все нормально.

Когда мы подъехали к грязной аллее возле маленькой церкви, мне помогли выбраться из машины, но после этого они просто находились поблизости. Никакой назойливой суеты вроде поддержания под руки или поворачивания за локоть, будто иначе я забреду прямо в море.

Они странная пара: малообразованный и невоспитанный валлийский юноша и неряшливая маленькая австро-польская монахиня за шестьдесят, с полным ртом железных зубов и очками с толстыми линзами в проволочной оправе. Но оба — отличные компаньоны, добрые от природы и без утомительной привычки говорить медленно и громко со стариком, у которого еще варит котелок, а слух вполне острый. Полагаю, для них это было таким же выходом в свет, как и для меня. Кевин давно сидит без работы, за исключением этой подработки, устроенной ему отцом МакКэффри, и торчит в каком-то унылом поселке в Лланелли, а что касается сестры Элизабет (или Эльжбеты, как зовут ее здесь), орден Вечного Поклонения стал ее тюрьмой после возвращения из Сибири в 1956-ом.

Мы посмотрели на маленькое кладбище (у церкви нет паствы, поэтому теперь она постоянно закрыта). Здесь упокоилась пара государственных воинских захоронений с символами торгового флота, по одному на каждую мировую войну — полагаю, это утонувшие моряки, выброшенные на берег — а также ряд из девятнадцати пропитанных креозотом крестов, отмечающих могилы поляков из Пласа.

Я сказал, что можно делать ставки, кто станет двадцатым — я или кто-то еще. В ответ сестра Элизабет искренне рассмеялась — я спокойно могу

отпускать при ней такие бессердечные шутки.

Потом мы направились на побережье. В конце полуострова пролегали прекрасные песчаные пляжи, но слишком открытые ветру и труднодоступные, так что даже в конце лета они привлекают разве что горстку отдыхающих. Над песком возвышается длинная гряда нанесённой штормами гальки, изгибающаяся вдоль бухты. Мы вскарабкались с обратной стороны, и Кевин с сестрой Элизабет поддерживали меня, пока мы стояли на гребне, глядя, как на берег мерно накатывают синие волны Атлантики.

А потом я кое-что увидел чуть дальше на берегу — остов старого деревянного корабля, вросший в гальку. Почерневшие дубовые шпангоуты разъело море, теперь они торчали острыми обломками. На них ещё держались какие-то фрагменты боковой обшивки и несколько ржавых изогнутых железок — остатки форштевня и рудерпоста. Гнилые обрубки трёх мачт до сих пор безнадёжно указывали на небо. Должно быть, это довольно большой корабль, водоизмещением, может, восемьсот или даже тысячу тонн.

Мы спустились, чтобы посмотреть поближе. Изрядная часть палубы с уцелевшим комингсом люка лежала на галечной гряде со стороны берега, сквозь трещины в рассыпающихся досках проросла трава. Сестра Элизабет и я уселись на упавший между шпангоутов бимс, а Кевин прислонился к обрубку грот-мачты и вытащил из кармана небольшую книгу.

— Вот, мистер Прохазка, кто всегда ко всему готов, так это я. Принёс с собой путеводитель. — Он полистал книжку. — А, вот оно: бухта Пенгадог. На берегу, ниже церкви, посетители могут увидеть останки судна из Суонси, перевозчика меди «Анхарад Притчард», восемьсот тридцать тонн, построено в 1896 году, выброшено на берег в октябре 1928-го, после столкновения в тумане с пароходом в районе острова Ланди. Украшавшую нос корабля фигуру можно увидеть возле таверны «Герб» в деревне.

Я ненадолго потерял дар речи. Неужто?

— Простите, Кевин, как называется этот корабль?

— «Анхарад Притчард», мистер Прохазка. Построен в 1896-ом, разбился в 1928-ом.

— Да это наверняка он — то же название, возраст, тоннаж, перевозчик чилийской меди.

Так странно внезапно осознать, что восемьдесят с чем-то лет назад мои молодые ноги ступали, возможно, по этому самому месту серебристо-белой палубы, которая теперь лежит здесь, рассыпаясь в прах среди камней

и травы. Так странно, что теперь мы встретились снова — никому не нужные, под конец наших дней выброшенные на этот пустынный берег на дальнем краю Европы.

Кевин слонялся по пляжу, время от времени швыряя камешки в волны подступающего прилива, а сестра Элизабет извлекла из складок облачения губную гармошку (сёстры обители Вечного Поклонения до сих пор упорно цепляются за старомодные длинные рясы).

Она научилась обращаться с этим инструментом в исправительном лагере на Камчатке и играла вполне неплохо, но в Плесе ей нечасто удавалось практиковаться в игре. Эмигрантское польское католичество весьма консервативно, и игра на гармонике считается неподобающим занятием для монахини, что бы ни говорил по этому поводу Второй ватиканский собор. Сестра Элизабет наигрывала простенькую печальную мелодию, «Czeremcha» или что-то в этом роде, ветер вздыхал в далёких польских берёзах, а мы сидели на берегу, погрузившись в раздумья.

Итак, колесо прошло полный круг — в последний раз я оказался на борту «Анхарад Притчарда» восемьдесят четыре года назад, в день землетрясения в Тальтале... Дайте подумать... в феврале 1903 года. Я, Оттокар Прохазка, кадет-третьекурсник императорской и королевской Морской академии, находился на паровом корвете «Виндишгрец», восемью месяцами ранее вышедшем из Пола в учебный поход, который поневоле превратился в кругосветное путешествие. Мы два дня стояли на якоре в Тальтале, на пустынном побережье Чили. Помимо нас там было еще примерно двадцать судов, в основном парусных вроде нашего, но и несколько пароходов, поскольку презиаемые «жестяные чайники» использовались даже в сложной и не особенно прибыльной торговле с Южной Америкой.

В обычных обстоятельствах место, подобное Тальталю, не соизволил бы посетить ни один приличный европейский военный корабль. Это затрапезный порт на побережье Южной Америки, похожий на многие десятки других, беспорядочно разбросанных на трёх тысячах миль Андского побережья от Коронеля до Гуаякиля, такой же, как Талькауано, Уаско, Кальдера, Икике, Антофагаста и все остальные. Такая же бухта с качающимися, как стрелки метрономов, мачтами, когда стоящие на якоре корабли колышет ласковая зыбь тихоокеанских волн.

Повсюду та же однообразная серо-коричневая береговая линия вдоль пустыни Атакама, а за её пределами — те же ряды розовато-лиловых снежных пиков Анд, которые в сухом пустынном воздухе кажутся такими близкими, что можно прикоснуться. Одинаково покосившиеся деревянные

погрузочные причалы, те же жалкие кучки глинобитных или сколоченных из гофрированного железа хибар вдоль одинаково пыльных улочек с ручейками сточных вод, жужжащими мухами и вереницами тощих мулов, плетущихся из пустыни с мешками селитры и медной руды.

Местное население везде одинаковое — унылое сборище метисов, сидящих в полудрёме на корточках в своих пончо или перебивающихся случайными мелкими заработками на погрузочных работах, когда они в настроении пошевелиться или совсем уж нет денег на выпивку. Именно эта бессмысленная лень местных жителей позволяла парусникам участвовать в торговых операциях на Западном побережье.

Чтобы пароход стал выгоден для владельцев, его необходимо загрузить в порту за пару дней. Но здесь погрузка осуществлялась мешками на лихтеры, а из них — в трюмы кораблей, и парусники имели преимущество — они вполне могли ждать месяцами окончания загрузки, а также использовать в качестве грузчиков экипаж.

В обычных условиях в Тальтале не стал бы терять времени ни один европейский военный корабль. Однако с учётом нашего положения в феврале 1903 года «Виндишгрецу» не приходилось выбирать. Совсем недавно мы полтора месяца безуспешно пытались выйти в Тихий океан, обогнув мыс Горн, потом месяц курсировали у Огненной Земли. Теперь мы получили приказ идти вдоль побережья Чили к Кальяо, а затем на запад, чтобы пересечь Тихий океан.

Но наше продвижение вдоль андского побережья получилось ужасающе медленным из-за почти безветренной летней погоды, к тому же деревянный корпус корабля после восьми месяцев в море находился в скверном состоянии — протекал, как корзина, и потому экипажу приходилось на каждой вахте по несколько часов работать на помпах. На якорь в Тальтале мы встали для того, чтобы накренить корабль, дав возможность плотникам добраться до одной особенно серьёзной пробоины, примерно в метре ниже ватерлинии.

Тальталь, как и большинство портов на этом побережье, был плохим местом для стоянки.

Морское дно круто обрывалось, даже в двух сотнях метров от берега глубина составляла семьдесят морских саженей, а грунт на дне такой твёрдый, что постоянно приходилось назначать дежурных для наблюдения за якорем — на случай, если корабль сорвет.

Тем утром большая часть свободных от вахты членов экипажа направилась на берег с различными поручениями. Одна исследовательская группа во главе с антропологом, профессором Сковронеком,

вооружившись кирками и лопатами, высадилась на сушу, чтобы найти захоронения инков и раскопать их ради пополнения профессорской коллекции черепов. Другой отряд, наняв мулов, отправился в горы, поработать с экспедиционным геологом, доктором Пюрклером.

Что касается офицеров, хотя Тальталь и не включили в расписание официальных визитов, наш командир, корветтенкапитан Фештетич, и старший офицер, линиеншифслейтенант Микулич, решили воспользоваться обстоятельствами и в восемь склянок, сложив треуголки на коленях, направились в гичке на берег для встречи с окружным губернатором и представителями местной немецкой общины — в основном швейцарцами и скандинавами, но это не имело значения.

Сойти на берег предложили всем свободным от вахты, но согласились лишь немногие. В той мере, насколько Тальталь мог ожить, он оживлялся только вечером, когда открывались матросские бары и начинали работу так называемые «танцзалы фанданго». То же самое можно сказать и обо всём побережье Чили. На эту унылую и скучную в течение дня местность с наступлением темноты как будто опускался волшебный покров. Солнце садилось за тёмный горизонт Тихого океана, окрашивая далёкие горы попеременно то оранжевым, то пурпурным. А потом на землю падала ультрамариновая бархатная ночь с горящими бриллиантами звёзд, укутывая стоящие на якоре корабли, покачивающиеся на лёгких волнах.

Многие суда в этих водах были валлийскими перевозчиками меди вроде того, что стоял рядом с нами, «Анхарад Притчард», только что закончивший погрузку руды для Порт-Толбота. Вчера после обеда я побывал на его борту — у одного из младших матросов случился приступ аппендицита, и наш хирург, корабельный врач Лучиени, вызванный для операции, захватил меня с собой в качестве переводчика, поскольку сам слабо знал английский.

Когда я не переводил, мои обязанности заключались в том, чтобы переносить стерильные инструменты с камбузной плиты на вымытый столик под навесом на корме, где оперировали юного матроса. Операция оказалась совсем несложной. Доктор Лучиени поместил аппендикс в банку со спиртом, как сувенир для больного, когда тот придёт в себя, потом вымыл руки, опустил закатанные рукава и сложил инструменты, задержавшись лишь на трапе, когда мы спускались в шлюпку, чтобы выслушать благодарности шкипера.

Валлиец должен был уйти в море следующим утром. К концу того дня с лихтера сгрузили последний мешок медной руды, и стоявший на носу юнга приветственно размахивал фуражкой под восторженные крики

товарищей. А вечером, когда плотник закончил задраивать люки перед долгим путешествием вокруг мыса Горн, подняли Южный Крест — деревянный каркас в форме созвездия с керосиновыми лампами вместо звёзд закачался на верхушке мачты, а собравшаяся вокруг команда прокричала троекратное «ура».

Над тёмными водами залива разнеслась песня «Дорога домой». Потом начался импровизированный концерт из валлийских гимнов и эстрадных песенок. Мы считали, что моряки из пароводных экипажей малость бездуховны, примерно как чистильщики или автомеханики. Но на парусниках по-прежнему пели, чтобы облегчить бремя работы, и если на борту имелись хотя бы раздолбанная гармошка и какие-нибудь говяжьи кости для ударных, на судне образовывалось что-то вроде музыкальной группы. Экипаж большого немецкого парусника «Падерборн» выдал нам «Стражу на Рейне».

Потом настал наш черёд. Каковы бы ни были недостатки «Виндишгреца» как парусника, мы оставались австрийскими моряками, а для австрийского военного моряка немыслимо отправиться в океанское плавание, не прихватив с собой военный оркестр.

Наши двенадцать музыкантов собрались на баке и на ближайшие несколько часов заставили нас преисполниться гордости, исполняя марши и вальсы так, что это сделало бы честь Пратеру в майский воскресный день — Штраус, Миллёкер, Цирер, Зуппе — полный репертуар летнего кафе. Помню, закончили они исполнением «Nechledil March» Легара, который вошёл в моду в Вене в прошлом году. Им так много пришлось исполнять на бис, что когда мы наконец разошлись, настала уже почти полночь.

Но веселье закончилось, и утро встретило нас новой работой — пришлось сгребать остатки угля на левый борт, а также перетаскивать орудия и боеприпасы через весь корабль для создания крена, необходимого плотнику и его помощникам, чтобы снять медную обшивку над течью. Поскольку капитан и старший офицер находились на берегу, вахтенным офицером остался мой ротный командир, линиеншиффслейтенант Залески. В последнее время помпа работала не слишком хорошо, так что теперь, когда корабль накренился и вода с днища почти ушла, Залески решил отправить кого-нибудь вниз, посмотреть, в чём там дело.

Выбор пал на меня. Мне пришлось раздеться до трусов, через подмышки перекинули петлю из каната, и я стал спускаться в ужасающе узкую трубу, ведущую вниз, в недра корабля. Я никогда особо не страдал клаустрофобией, но оказался близок к приступу паники — свет почти угас, сойдясь в сероватую точку над головой, и в мрачном, покрытом слизью

стволе шахты эхом отдавалось моё дыхание.

Погрузившись по колено в трюмную воду на дне, я вдруг с ужасом понял, что если корабль по какой-либо причине сейчас выровняется, вода поднимется до прежнего уровня и я утону — если раньше не задохнусь в спёртом воздухе на дне этого колодца. Здесь, внизу, у самого днища корабля, всё оказалось гораздо хуже, чем я представлял.

«Виндишгрец» служил уже почти тридцать лет, и все выделения нескольких сот человек, живших в деревянном корпусе более четверти века, накапливались здесь — содержимое кишечника, помои и утечки из бочек с провизией смешались с испарениями гниющего дерева, образовав дьявольского вида субстанцию, напоминающую сероватый студень, какой находят под люками заброшенных канализационных труб. Стоя там, в тесноте, до бёдер погрузившись в эту жижу, я ожидал дальнейших указаний. И находился на грани обморока.

Наконец, в шахте зажглась электрическая лампа и до меня эхом донёсся голос Залески:

— Ты там в порядке, Прохазка?

Изо всех сил сдерживая рвоту, я крикнул в ответ:

— Осмелюсь доложить, в порядке, герр лейтенант.

— Молодец. А теперь опусти руку и найди, что блокирует входное отверстие насоса помпы. Это что-то вроде бронзовой коробки с дыркой.

— Слушаюсь, герр лейтенант.

Я крепко стиснул зубы и согнул колени, пытаюсь опустить руку пониже под воду, чтобы найти входное отверстие. Колодец был слишком узким, чтобы я мог нагнуться, но наконец мне удалось найти отверстие, густо измазанное слизью — и тут я резко дёрнулся, вскрикнув от боли.

Меня что-то укусило! Из пальца уже капала кровь. Я в отчаянии прикидывал, как вскарабкаться по стене колодца, прислонившись к ней спиной.

Попасть под трибунал за неподчинение приказу казалось мне гораздо предпочтительнее, чем провести ещё пять секунд на дне канализационной трубы.

— Бога ради, Прохазка, в чём там у тебя дело?

— Позвольте доложить... кто-то меня укусил, герр лейтенант.

— Укусил? О чём это ты, юный идиот?

— Тут, внизу, есть что-то живое, герр лейтенант, во входном отверстии помпы.

На некоторое время стало тихо. Я понимал, что наверху проходит совещание.

Но с нетерпением ожидая, когда же меня вытащат из этой отстойной ямы, подальше от неведомого безымянного ужаса, таящегося на дне, я внезапно осознал — происходит что-то необычное. Вода в колодце дрожала и плескалась туда-сюда, как будто корабль вздрагивал. Послышался странный шум — тяжёлый, прерывистый гул, как поезд с изношенными колёсами, грохочущий в подземном тоннеле, или, может, будто огромные пустые бочки бьются друг о друга в подвале.

— Герр лейтенант! — позвал я.

Лампу снова направили вниз, ослепив меня.

— Черт возьми, что ещё?

— Герр лейтенант, позвольте доложить, здесь какой-то странный шум.

Последовала пауза.

— Что за шум?

— Похоже на грохот и треск, герр лейтенант, звук, мне кажется, идёт снизу.

Снова молчание, прерываемое дрожью и приглушёнными толчками. Потом Залески крикнул:

— Мы тебя поднимаем.

Я вылез из колодца, как пророк Иеремия, и обнаружил, что корабль внезапно оживился. Люди вбегали и выбегали из кают, на палубе и по трапам наверху топали многочисленные ноги, а вахта правого борта торопливо возилась с такелажем, разворачивая парус.

Матросы уже трудились, перетаскивая орудия на батарейной палубе к правому борту, чтобы устранить крен.

— Но как же помпа, герр лейтенант?

— К чёрту помпу, подождёт. Сейчас нужно позаботиться о более важных вещах. Давай, лезь на рею!

И я вместе с остальными полез ставить парус.

За восемь месяцев в море я неплохо приспособился к такой работе, так что даже с закрытыми глазами или во сне сумел бы проделать путь к своему месту на бом-брам-рее бизань мачты, зоне ответственности сорока кадетов, поскольку парус здесь несколько меньше, и, соответственно, работа легче, чем на других двух мачтах, но всё же на одну мачту команде меньше работы.

Я вскарабкался по вантам и качающимся пертам, соскальзывая вниз, поскольку корабль всё ещё кренился на левый борт.

Рядом трудились мой друг Макс Гаусс, наш товарищ по кают-компании Тарабочча и кадет-четверокурсник Арвей. Стоило нам распустить сезни, удерживающие свёрнутый парус на рее, я понял, что это

не простая тренировка, только чтобы экипаж не расслаблялся — впереди с ужасным грохотом поднялось облако красной пыли, а за ним последовал всплеск, означавший, что перерезали якорный канат, чтобы в спешке отплыть. Однако не было времени удивляться.

Мы отдали последний сезень, и парус скользнул вниз, а в это время матросы на палубе налегали на фалы, чтобы его расправить. Гаусс и я, как обычно, остались наверху, чтобы присмотреть за бык-гордеными, но Залески крикнул нам:

— Забудьте о бык-гордене! Мигом на палубу и к брасам!

Явно произошло что-то серьезное, поэтому мы с Гауссом соскользнули на палубу по грот-стенъ-фордуну, вместо того чтобы, как положено, спуститься по вантам.

Спустившись вниз, я понял — «Анхарад Притчард», стоящий на причале рядом с нами, охвачен тем же непостижимым безумием, что и наш корабль, чем бы оно ни вызвано. Они и так собирались отплыть, но сейчас поднимали якорь и разворачивали паруса, как будто с берега надвигается сам дьявол. Бросив случайный взгляд на морской горизонт, я заметил пересекающую его необычно прямую тёмную линию, однако в тот момент мне это ни о чём не говорило.

Уже внизу, на палубе, я вместе с остальными налегал на брасы, чтобы развернуть реи по ветру — дул легкий утренний бриз. Когда корабль начал движение, я заметил, что воздух наполнился легкой, но неприятной вонью тухлых яиц, а море вокруг нас прямо-таки закипело, на поверхность кверху брюхом всплывала оглушенная рыба. Происходило что-то ужасное. Теперь уже вся гавань Тальталя звенела от какофонии колоколов, сирен и грохота якорных цепей в клюзах — все спешили убраться прочь, или, по крайней мере, вытравить побольше каната, чтобы пережить надвигающееся нечто.

Мне стало страшно — впервые с тех пор, как подняли тревогу. Не в последнюю очередь я ощущал беспокойство из-за того, что как только всё это началось, капитан вернулся на борт, прервав краткий визит на берег. Теперь он был занят шумной разборкой с лейтенантом Залески, поскольку тот пытался снять корабль с якоря.

— Залески, я требую объяснения, что всё это значит. Вы что, совсем рехнулись? Зачем кораблю выходить в море? Почему вы запросто бросили якорь и пять сотен метров цепи? Клянусь, вы лично за это заплатите...

— Минутку, герр командир, я всё объясняю... Эй, ты, не надо брасопить идеально, нам нужно просто убраться отсюда... Да, герр командир, я понимаю... Один момент, если позволите...

Бриз наполнил крьюсель, и я подумал — в самом деле, не сошёл ли

Залески с ума? В этом плаванье происходило так много странного, а с тех пор как мы вышли из западной Африки, нас будто преследовали неудачи. Но все предположения закончились в тот момент, когда прямо в правую скулу корабля ударила приливная волна.

Это произошло очень эффектно — спокойный Тихий океан, голубое небо над поручнями полубака, а в следующее мгновение над нами зависла прозрачная, кажущаяся неподвижной гора тёмно-зелёной воды, увенчанная гребнем пены. Это всё, что я успел увидеть за несколько мгновений, поскольку меня, как и многих, кто в этот момент ни за что не держался, сбilo с ног, когда налетела волна.

Нос корабля задирался все выше и выше, мачты и такелаж яростно скрипели и стонали, нас бросило назад, а потом, когда корабль ухнул в ложбину между волнами, швырнуло вперед. Бушприт погрузился под воду, корабль тряхнуло, он едва выровнялся перед тем, как встретиться со второй волной, несущейся к берегу от эпицентра далекого подводного землетрясения.

Наш корвет был построен далеко не идеально, и, судя по звукам этой короткой, но яростной скачки в гавани Тальталя, его мореходные качества явно не улучшились. Но каким-то чудом мы пережили эту опасность, как пережили и многие другие с тех пор, как прошлым летом покинули Полу.

Единственными кораблями, не повреждёнными приливной волной, остались «Анхарад Притчард» и недавно прибывший в Тальталь пароход, которому хватило давления пара в котлах, чтобы выйти в море. Если бы не присутствие духа линиеншиффслейтенанта Залески, нас постигла бы та же участь, что и остальных. Жертв оказалось не слишком много — несколько несчастных экипажей лодок и люди на борту опрокинувшегося лихтера. Что же касается горожан, они давно привыкли к таким капризам природы и при первых раскатах землетрясения перебрались на небольшой холм за городом.

Но остальные суда на якорной стоянке Тальталя серьёзно пострадали. Великолепный «Падерборн» ударило в борт и выбросило на берег, теперь он самым жалким образом лежал на боку со сломанными мачтами и спутанными реями. Два корабля затонули, два других столкнулись, а итальянский барк, который удержал якорь, остался на плаву только ценой перерезанной, как бритвой, якорной цепи и разрушения значительной части носового набора.

А что касается входного отверстия помпы и моего укушенного пальца — как только мы снова встали на якорь и опять накренили корабль, меня еще раз отправили вниз, на этот раз с гаечным ключом и молотком, чтобы

снять коробку фильтра. Подняв её на палубу, мы обнаружили внутри изрядных размеров краба. Очевидно, он поселился там еще мелким, а потом вырос и так разжирел на питательном бульоне дна колодца, что уже не смог выбраться. Должно быть, он сидел там не один год.

Биолог герр Ленарт заспиртовал его для своей коллекции. Мы вернулись назад, в усыпанную обломками кораблей бухту, наш водолаз стал искать потерянный якорь, и мимо прошел «Анхарад Притчард», наконец направившийся домой, забрав двоих моряков, находившихся на берегу во время удара волны.

— У вас всё в порядке? — крикнул в рупор Залески.

— Нормально, спасибо, «Виндишгрец». Повреждений нет. А как у вас?

— Думаю, тоже порядок. Но что за волна!

— Ну, да это ещё ничего. Мелочь, футов сорок, наверное. Видели бы вы Вальпараисо в семьдесят третьем! Землетрясение, потом пожар, а после — приливная волна. Потеряли половину экипажа, когда танцзал сполз по склону горы. А сейчас — так, просто лёгкий шлепок. И спасибо, что прооперировали нашего юнгу. Пошлите счёт владельцам по адресу, что я дал, в Кармартен.

— Спасибо. Пошлём. И счастливого пути!

«Анхарад Притчард» вышел в море. В тот день я видел его в последний раз и не вспоминал до тех пор, пока не обнаружил, что сижу среди его останков на пляже бухты Пенгадог, что ниже церкви. Старик «Виндишгрец» давно канул в лету, как и империя, под флагом которой он ходил. А что касается его экипажа, мне, одному из самых младших на борту, теперь почти сто один, так что, надо полагать, остальные триста пятьдесят шесть человек сошли в могилу много лет назад.

Порты того побережья — Тальталь, и Мельхионес, и Арика, и все остальные — тоже мертвы, должно быть, уже добрых полвека, грузовые пристани затихли, покинутые глинобитные дома разрушает ветер пустыни, а волны Тихого океана неустанно накатывают на берег, где лают морские львы, не потревоженные человеческой суетой.

Жив только я, совершив полный круг, чтобы в конце концов встретиться с останками давно забытого корабля.

Мысли о бренности земной жизни прервались, когда мимо прошёл человек, выгуливающий собаку. Похоже, он не привык к подобным зрелищам — играющая на губной гармошке монахиня и древний моряк, сидящие среди шпангоутов разбитого корабля. Он приветствовал нас натянутым «добрый вечер» и поспешил прочь, в сторону церкви и

дорожки.

Уже начинало темнеть, а сестра Фелиция, должно быть, ожидала нас к чаю ровно в пять, поэтому я окликнул Кевина, и они вдвоём помогли мне забраться в машину, чтобы ехать в Плас. Когда мы проезжали мимо «Герба», я поискал глазами носовую фигуру корабля, но не увидел ее. Однако я всё же получил некоторое удовлетворение, заметив у телефонной будки рядом с пабом того человека с собакой, он беседовал с полисменом в патрульной машине, указывая в сторону пляжа.

Тем вечером, вернувшись в свою комнату, я вспоминал события этого дня и то злополучное путешествие в самом начале двадцатого столетия. За последние несколько месяцев я записал большую часть своих военных воспоминаний — вдруг они кому-то пригодятся — и вполне мог бы остановиться на этом, ведь в моём шкафу уже стоят две обувные коробки с кассетами.

Но встреча с останками того старого парусного судна заставила память вернуться назад, в годы моей далёкой юности. Я подумал — почему бы нет? Мне теперь уже недолго осталось, возможно, даже дни, а не недели. Доктор Уоткинс говорит, моё сердце не пострадало от болезни, и в окрестностях Суонси уже есть два старейших в мире долгожителя — одному из них, кажется, сто четырнадцать — так что нет причины, почему бы мне не протянуть еще несколько лет.

Однако не стоит обманываться. Рассказав вам эту последнюю повесть, я буду готов уйти, зная, что, насколько мог, не оставил невысказанным ничего важного.

Итак, позвольте начать историю исследовательского кругосветного путешествия его императорского королевского и апостольского величества парового корвета «Виндишгрец», а также и колониальной империи, которой толком так и не удалось состояться.

Глава вторая

УВЛЕЧЕНИЕ МОРЕМ

Я очень сожалею, что в моем старом фотоальбоме нет иллюстрированного отчета о том первом океанском путешествии. В те дни я был увлеченным фотографом и взял с собой на борт «Виндишгреца» нераздвижную фотокамеру Джоуля-Херриота.

Но большая часть фотографий потерялась, когда я случайно отстал от корабля недалеко от берегов Новой Гвинеи, и только одна сохранилась. Сделал ее не я, а официальный фотограф экспедиции герр Кренц в воскресное июньское утро 1902 года, когда мы готовились выходить из Полы.

Она много лет простояла в отцовском доме в Хиршендорфе в серебряной рамке на буфете. На ней я, военно-морской кадет шестнадцати лет, сфотографирован на мостике «Виндишгреца» в лучшем синем мундире и белых парусиновых брюках, с блокнотом в руке, красноречиво демонстрируя юношеское самомнение. Линиеншиффслейтенант Свобода стоит рядом, проверяя компас на отклонение, а мой ротный офицер, линиеншиффслейтенант Залески, беспечно прислонился к телеграфу машинного отделения, с мрачным видом и подозрительно прищуренными глазами, такой уж была его привычка.

Позади нас, засунув руки в карманы мундира и уверенно расставив ноги, возвышается величественная фигура с бородой лопатой — наш командир, фрегаттенкапитан Максимилиан Славец, барон фон Лёвенхаузен, всматривается в далекий горизонт, хотя мы еще стояли на якоре у Сколио дель Оливи.

Безрассудный оптимизм юности. Если бы я только знал в этот день, что предстоит впереди, какие приключения и проблемы ожидают в этом и других путешествиях. Если бы я только знал... тогда, наверное, все равно бы не остановился и поступил так же. Как говорят в моих родных местах, глупость не лечится. У каждого путешествия должен быть порт отправления, так что с вашего позволения я начну с самого начала, с шестнадцати лет и за два месяца до того, как щелчок объектива запечатлел ту сцену воскресного утра в гавани Полы.

Я родился 6 апреля 1886 года в доме на Ольмутцергассе, в небольшом городе под названием Хиршендорф на северном краю Австро-Венгерской империи, в говорящей на чешском языке провинции Моравия, почти там, где она раньше граничила с прусской Силезией.

Моего отца звали Вацлав (или Венцель) Прохазка (или Прохаска), тридцати пяти лет, чиновник окружного филиала Министерства Почты и Телеграфа, сын онемеченного чешского крестьянина-середняка из-под Колина в Богемии. Моя мать, Агнешка Мазеотти-Краснодебска, двадцати восьми лет, была четвертой дочерью в семье обедневшего польского дворянина из-под Кракова. Я был вторым ребенком, мой брат Антон — на полтора года старше.

И поскольку наша мать имела слабое здоровье, как физическое, так и умственное, а также всё больше отдалялась от отца, нас так и осталось двое. По поводу Хиршендорфа сказать особо нечего, и я подозреваю, что, возможно, уже надоел вам воспоминаниями об этом городе. Неряшливый городок с населением около восьми тысяч жителей, расположенный в небольшой долине среди невысоких гор, Силезских Бескидов, он раскинулся по обе стороны реки Верба приблизительно в двадцати километрах выше по течению от слияния с Одером. Там имелись, как обычно, крупная барочная церковь с двуглавыми луковичными шпилями, руины средневекового замка, железнодорожная станция, отель и кафе на одной стороне городской площади и окрашенный в цвет охры квартал правительственных учреждений на другой.

Работал еженедельный рынок и несколько сельскохозяйственных отраслей промышленности: пивоварение, обработка сахарной свеклы и т.д. Но как принято в старой габсбургской монархии, крупнейшим работодателем в городе было государство: канцелярия, таможенное и акцизное управление, почтовая и телеграфная служба, земельный кадастр, ветеринарный отдел. И конечно, жандармерия в желтых шлемах и солдаты, всегда наготове в случае необходимости — в казармах из красного кирпича у дороги на Троппау.

Такова была обстановка в те спокойные годы конца девятнадцатого века. Большая часть жителей города родились, жили и умирали в нем, никогда не удаляясь дальше одного дня пути. Небольшой немецкоязычный островок с газовым освещением и велосипедами, воротничками-бабочками и соломенными шляпами среди массы говорящего по-чешски крестьянства, все еще носящего полосатые шаровары и вышитые жилеты и вспахивающего поля плугом с волами. Они держали гусей, пасли свиней и жили в деревянных хибарах на грязных деревенских улицах — точно так

же, как их деды и прадеды.

Это был сельский мир, из которого мой отец сбежал на государственную службу империи Габсбургов. Для большинства людей, совершивших этот переход, поменялось лишь поведение на людях — на работе им приходилось говорить на официальном немецком языке. У моего отца, однако, преобразование стало также и внутренним. Оно заняло много лет, иначе вряд ли меня назвали бы Оттокар в честь средневекового короля Богемии, который чуть не победил Габсбургов в битве на Моравском поле.

Но к тому времени, когда я узнал такие подробности, отец, несмотря на коренастую славянскую фигуру и сильный чешский акцент, превратился не только в немецкоговорящего, но и в ярого пангерманского националиста. В наше время это назвали бы свидетельством так называемого «кризиса личностной идентичности».

Но поверьте, в Хиршендорфе 1890-х годов в этом не было ничего необычного. Как и большая часть двуединой монархии к рубежу веков, на бытовом уровне город находился в постоянном брожении на национальной почве и настолько же посвятил себя производству личностных кризисов, как Монтелимар — производству нуги или Бухара — изготовлению ковров.

Проблема состояла в том, что город и район были спорной территорией между немецким большинством, которое называло его Хиршендорфом, и многочисленным и быстро растущим чешским меньшинством, которое называло его Крнава и утверждало, что так было до семнадцатого века, когда местный магнат, принц фон унд цу Регниц, переименовал поселение. Более того, существовала также малочисленная, но громогласная польская фракция, заявившая, будто город на самом деле называли Садыбско и он должен стать частью независимого польского государства, когда таковое будет создано.

Пока мы с братом росли, фракции становились все более шумными и жестокими, превращая самый ничтожный вопрос — расположение фонарного столба или название улицы — в причину для демонстраций, которые имели шанс перерасти в беспорядки. Хуже всего было то, что постоянное напряжение вынуждало каждого твердо заявить о своей национальности ради собственной же безопасности.

Город в те годы взращивал искаженный патриотизм и национализм как на грядке со спаржей. Люди с немецкими именами, которые едва могли составить связное предложение по-чешски, внезапно превращались в пламенных чешских патриотов, в то время как другие, никогда не

говорившие ни на каком другом языке, отрицали, что они чехи, со страстью, достойной святого Петра, когда тот раскаялся в отречении от Христа. Когда мне исполнилось около десяти лет, лидера немецкой националистической фракции в муниципалитете звали герром Прзыбышевским, лидером чешской стороны был герр Нуцдорфер, а Польскую партию возглавлял некий герр Маринетти.

В детстве большая часть этого взрослого безумия прошла мимо нас. Дома мы, само собой, говорили на немецком. Но отец был слишком занят официальными обязанностями, чтобы строго нас контролировать, летние каникулы мы проводили у родни в австрийской Польше, так что мы выросли, вполне прилично владея тремя языками.

Вскоре после нашего рождения мама практически ушла со сцены, затворилась в собственных комнатах и посвятила себя ипохондрии и кругу польских подруг, столь же пресных, как и она сама. Нас с братом поручили заботе чешке по имени Ханушка Йиндричова, жене главного лесничего в поместье Регница.

Ее домик находился на улице позади нашего и стал нашим настоящим домом для большей части детских лет. Не слишком плохое детство, как мне кажется.

Помимо официального жалованья у отца имелись кое-какие доходы от инвестиций, так что мы жили скромно, но в достатке. В те дни люди в Европе довольствовались малым: отсутствие телевидения, кино, самолетов, но неограниченное количество времени в мире, где жизнь не была еще полностью захвачена часами и легковым автомобилем; мире, где путешествием за границу считалась железнодорожная поездка в Богемию, а символом изысканности — врученный местной швее потрепанный сборник выкроек или странствующая театральная труппа, ставящая венскую оперетту прошлого сезона в старомодном муниципальном театре на Траутенгассе.

Горожане так или иначе продолжали развлекаться, устраивая демонстрации и выпуская листовки, а иногда учиняя уличные стычки за или против того, сего или чего-то третьего.

По большей части все это было довольно безопасно. Единственный смертельный случай произошел в 1896 году или около того, когда бунт по поводу названия железнодорожной станции переместился на городскую площадь и вызванные войска стреляли поверх голов толпы, случайно убив итальянского официанта, следящего за забавой из окна отеля «К белому льву».

Большинство людей в Хиршендорфе ненавидели друг друга только за

официальную национальность, если можно так выразиться, но в остальном относились друг к другу сердечно, пока не находили подлинной причины для ссоры. А раз мы были детьми, то временное освобождались от присяги той или иной нации.

Помимо меньшинств, другой группой, стоявшей вне националистической политики в Хиршендорфе, были евреи. Но лишь потому, что все остальные их терпеть не могли. Я никак не мог взять в толк, почему несколько сотен Хиршендорфских евреев вызывают всеобщую неприязнь и презрение, еще более зловещее из-за того, что было настолько общим и лишенным страсти. Скорее похоже на смутное отвращение, которое люди питают к паукам или кошкам без личной враждебности к ним.

Конечно, в защиту этой неприязни выдвигались тривиальные причины: ростовщичество, ритуальные убийства, убийство Христа, использование рабского труда белых людей и другие сомнительные делишки. Но наши евреи были в меньшинстве по сравнению с каким-нибудь городком в Галисии, где они часто составляли половину или три четверти населения. К тому же были совершенно не похожи на лстивых ростовщиков с ястребиным носом из популярных рассказов.

Наши евреи были солидными, достойными профессионалами среднего класса, внуками тех, кого освободил своим указом император Иосиф веком ранее. Нотариус герр Лицман, доктор Грюнбаум из больницы кайзерин Элизабет, герр Елинек — городской фотограф. И конечно, герр Зинауэр, книготорговец. Герр Зинауэр был моим хорошим другом с тех пор, как я себя помню.

Я довольно рано научился читать. В шесть лет я вполне бегло умел читать на чешском и немецком и быстро нагонял по-польски. В те дни в северной Моравии читать детям было особенно нечего на любом языке — только сказки братьев Гримм и «Штрувельпетер» («Неряха Петер») на немецком ^[1], несколько безвкусных сборников сказок на чешском — и, конечно, «Одобрённые тексты для чтения в начальных школах» императорского и королевского Министерства образования, до боли унылая коллекция политически благонадежных и назидательных сказок о эрцгерцогинях, работающих в госпиталях с больными в жару, и галантных молодых прапорщиках, умирающих за честь полкового флага на поле Сольферино. Я думаю, что в действительности детскую литературу изобрели англичане где-то в конце прошлого века, и вместе с ней идею детства как идиллического и невинного состояния.

В местах, где я рос, к детству относились скорее с пониманием, как к

кори: оно неизбежно и необходимо, но стоит покончить с ним как можно скорее и, конечно же, не сожалеть о нем. Мы, жители Центральной Европы, обычно люди малоприятные: озлобленные, мстительные и проникнутые жалостью к себе. Но, по крайней мере, от нас редко услышишь болтовню про игрушечную железную дорогу и чай в детской.

Но у такого отсутствия интереса к детству, замечательному во многих отношениях, был один недостаток — до конца 1890-х годов печаталось очень мало детской литературы, пока не появились Роберт Стивенсон, Жюль Верн и Дж. А. Хенти в немецком переводе, а местные писатели вроде Карла Мея стали сочинять приключенческие романы. А до тех пор я читал больше практической литературы, и в этом герр Зинауэр оказывал мне неоценимую помощь. Городской книжный магазин на самом деле продавал в основном бумагу и письменные принадлежности: главный товар в габсбургской Австрии, где переписка с ведомством по простейшей проблеме могла тянуться годами, а письмами можно было набить весь книжный шкаф.

Помимо продажи писчей бумаги, герр Зинауэр также управлял переплетным цехом, печатал визитные карточки и владел небольшим книжным магазином новой и подержанной литературы — в основном школьных учебников и женских романов с выдачей на дом. Однажды в субботу утром году примерно в 1895-ом я зашел купить карандаш и резинку.

Зазвонил колокольчик, и герр Зинауэр поприветствовал меня: упитанный, лысеющий, маленький человек лет пятидесяти в очках.

— Grüss Gott ^[2], герр Оттокар, — сказал он, потирая руки и появляясь из-за прилавка, как будто я был ценным клиентом с полными гульденов карманами, а не мальчуганом с парой крейцеров, зажатых в грязной ладошке.

— Чем могу быть вам полезен в это прекрасное утро?

— Доброе утро, герр Зинауэр. Будьте добры, мне нужен карандаш и каучуковая резинка.

— Конечно, конечно: твердый, мягкий, средней мягкости, карбоновый, средний с резинкой на конце, графитовый, гарантированно противоударный от Штэдтлера Касселя — очень хорошие, новые, мы только что их получили... — Ах да, забыл: у меня есть кое-что еще, что, возможно, заинтересует такого умного молодого человека. Скажите, юноша, у вас есть собственный атлас?

— А что такое атлас, герр Зинауэр?

— Книга с картами всех земель на планете. Вот, смотрите: только что

привезли...

Он потянулся за прилавком и достал большой, блестящий том в темно-синем переплете с рельефным золотым тиснением. Краткий атлас известного мира (исправленный, с включением последних африканских исследований), издательство Моллвейда, Берлин, 1895. Я с любопытством перевернул недавно разрезанные страницы: Европа (политическая), Европа (физическая), Атлантический океан, Тихий океан, Северная Африка, Индия, Океания — земли всей планеты предстали передо мной в потоке коричневого и зеленого и бледно-синего цвета.

Загадочно пронумерованная паутина линий расходилась от полюсов; поверхности голубого океана разделяли берега континентов; разбросанные белые ледяные поля украсили замысловатые изгибы горных хребтов Гималаев и Анд. Когда сатана взял Господа на вершину храма и показал ему все королевства земли, это наверняка выглядело именно так.

До сих пор единственной картой, которую я видел, была клеенчатая карта «Земель и этнических групп императорской и королевской монархии», висевшая в моем школьном классе, под распятием и портретом императора Франца Иосифа в белом мундире и с бакенбардами, с пронизывающим взглядом голубых глаз, стремящихся обнаружить недостойное поведение.

В сравнении с этим разноцветным праздником картографии, представшим предо мной теперь, та карта в классе была просто темным пятном: бесформенная глыба территории нашей почтенной монархии, торчащей посреди Европы, и ничего вокруг неё, кроме маленького участка блеклого синего цвета внизу в левом нижнем углу, где Австро-Венгрия касалась Адриатики — и даже тот заслоняла официозная надпись: «Земли и народы императорско-королевской монархии» и пояснения к сокращениям. По периметру курсивом обозначались соседи: Пруссия, Италия, Россия, Сербия и другие страны, но в остальном австро-венгерская монархия находилась в самом центре земли, как европейская версия китайского «срединного государства».

Когда я взглянул на карту стран мира, Австро-Венгерская империя показалась довольно жалкой, хотя и была вторым по величине государством в Европе после Российской империи (пусть и незначительно больше Франции). В магазине герра Зинауэра до меня внезапно дошло, что в мире есть столько всего экзотического и интересного помимо территории габсбургской монархии.

И внезапно, понятия не имею откуда, у меня возникло желание посетить места, о существовании которых я до сих пор и не предполагал:

Гондурас, Суматру и Охотское море; доказать себе, что Кейптаун и Маркизские острова лежат на долготе Хиршендорфа, а Сиэтл и Владивосток — на той же широте.

Мне захотелось завладеть этим атласом; унести его с собой и обладать всем обитаемым земным шаром. Герр Зинауэр, как обычно любезный, сказал, что атлас слегка испорчен и уценен, хотя я был совершенно уверен, что это не так. Чтобы набрать необходимую для покупки сумму, я использовал карманные деньги на годы вперед и распродал свои мальчишеские «сокровища» одноклассникам. В следующую субботу я принес том домой, и началась моя карьера мореплавателя. Когда отец и школьные учителя узнали об этой внезапной страсти к географии, они отнеслись к ней как к странному, но вполне безопасному чудачеству.

Старая Австрия была глубоко нелюбопытным обществом, обладала исключительно сухопутным мышлением и слишком погрузилась в межнациональные споры, чтобы интересоваться остальным миром. Забавно было бы составить карту мира по представлениям среднего венца году эдак в 1900-ом. На севере располагается Тойчерн: немецкоязычный, но совершенно чуждый по духу и характеру. К югу, за Альпами, лежит Веллишен, ненадежный и жадный.

А на востоке, вниз по Дунаю к Прессбургу, располагается обширное, неопределенное пространство, населенное славянами, венграми, турками и другими экзотическими и жестокими восточными народами — дикие племена, которые в свободное от распрей друг с другом время наводняют нижнюю Австрию и осаждают Вену либо с пушками и оружием, либо (в наши дни), продавая щетки для ботинок и деревянные ковши на улицах вокруг Ноймаркта. Следом за ними лежит Россия, где в степях с вечной мерзлотой воют волки, и затем Индия, Китай и другие подобные сказочные королевства. Африку называли «страной негров», где в жарких джунглях туземцы пожирают друг друга, а Америку населяют ковбои, гаучо, краснокожие индейцы и т.д. Но в действительности, что бы там ни говорили, никто не знал или не особо интересовался тем, что происходит за трамвайными путями Гюртеля. Такой была Вена, столица.

Поэтому вообразите сами, если сможете, какой должна быть картина мира у бюргеров Хиршендорфа, для которых поездка на поезде в Прагу являлась приключением всей жизни. В такой обстановке я вырос и перешел из детства в отрочество. Мое ребяческое желание исследовать и посмотреть мир никуда не делось и с годами даже возросло, а не уменьшилось. Я прочитал «Остров сокровищ» в немецком переводе и все приключенческие романы и книги о путешествиях, какие только нашлись у

герра Зинауэра. Он с радостью поддерживал мой интерес. Я думаю, он почти на мне не зарабатывал, возможно потому, что и сам в молодости мечтал о путешествиях. Однажды он признался, что лет в девятнадцать заказал билет из Гамбурга до Нью-Йорка по приглашению родственников. Но в последний момент умер его отец, и он остался продолжать семейное дело.

Зинауэр относился к этому философски. «Кто знает, юный герр Оттокар? Кто может сказать, как бы все обернулось? Возможно, там, в Америке, тоже беспорядки и громят витрины, в каждой стране есть хулиганы. Нет, возможно, было бы хуже. Мы здесь бедны и должны трудом зарабатывать на хлеб. Но немцы — цивилизованные и законопослушные люди, и еврей может преуспевать и здесь, в Австрии, как в любой стране на земле. Я никогда не стану миллионером, но, по крайней мере, ночью могу спать спокойно в своей постели, без страха, что ворвется буйвол и разрушит мой склад или красное кожаное снимут скальп с фрау Зинауэр». Герр Зинауэр хоть и сочувствовал мне, но не мог дать полезный совет, с чего начать мореходную карьеру, а эта идея все больше крепла во мне примерно лет с двенадцати.

Но и никто другой в Хиршендорфе не дал бы мне подобный совет. Родня тоже не могла помочь. Когда однажды летом в Польше я задал вопрос старшей сестре моей матери, тете Алексии — единственной из польских родственников, к просвещенности которой я испытывал уважение — она задумалась и обещала порасспрашивать у семьи и знакомых. В итоге она смогла лишь узнать, что один дальний родственник, некий Юзеф Корженевский, много лет назад уехал за границу, и, как говорили, стал морским капитаном в британском торговом флоте.

Однако многие годы от него не поступало никаких известий, поэтому предполагалось, что он утонул; вероятно, это не так уж плохо (пришли к выводу остальные мои тети), поскольку он всегда был странноватым и, откровенно говоря, никчемным. Единственным человеком среди моих знакомых, кто когда-либо бывал на море, и это достаточно неожиданно, оказалась моя няня Ханушка. До замужества она работала горничной в Германии и, будучи умной и видной девушкой, стала камеристкой в семье Путфаркен, старой гамбургской судоходной династии.

Однажды она отправилась с ними в летнее плавание в Осло — или Кристианию, как его тогда называли — и в результате вынесла неприятные впечатления о море.

— Честно, юный Оттокар, — сказала она мне, когда мы сидели дома у камина (мы всегда говорили на чешском, когда отца не было рядом), — я

тебе этого не советую. Корабль все время качает вверх-вниз, вверх-вниз, и кажется, будто он вот-вот перевернется и потонет. Но в скором времени чувствуешь себя настолько ужасно, что этого даже хочется. И все влажное, но высушить невозможно. И негде постирать — но это неважно, потому как нет воды для стирки. А что касается пространства, честно говоря, и в гробу больше места. И после нескольких дней еда кажется странной, но без запаха, потому что всё вокруг провоняло дегтем. Если хочешь знать мое мнение, в тюрьме Ольмутца лучше, чем на борту судна: по крайней мере, пол в камере остаётся под ногами.

Но таково упрямство молодости, что отрицательное мнение лишь укрепило мое желание служить на море. Так что, будучи по натуре практиком, я приступил к воплощению этого желания в действительность.

Я и не ожидал особой помощи в этом направлении от взрослых, только не в северной Моравии конца девятнадцатого века. У двуединой монархии была своего рода береговая линия: примерно четыреста километров восточного берега Адриатики от Триеста к югу, до залива Катарро. Но это побережье было отдаленным, каменистым, бедным регионом, граничащим лишь с бесконечными, засушливыми горными цепями Балкан. Австрия приобрела его всего лишь век назад после захвата Венецианской республики, и как только в 1866 году была потеряна сама Венеция, оставшееся ни для кого не имело большого значения, просто летний курорт по сниженным ценам и туберкулезный санаторий зимой.

Очень немногие из обычных австрийцев когда-либо бывали там или хотели побывать. У нас, конечно, имелся военно-морской флот среднего размера и существенный торговый флот, но немногие из пятидесяти миллионов подданных императора когда-либо обращали на флот внимание или знали какого-нибудь моряка. Даже в Вене к военно-морским офицерам на улице скорее обратились бы на английском, приняв за военного атташе Соединенных Штатов. Что касается жителей Хиршендорфа, никто не мог даже припомнить, чтобы видел матроса в увольнительной. Герр Зинауэр в конце концов предложил написать письма всем подряд.

Таким образом, я сочинил несколько вежливых писем в лучшей школьной прописи и отослал их судоходным компаниям — «Австро-Ллойд», «Гамбург-Америка» и остальным — с вопросом, как можно поступить туда на учебу. Только из «Норддойчер-Ллойд» потрудились ответить, сообщив, что мне должно исполниться по крайней мере шестнадцать лет, я должен обладать отменным здоровьем и высокой нравственностью и иметь материальную поддержку со стороны отца. К сожалению, я также должен быть немецким подданным, так что на этом

всё и кончилось. Даже в случае с австрийской судоходной компанией мне пришлось бы ждать еще пять лет, поэтому я решил заполнить время самообразованием и изучить основы судовождения и навигации. В этом отношении Хиршендорф не слишком хорошо подходил.

Текущая по городу река Верба едва достигала двадцати метров в ширину и потемнела от сточных вод с угольных шахт и сталелитейного завода выше по течению, в Карвине. На ней отродясь никто не видел никаких лодок. Лучшее, что мы с Антоном придумали — выпросить бочки из-под капусты, пропитать их смолой и сколотить плот. Как-то утром мы начали спуск по реке выше плотины замка и сумели пройти под парусом по крайней мере метров пятьдесят, прежде чем угодили в фабричный водовод и чуть не погибли. Нас выловила жандармерия (мы не умели плавать) и арестовала за нарушение общественного порядка, поскольку никакого другого обвинения придумать не удалось. Отца вызвали из конторы забрать нас из казарм жандармерии.

Нас отстегали кожаным ремнем и неделю не выпускали из дома. Но за этим происшествием последовали дальнейшие эксперименты, проводимые с величайшей секретностью на рыбном пруду за городом со старой плоскодонкой, которую я купил за пять крон и сам восстановил с помощью замазки и расплюснутых консервных банок. В своем роде это был неплохой опыт, ведь кроме размера нет особой разницы в основных принципах навигации плоскодонки и линкора водоизмещением шестнадцать тысяч тонн.

Самообучение продолжилось на теоретическом уровне. После агитации родственников в Вене и Триесте герру Зинауэру удалось обеспечить меня экземпляром австрийского военно-морского справочника по морскому делу: «Руководство адмирала Штернека по такелажу и якорным работам» (издание 1894 года) с изобилием детализированных гравюр. Я засел над ним и за месяц выучил наизусть все части судна с прямым парусным вооружением, от кливера до киля и от утлегаря до гакаборта. Я также приобрел подобный чертеж на английском и таким образом изучил названия на обоих языках. Немецкоязычные страны поздно подключились к мореходству, и немецкую морскую терминологию наспех состряпали из множества источников — понемногу из голландского, скандинавского и английского языков, а значит, для меня, чеха, она всегда звучала слегка искусственно.

Кстати, по этой причине я буду придерживаться английских терминов во всей этой истории. Я знаю их так же хорошо, как немецкие, и у вас моя болтовня о Grossoberbramraa и Aussenklüverniederholer, то есть прот-бом-

брам-рее и бом-кливер-нирале только вызвала бы раздражение. Морское дело в теории оказалось достаточно простым, но как обстояло дело с навигацией? Имея склонности к математике, я принялся за самообучение основам морской навигации. Магнитный компас не составлял проблемы — офицеры австро-венгерской армии использовали его, чтобы квалифицированно заблудиться, и, заглянув в витрину ломбарда, можно было наткнуться на экземпляр, заложенный в середине месяца обер-лейтенантом ради денег на выпивку, да так и не выкупленный.

Широта и долгота все же вызывали проблемы. В конце концов я соорудил примитивный деревянный секстант с отвесом, и утром 21 сентября 1897 года забрался с ним на холм Касл, чтобы провести первое полуденное наблюдение. Вообразите мое восхищение, когда полуослепленный солнцем в зените, я сделал вычисления и обнаружил, что Хиршендорф действительно находится на $49^{\circ} 57'$ к северу от экватора, как и указано в географическом справочнике атласа. Я чувствовал себя подобно Магеллану после того, как тот три года доказывал, что земля круглая. Восторг поумерился несколько минут спустя, когда капрал жандармерии арестовал меня по подозрению в шпионаже. Результатом стал ещё один вызов отца в казармы и ещё одна серьезная порка.

Но зато я решил, что, как Галилей, пострадал во имя науки. Я разглядывал карты и изучал названия парусов и рангоута корабля. Но с разочарованием вспоминал, что никогда не видел моря и не плавал ни на чем, кроме плоскодонки в пруду. Я мог лишь надеяться на будущее, как сэр Фрэнсис Дрейк из недавно прочитанного рассказа, который залез на дерево на Панамском перешейке и поклялся, что однажды пересечет под парусом далекий Тихий океан.

Примерно в десяти километрах к югу от Хиршендорфа располагалась небольшая возвышенность под названием Сент-Валпургисберг, совершенно непримечательная за исключением того, что с ее склонов стекали три ручья. Один впадал в Вербу, которая впадала в Одер, а он впадал в Балтийское море. Другой держал путь в приток Эльбы, впадающей в Северное море. А третий впадал в Март, который сливался с Дунаем под Веной, чтобы пробиться в Черное и Средиземное моря.

Мы с Антоном иногда ездили туда на велосипедах весной или осенью, когда ручьи становились полноводными, и перочинным ножом вырезали из деревянной щепки три лодочки, затем запускали по одной в каждый ручей, и их уносило течением. Наверное, они застревали в осоке в нескольких сотнях метров ниже, но всё же мне по-детски нравилось воображать, что, возможно, через несколько месяцев мое суденышко будет качаться на

волнах у Золотого Рога или замка Эльсинор, или обогнет Шотландию с севера и окажется в Атлантике. Для меня это было личное обещание, как для дожа Венеции, обручившегося с морем, бросив в него кольцо.

Короче говоря, к двенадцати годам я сумел убедить отца разрешить мне стать моряком. Сначала он сопротивлялся; в основном потому, что никогда в жизни не видел моря или кораблей и просто не мог представить, что подразумевает карьера моряка.

Но в конце он неохотно согласился — в основном после чтения статьи в пангерманском националистическом журнале, который уверенно предсказал, что большая война за германское мировое господство будет на море, сначала с Великобританией, а затем с Соединенными Штатами. Моему прошению стать моряком также помогло вмешательство судьбы летом 1897 года. Отцовские акции неожиданно принесли хороший доход, и мы всей семьей в первый и последний раз поехали на модный адриатический морской курорт Аббация. На железнодорожной станции мы взяли фиакр и оставили чемоданы в отеле.

Потом я выбежал из фойе на набережную. И вот передо мной раскинулось море, предмет моих мечтаний, которое я так жаждал увидеть целых три года: ровное и сияющее, темно-синее, скрытое за лимонными деревьями и декоративной балюстрадой из известняка. Для отдыхающих в соломенных шляпах и кринолинах это было просто море в укромной бухточке в верхней части залива Кварнероло; море ручное и одомашненное, чуть больше озера. Но для меня под полуденным солнцем эта ультрамариновая гладь с легкой рябью, усеянная парусами прогулочных яхт, была чем-то гораздо большим, чем просто приятным дополнением к курорту. Я стоял на набережной и видел полным восторга взглядом начало океана, самую широкую в мире дорогу, ведущую в синие дали, навстречу приключениям и чудесам, какие только может вообразить мальчишечье сердце.

Проходящие толпы видели только лодки, купающихся и близнецов — туманные горбы островов Черзо и Велия, почти полностью закрывающих южный горизонт. Но в моем представлении там было всё: летучие рыбы тропических морей, извергающие брызги киты, окаймленные пальмами атоллы и находящиеся во власти лихорадки устья африканских рек, толпы на причалах Кантона, арктические льды и неизведанный Южный океан. Оставалось лишь перебраться через парапет и спуститься на узкий скалистый берег, чтобы коснуться его и сделать моим, своей страстью. Оно лежало там — скромное и обольстительное, но временами жестокое и опасное; иногда капризное и совершенно равнодушное к границам и

притязаниям разных стран. Скажу с уверенностью, никто не выпустил бы карту с названием «Границы провинций и этнических групп Атлантического океана».

Две недели семейного отдыха в Аббации превратились в полный кошмар.

Отец кипятился, а мать дулась и страдала от обмороков и приступов истерики, в конечном счете ее госпитализировали в Фиуме с подозрением на бешенство. Но что касается моей карьеры, то она развивалась как нельзя более благополучно. Я отправился на пассажирском пароходе в Черзо, в свое первое морское путешествие, и ужасно мучился от морской болезни, потому что даже летом Адриатика бывает довольно бурной, когда несколько дней дует сирокко. Во время этой поездки отец (которому тоже было худо), стоило погоде наладиться, спустился в салон и вступил в беседу с молодым военно-морским лейтенантом по имени Генрих Фритч.

Настоящий приверженец всего пангерманского, отец относился к габсбургской Австрии как к полуразрушенным средневековым трущобам, стоящим на пути Великого немецкого рейха, а значит, ему не нравилось мысль, что я стану офицером императорского и королевского флота.

Он тут же отправил прошение в Морское министерство в Берлине с просьбой сделать для меня исключение и разрешить служить в императорском немецком военно-морском флоте. Однако после разговора с линиеншиффслейтенантом Фритчем, который служил на флотилии торпедных катеров в Луссине, отец начал склоняться к тому, что австро-венгерский флот — не такая уж плохая идея. Как и отец, Фритч был пылким немецким националистом — позже он стал знаменитым австрийским нацистом.

Но он уверил отца, что, как только старый император умрет и трон займет Франц Фердинанд, Германия и Австрия быстро сольются в единое государство, после чего бывшие австро-венгерские кригсмарине, где он служит, станут средиземноморской флотилией германского флота, который вскоре будет достаточно могучим, чтобы бросить вызов Великобритании и Соединенным Штатам вместе взятым. В таком военно-морском флоте, по его словам, определенно стоит служить. Этот случайный разговор принес плоды в следующем году, когда отклонили мое прошение стать военно-морским кадетом кайзера Вильгельма.

Результатом стало мое заявление на сдачу в 1900 году экзаменов для поступления в императорскую и королевскую Морскую академию в Фиуме. К этому времени мы с братом учились в гимназии кронпринца эрцгерцога Рудольфа в Хиршендорфе. Это было мрачное место. Даже

название было похоже на похоронный звон, напоминая, как бедный полубезумный сын императора застрелил возлюбленную, а затем покончил с собой в охотничьем домике в Майерлинге.

Заупокойная месса по этому поводу в приходской церкви святого Яна Непомуцкого была самым первым событием общественной жизни, которое я помнил. Тогда мне ещё не исполнилось три, но отец был не последним государственным служащим, а значит, мы должны были присутствовать, наряду со всеми другими местными высокопоставленными лицами и их семьями. Как сейчас помню свечи, запах ладана и звон колоколов, но я был слишком мал, чтобы заметить реакцию окружающих на громкий шепот нашей няни Ханушки своим детям, чтобы сидели ровно и слушали внимательно, ведь не каждый день увидишь, как церковь проводит полный обряд для убийцы и самоубийцы.

Если гимназия кронпринца Рудольфа была столь же непривлекательным местом, как и его имя, учебная программа, предлагаемая в этом сером, холодном, подобном тюрьме здании, была превосходной, как по объему знаний, так и по качеству обучения. Мои успехи в математике и естественных науках оказались более чем достаточными для сдачи вступительных экзаменов в Морскую академию, несмотря на то, что они считались сложнейшими.

Единственным препятствием мог стать английский, обязательный предмет для всех будущих кадетов. К сожалению, его как следует не преподавали ни в гимназии кронпринца Рудольфа, ни где-либо еще в северной Моравии. В итоге отец решил проблему, наняв нам с Антоном учительницей коренную англичанку, мисс Кэтлин Доггерти из графства Корк, странствующую ирландку и преподавательницу игры на фортепьяно, роковую женщину, бывшую любовницу князя фон унд цу Регница, хотя, естественно, нам ничего об этом не сказали.

Она была женщиной властной, с сильным и непредсказуемым характером, и это, как я теперь подозреваю, возможно, было симптомом скрытого сифилиса. Но безотносительно ее психической нестабильности она оказалась умелой учительницей английского. Когда я наконец сдал часовой устный экзамен по английскому в Вене в начале лета 1900 года, то получил высочайшие в том году оценки. Один экзаменатор был настоящим, живым, одетым в твидовый костюм англичанином, первым в моей жизни. Он почти ничего не говорил, но постоянно улыбался и, казалось, наслаждался какой-то понятной лишь ему шуткой.

Лишь позже я узнал, что это был легендарный контр-адмирал Чарльз Бересфорд, главнокомандующий средиземноморского флота, чей корабль

зашел в Фиуме, и адмирал провел несколько дней отпуска в Вене. Адмирал, ирландский протестант, имел много друзей в австрийском флоте и любезно принял приглашение поучаствовать в приеме экзаменов.

Позже мне передали, что относительно меня он сказал следующее: «Исключительно способный абитуриент, говорит бегло и владеет идиомами, но, к несчастью, говорит с таким густым ирландским акцентом, что в нем легко могла бы встать ложка. Ему нужно принять срочные меры, чтобы избавиться от акцента, а кроме того, использование характерных для ирландского мюзик-холла выражений вроде «уж конечно» в начале предложения, а также «и вообще» в конце точно сделает его посмешищем в любой кают-компании». Наконец пришло письмо, где сообщалось, что я в числе сорока человек (из нескольких сотен), отобран для учебы в Австро-венгерской Морской академии в ранге воспитанник: нечто промежуточное между простым учеником и кадетом.

Учеба продлится с сентября 1900 года до июня 1904-го, и после успешного завершения я смогу поступить на службу в военно-морской флот императорских и королевских австро-венгерских ВМС в качестве зеекадета, это что-то вроде мичмана. Моя жизнь мореплавателя почти началась.

Необходимая одежда куплена или сшита, необходимые учебники заказаны у герра Зинауэра, чемодан собран, железнодорожный билет до Фиуме куплен: двухдневная поездка, включая остановку на одну ночь у тети Алексии в Вене. Я собирался начать путешествие длиной в восемьдесят шесть лет, которое перенесет меня через две мировых войны и приведет сюда, на край Европы, чтобы умереть в изгнании и одиночестве.

Могу сказать: оно того стоило. В конце концов, к такому же исходу я мог прийти, и став местным ветеринарным инспектором.

Глава третья

ВОЕННО-МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ

Подъехав в фиакре с вокзала Фиуме к императорской и королевской Военно-морской академии тем сентябрьским утром, я испытал некоторое разочарование.

Возможно, я ожидал толпу каменных тритонов, дующих в морские раковины, дельфинов и пышных русалок, извивающихся среди якорей и канатов, как на той невероятной в своем великолепии скульптуре «Австрия, покоряющая море», что я видел накануне вечером на Михаэлерплатц в Вене.

Однако в конце круто поднимавшейся в гору подъездной дорожки, обсаженной кустами лавра, передо мной предстало обычное большое здание довольно невыразительного вида, построенное в экономичном варианте непритязательного стиля — известного, кажется, как неомавританский, который Габсбургская монархия нередко использовала для казарм и военных академий. Единственными отличиями от казарм в Хиршендорфе, за исключением размера, оказалось то, что, поскольку это Средиземноморье, кирпичную кладку покрывала штукатурка, а на окнах имелись решётчатые деревянные жалюзи.

Аналогично, единственным внешним военно-морским символом, помимо развевающегося красно-бело-красного флага и матросов, стоящих в карауле у ворот, была надпись на двери на немецком и венгерском языках «Императорская и королевская Морская академия» и императорский герб, поддерживаемый с каждой стороны крылатыми львами святого Марка, поскольку, когда в 1857 году основали эту Академию, Венеция еще была австрийским городом.

Мой чемодан забрал неприветливый военный моряк с тележкой, и я нервно шагнул в дверной проем. Там с папкой в руке стоял человек в мундире.

— Имя? — рявкнул он.

В смущении я неловко отдал честь левой рукой и пролепетал:

— Э-э, Прохазка, герр капитан.

Он просмотрел список с фамилиями.

— Опаздываете. Идите к остальным. Да, и не нужно отдавать мне честь, я гражданский чиновник.

Я вошел в темный, отзывающийся эхом вестибюль и оказался среди тридцати других смущенных молодых людей. Учитывая все обстоятельства, в то первое утро у нас было много поводов смутиться — ведь нам приказали прибыть не в парадном мундире, который выглядел довольно сносно (фуражка, синий двубортный китель и белые парусиновые брюки), а в повседневной одежде кадетов Морской академии.

И это нужно видеть, чтобы поверить. Позже, когда я понял особенности австро-венгерской манеры вести дела, до меня дошло, что наш «повседневный костюм» стал результатом неспособности двух комитетов договориться о фасоне.

Результат оказался довольно нелепым даже для тех, кто провел всю жизнь в стране, где полно причудливых мундиров. Головной убор — обыкновенная бескозырка рядового матроса с лакированной позолоченной кокардой, монограммой ФИ-І и ленточкой со словами «Императорская и королевская Военно-морская академия», вышитыми золотой нитью. Пока неплохо, проблемы начинались дальше.

Остальная часть формы состояла из матросской рубахи с отложным квадратным воротником и шнуром, синих саржевых брюк (белые парусиновые с апреля по октябрь), а под рубахой — возможно, как символ нашего будущего офицерского статуса — жесткая белая манишка и черный галстук-бабочка. Общее впечатление складывалось довольно комичное: как будто приглашенный на вечеринку был не уверен, указан ли в приглашении маскарадный костюм или вечерний наряд, и решил действовать наверняка, надев сразу оба.

Я носил этот наряд большую часть последующих четырех лет, и все эти годы он казался мне не менее абсурдным, чем в начале. Непосредственно перед Первой мировой войной боснийскому кадету-мусульманину, по его просьбе, как дань религиозным традициям, разрешили с формой надевать феску вместо бескозырки.

Я никогда не видел этого сам, но за таким зрелищем стоило ехать в такую даль и немало заплатить. Мы озабоченно переминались в главном зале в ожидании радушного приглашения от командира. Большинство моих сотоварищей проигнорировало меня, но когда я стоял в очереди, чтобы взять кое-какие формуляры со стола, кто-то меня толкнул.

Это оказался крупный, крепкий и приветливый молодой человек с черными вьющимися волосами и смуглым лицом. Вокруг него витала атмосфера бодрости и веселья; но я на основе опыта знал, что из таких

часто получают школьные задиры. Я никогда особо не страдал от притеснения в гимназии кронпринца Рудольфа, несмотря на чешское имя и внешность в немецкоязычной школе.

Но там я имел моральную и физическую поддержку старшего брата. Здесь, в Фиуме, я находился очень далеко от дома и был сам по себе. Меня охватил страх. А стоило ли сюда поступать? Незнакомец разглядывал меня некоторое время, а потом протянул руку. Он говорил с (как я мог теперь уже распознать) с венским акцентом человека из приличного общества.

— Меня зовут Макс Гаусс. А тебя?

Так началась дружба, спустя семь лет внезапно оборванная пулей из дуэльного пистолета, но тем не менее одна из самых долгих в моей жизни. Гаусс оказался моим ровесником, нас разделяло всего несколько дней, и третьим сыном состоятельного венского адвоката-еврея. Я всегда представлял евреев бледными ипохондриками с плоскостопием, домоседами даже по австрийским стандартам.

Но Гаусс этим стандартам совершенно не соответствовал — внешне он больше походил на испанца или итальянца, крепкий и предприимчивый парень, склонный к безрассудным авантюрам. К сожалению, это пристрастие его и погубило, когда он переключил внимание с оснастки парусников на будuary замужних женщин.

Позже я узнал, что это семейная черта. Старшие братья Гаусса, оба врачи, обучались в конце 1890-х в медицинской школе в Вене. Обоих ужасно донимали притеснения и оскорбления со стороны аристократических хамов из пангерманских пивных и дуэльных клубов, так называемых братств, члены которых развлекались, вызывая однокурсников на дуэли и убивая их.

Братья Гауссы вплотную занялись фехтованием и спустя полгода достигли такого убийственного мастерства, что менее чем за две недели расправились с пятью или шестью членами братства. В конце концов, чтобы остановить эту бойню, студенческим клубам пришлось в спешке издать указ, в соответствии с которым с евреями, как с существами презренными и недостойными, запрещалось затевать дуэли.

Мы пожали друг другу руки, я представился как Отто Прохазка — уже тогда я решил, что стоит сократить звучащее слишком по-чешски «Оттокар» до более германского варианта Отто. Потом Гаусс объявил:

— Слушай, Прохазка, тебе следует познакомиться ещё кое с кем. Сандро! — Он окликнул худого, высокого, аскетичного вида мальчика, рассеянно глядевшего в окно. Тот обернулся и несколько мгновений задумчиво нас разглядывал, как будто забрёл сюда по ошибке, а теперь

понял, что должен быть где-то в другом месте. Это был Алессандро Убалдини, барон фон Тополицца, уроженец Рагузы — или Дубровника, кажется, так он теперь называется — потомок одной из самых старинных мореходных династий Далмации.

Его дед служил с эрцгерцогом Фридрихом Фердинандом при штурме Акры в 1840-ом, а отец — к моменту нашего знакомства уже покойный — получил орден Леопольда за выдающуюся храбрость в битве при Лиссе, когда на деревянном линейном корабле «Кайзер» не только противостоял итальянскому броненосцу, но и протаранил другой.

Конечно, с таким происхождением Убалдини имел все основания ставить себя выше товарищей-кадетов, однако он вёл себя очень скромно, а его задумчиво-аристократичный вид раздражал разве что наших преподавателей.

С того дня Гаусс, Убалдини и я всегда держались вместе. Мы познали чистую радость беззаботной дружбы в то единственное время, когда это возможно — прежде чем получили золотые позументы морских офицеров, а бремя нажитых забот ещё не тянуло нас вниз, к могиле.

Возглас старшины призвал толпу курсантов к порядку. Мы выстроились в неровный прямоугольник и пытались встать по стойке «смирно», когда в вестибюль вошёл суровый человек невысокого роста и, постукивая о ступеньки концом свисающей сабли, поднялся на помост. Он снял фуражку, положил на стол, потом сцепил за спиной руки и с минуту стоял молча, не слишком удовлетворённо разглядывая новое пополнение. Я заметил лёгкий нервный тик с одной стороны его лица.

Это был линиеншиффслейтенант Эрнст Любич, командир нашей роты, которому в ближайшие четыре года предстояло контролировать наше обучение.

— Кадеты набора 1900 года, — наконец заговорил он, — глядя на вас, собравшихся здесь, я понимаю, что сейчас, в году от рождества Господа нашего одна тысяча девятисотом, когда мы всего в столетии от миллениума, человечество вплотную подошло к вырождению и упадку, предсказанным в Книге откровений пророка Даниила и других частях Священного Писания. Должен сказать, что хоть мне и не дожить до конца света, но мой священный долг морского офицера Австрийского королевского дома — сделать из жалкого сброда вроде вас максимально возможное подобие морских офицеров. Вы станете военными моряками или умрёте! Кадеты 1900-го года, никогда не забывайте простой принцип нашего обучения — оно должно быть таким трудным, что если когда-либо вам придётся участвовать в военных действиях, они покажутся приятным

отдыхом!

Линиеншифслейтенант Любич и императорская и королевская Морская Академия оказались именно такими, как говорилось в этой речи. Учёба была суровой и напряжённой, и самым тяжёлым стал первый семестр, тёмные утренние часы и рано наступающие зимой вечера.

Австро-венгерскому военно-морскому флоту всегда недоставало денег для подготовки офицеров, даже для собственных не особенно больших нужд, а потому недостаточное количество давно решили компенсировать высоким качеством подготовки, даже если это означало, что знания в нас станут впихивать, как орехи в страсбургских гусей. Занятия начинались задолго до рассвета и продолжались чуть не до ночи, от усталости у нас дрожали колени и вываливались глаза. В начале учебного года на моём курсе насчитывалось сорок кадетов, а к Рождеству их число сократилось до тридцати четырёх.

Трое просто ушли, не сумев выдержать такой темп, одного исключили как непригодного к учёбе, один продолжил обучение в местном сумасшедшем доме, ещё один, жертва мозговой горячки, отправился вперёд ногами на городское кладбище. Выживших ждали побудка в пять утра, двадцать минут на завтрак, потом учёба и тренировки до обеда, затем другие занятия и тренировки до ужина в семь вечера, а под конец снова занятия, до отбоя в девять тридцать.

В конце каждого семестра — экзамены по всем предметам. Любого, не набравшего проходной балл хотя бы по одному из них, вышвыривали без всяких церемоний — никаких второгодников, которые были, и, полагаю, до сих пор остаются большой проблемой школьного обучения в Центральной Европе.

В программу наших занятий входили математика, химия, физика, немецкий язык и литература (поскольку для большинства этот язык не являлся родным), английский, сербо-хорватский, ещё один из языков монархии (я выбрал итальянский), география, метеорология, военно-морская история, стратегия и тактика, теория кораблестроения, баллистика и мореходная астрономия. Уроки по последнему предмету проводились обычно около трёх часов ночи, холодной зимней ночи, в обсерватории академии. Мы вглядывались в небо сонными глазами через запотевший от дыхания телескоп, пытаясь найти Арктур и Альдебаран, когда те ненадолго появятся над горизонтом.

Практическое обучение включало морское дело, морские узлы, морские сигналы, шлюпочную практику, прибрежную навигацию и в дополнение ко всему этому пехотную строевую подготовку и тактику.

Боже мой, как мы всё это выдержали? Даже сейчас, восемьдесят с лишним лет спустя, я чувствую слабость от одного перечисления.

Но такова была лишь официальная программа обучения. Проводились ещё и уроки по нашему облагораживанию — нас готовили не только командовать кораблями и руководить людьми, но и к карьере офицеров дома Габсбургов. Нам предстояло принести присягу самой почтенной из правящих семей Европы, стать достойными представителями древнейшей династии, неутомимыми защитниками чести монархии и её офицерского корпуса.

Это означало, что из нас должны сделать джентльменов при помощи занятий фехтованием (в которых я был весьма неплох), верховой ездой (где я не достиг особых успехов) и обучения правилам хорошего тона, поскольку и сейчас считается, что если мальчиков вроде меня, без дополнений «эдлер» и «риттер» ^[3] перед именем, предоставить самим себе, в обществе они непременно станут пускать газы и сморкаться в скатерть.

Единственным хоть сколько-нибудь приятным во всём этом были еженедельные уроки танцев, проводившиеся в главном зале под неусыпным руководством учителя танцев, герра Летценмайера. В качестве партнёрш из соседней монастырской школы к нам во второй половине дня приводили построившихся парами девочек.

Однако я быстро понял, что девочки не ждали этих вечеров с таким же нетерпением, как мы. По их мнению, общению с представителями мужского пола мешает то, что мы неуклюжи и стеснены в средствах, так что обычно они нас третировали. В те времена хорошеньким девушкам среднего класса лет в пятнадцать-шестнадцать оставалось не больше года до замужества и детей, поэтому взгляды их прекрасных чёрных глаз — в основном девушки были итальянками — охотнее останавливались на гораздо более достойных и подходящих кавалерах, чем прыщавые военноморские кадеты в дурацкой форме и с нелепым провинциальным акцентом.

Тем не менее, я на некоторое время привязался к одной девочке по имени, если я правильно помню, Эржи Кетели, дочери венгерского железнодорожного чиновника. Она была не столь высокомерная, весёлая, живая, и к тому же очень милая. К моему удивлению, кажется, я ей тоже нравился.

Я даже пытался писать ей стихи — в первый и последний раз в жизни. Примерно после полутора месяцев тайных страданий я случайно подслушал разговор двух кадетов-четверокурсников:

— Я слышал, Кетели помолвлена.

— Вот счастливчик. Надеюсь, ничего не подцепит. Бедняге Саркотичу

пришлось сдать врачам, кажется, не меньше чем на месяц. Когда эта девица выйдет замуж, половина клиник в Фиуме останется без работы.

— Тебе случалось иметь с ней дело?

— Нет, к сожалению. Она берёт слишком много.

Но мы поступили в императорскую и королевскую Военно-Морскую академию не танцам обучаться.

Самое главное для нас — стать военными моряками, и учёбу мы начали там, откуда начиналось само мореплавание — налегая на вёсла на скамейках гребцов.

Нашим первым кораблём стал массивный древний баркас, списанный со старого броненосца. Мы грузились на борт этой малопривлекательной посуды на пирсе Валерия неподалеку от академии, а потом долгими изнурительными часами мотали его взад-вперёд по гавани с внутренней стороны волнорезов, среди нефтяных пятен и плавающего мусора. Это было душераздирающе унылое занятие, придуманное, я уверен, для сокрушения нашего духа, чтобы после воссоздать из нас настоящих габсбургских морских офицеров.

Баркас — громоздкое старое корыто со скамьями на двадцать гребцов — то есть половина курса за раз. Он весил четыре или пять тонн, а вёсла были размером с небольшой телеграфный столб, такие тяжёлые, что мы, подростки, с трудом поднимали их в уключины — не вращающиеся железные опоры, а просто квадратные вырезы в массивных бортах.

С учётом всех обстоятельств грести в этой проклятой лодке по гавани Фиуме было почти настолько же приятно и полезно, как рубить дуб тупым столовым ножом. Разница между нами и рабами на галерах заключалась только в одном: нас не приковывали к скамьям. Однако не сомневаюсь, эта идея рассматривалась.

Но если бы мы были прикованы, инструкторам пришлось бы возиться, отпирая замки, чтобы после двухчасового сеанса гребли мы могли на пару часов выйти на берег для разминки — отработки приёмов с оружием на плацу. Тем не менее, на случай, если в наши занятия греблей вкрадывалась хоть толика удовольствия — например, когда мы возвращались на пирс Валерия, подгоняемые в корму свежим северо-восточным ветром, свирепый пожилой старшина, управлявший шлюпкой, обычно цеплял за кормой пару вёдер, действовавших как тормоз.

Как только нас сочли квалифицированными гребцами, мы перешли к настоящим кораблям — провели восемь или девять недель, запоминая рангоут, такелаж и паруса миниатюрного трёхмачтового корабля, сделанного из старой лодки, поставленной на колёса, чтобы её можно было

вкатить в лекционный зал как наглядное пособие.

Этот процесс завершился, и за ним, наконец, последовало нечто реальное — обучение работе на высоте. Полагаю, мало кто из нас не испытывал душевного трепета тем серым декабрьским утром по пути к пирсу Валерия, где парусный корабль Академии, бриг «Галатея», оснащался перед наступающим сезоном. Наконец-то настал момент, ужасавший всех нас, хотя мы и тренировались в спортзале с барьерами и альпинистскими верёвками.

Теперь, на такелаже настоящего полноразмерного корабля, нам предстояло превратиться в цирковых акробатов. Для нас приготовили страховочные сетки, но несмотря на это, стоящим на пристани кадетам две мачты «Галатеи» показались ужасающе высокими. Это был всего лишь маленький корабль, оснащённый множеством парусов, так что громоздкое замысловатое сооружение из дерева и канатов казалось более высоким, чем выглядело бы на трёхмачтовике, и брам-стенги как будто касались низких зимних облаков.

Если бы военно-морская дисциплина и боязнь прослыть трусами не удерживали нас на месте, многие тут же бросились бы прочь из гавани. Однако в конечном итоге оказалось, что первое практическое занятие на высоте, хоть и достаточно серьёзное, отнюдь не было организовано с убийственным безразличием к нашим жизням или конечностям. Во всяком случае, мы не испытали тех ужасов, которыми нас старались запугать кадеты-старшекурсники. Они рассказывали об отскребаемых с палубы телах или о каком-нибудь юном бедолаге, никогда не поднимавшемся вверх по чему-либо опаснее садовой стремянки, а его наугад выбрали из строя и приказали взобраться на клотик грот-мачты и стоять там, зажав между колен громоотвод.

Набрать кадетов стоило денег, в Рейхсрате могли возникнуть ненужные вопросы, и в любом случае, если бы слишком многие кадеты стали падать с высоты, императорское и королевское министерство финансов немедленно воспротивилось бы необходимости нести расходы на похороны.

Мы начали карабкаться на высоту. В полдень осторожно попытались ступить на перт нижней реи. На следующий день мы поднялись наверх аж до салинга и, наконец, нас по четверо отправили на бом-брам-рей — верхнюю деталь рангоута, парящую в сорока метрах над палубой и (как казалось) толщиной лишь с рукоятку швабры.

Ниже старшина покрикивал на нас с марсовой площадки, чтобы подбодрить оробевших. Мы ползали по пертам, цепляясь изо всех сил, и

старались не смотреть вниз. «Одна рука для императора, другая для себя» — таково было правило. Все мы прекрасно знали, что в море для работы с парусами нужны обе руки, и нам, висая на волосок от гибели, придётся удерживаться на реях изо всех сил и уповать на удачу.

Но всё же это изречение не было лишено смысла. На паруснике единственное жизненно важное правило работы на высоте — никогда не выпускать из рук опору, пока не ухватишься за другую. Если не забывать об этом — работа среди такелажа не так уж опасна, как бы страшно это ни выглядело снизу.

В шторм по-настоящему опасное место на борту парусника — палуба. На одного упавшего с высоты приходится, должно быть, десяток смытых с палубы волной — тех, кто не успел прыгнуть на спасительные ванты.

Первое время, конечно, страшновато забираться на тонкую, шаткую мачту высотой в церковь — корабль внизу становится маленьким, будто игрушечная лодчонка в ванной.

Но удивительно, как быстро к этому привыкаешь, и уже через три-четыре дня ловкости и уверенности столько, что приказ вскарабкаться на клотик грот-мачты страшит не больше просьбы подняться дома по лестнице на чердак.

Впрочем, вырабатывать такую уверенность требуется далеко не всем. За двоих кадетов на нашем курсе я совершенно не беспокоился на этот счёт — Анта Тарабоччия и Блазиуса Каттаринича, хорватов с острова Луссин. Оба, как и мой друг Убалдини, родом из старинных морских династий.

Их предки служили адмиралами галерного флота в Венеции ещё в те времена, когда Габсбурги были лишь небогатыми землевладельцами где-то на Рейне. Многие поколения в их семьях были капитанами и судовладельцами, и оба они родились в море, Каттаринич — на луссинской шхуне у берегов Тасмании. На остальных эти двое смотрели с презрительным удивлением, как на кучку сухопутных крыс, пытающихся стать моряками. Тарабоччия почти сразу стал поправлять учителя по морскому делу — и был оправдан только после жалобы наставнику курса.

В наш первый день занятий на высоте, когда все остальные хватались побелевшими от напряжения пальцами за страховочный леер, пытаясь не смотреть на воду внизу, Каттаринич, отряженный работать на самом конце реи, беззаботно болтал ногами и сделал вокруг нее двойное сальто. С палубы немедленно последовал гневный рёв в рупор:

— Эй, кадет! Прекрати валять дурака, чёрт тебя дери, и сию же минуту спускайся на палубу. Ясно?

Каттаринич глянул вниз.

— Яволь, герр лейтенант.

И с этими словами, под нашими испуганными взглядами, он перекинул ноги с перта на рею, выпрямился и пошёл по ней, засунув руки в карманы, вызываясь легко, как кошка по садовой ограде. Потом, махнув нам на прощание, легко ухватился одной рукой за ванты и скользнул вниз по стень-бакштагу. Результатом стали два дня карцера за непослушание, однако мы не сомневались, что эта маленькая демонстрация удали того стоила.

Трудно даже представить, что при такой насыщенности программы занятий, практической работы и обучения социальным навыкам у нас оставалось хоть какое-то время для себя. Однако иногда на неделе выдавались свободные вечера, а также в праздничные дни и обычно по воскресеньям после мессы. Одной из самых удивительных особенностей Морской академии было то, что наше свободное время совершенно не контролировалось.

Если мы находились при исполнении служебных обязанностей, требования дисциплины строго соблюдались, но если нет — в пределах ограничений военных или гражданских законов наших наставников нисколько не волновало, чем и как мы развлекались. Доктор Арнольд из Регби ^[4] до Австро-Венгерской империи так и не добрался, поэтому командные игры нам оставались совершенно неизвестны, единственным обязательным видом спорта являлось плавание, а что касается нашего морального облика — всё ещё тщательно соблюдался старорежимный кодекс чести. Наша главная обязанность за воротами Академии — блюсти честь и достоинство дома Габсбургов и его офицерского корпуса.

Нам ещё лишь предстояло стать офицерами, но как часть формы для выхода мы носили нечто вроде оружия, цоглингсабель — «учебную саблю», слишком короткую для настоящей сабли, но слишком длинную для кортика. И она служила не просто украшением — никто не сомневался, что мы сумеем ей воспользоваться, чтобы поквитаться за любое серьёзное оскорбление правящей династии или чести офицера.

Насколько оскорбление серьёзно, предоставлялось судить нам самим или общественному мнению. Если кто-то не наказал бы обидчика, он мог предстать перед судом чести и быть изгнанным с позором, как это случилось через несколько лет с мичманом в Триесте, когда пьяница в ночном трамвае схватил его саблю. Но если ошибиться, можно попасть в гражданский суд по обвинению в убийстве. Однако, если отбросить кодекс чести, отношение наставников к нашим развлечениям вне службы по нынешним понятиям выглядело ужасающе небрежным.

Не совсем то попустительство, какое имело место в Военной академии Марии-Терезии в Винер-Нойштадте в 1850-е годы, когда одна из инструкций предписывала: «Все кадеты должны быть трезвыми хотя бы один день в месяц». Но я хорошо помню висевшие в вестибюле правила поведения, включая следующие: «Кадетам надлежит помнить, что уделяемое даме внимание может не увенчаться взаимностью, но тем не менее привести к осложнениям с мужьями или женихами. Кадеты обязаны самостоятельно оплачивать полную стоимость лечения заболеваний, полученных при посещении неподобающих увеселительных заведений».

Некоторые семнадцати-восемнадцатилетние кадеты с третьего и четвёртого курсов были неплохо осведомлены о подобных заведениях и с удовольствием их посещали. В Фиуме, тогда оживлённом городе, имелось множество разного рода развлечений. Он был не только вторым по величине морским портом двуединой монархии — с переполненной и ужасающе грязной гаванью (в этой части Адриатики почти нет приливов), но ещё имел честь представлять всё морское побережье Венгерского королевства — четыре километра в общей сложности.

Население состояло в основном из итальянцев и хорватов, но по австро-венгерскому соглашению 1867 года город отошёл в подчинение Будапешту как *corpus separatum* — отдельный субъект земель королевства святого Стефана, хотя ближайшая венгерская территория находилась на расстоянии нескольких сотен километров, если ехать по железной дороге через Хорватию и Словению.

Городу пытались придать максимально возможное сходство с Будапештом, и хотя в 1900 году всё венгерское население составляли губернатор и несколько сот чиновников, венгры уже приступили к преобразованию города на свой лад — то есть постепенно создавали для невенгерских жителей населения столько сложностей, что либо им это надоедало и они покидали Фиуме, либо сдавались и учили прекрасный, но дьявольски трудный венгерский язык. В городе уже установилась яркая, шумная, почти восточная атмосфера, как в Будапеште — нечто среднее между Мюнхеном и базаром в Каире.

И город действительно бурлил, потому что в те дни Фиуме был удивительно оживленным и процветающим портом, справлялся почти со всей морской торговлей королевства Венгрия, которое проводило собственную тарифную политику и уже несколько десятилетий накачивало город деньгами, чтобы сделать его конкурентом Триеста.

Каждый год примерно с конца июля на пристань прибывали железнодорожные вагоны, и золотой поток пшеницы из обширных

земельных пространств венгерской пусты ^[5] заполнял трюмы ожидающих судов. К августу гавань была так забита судами, что можно было пересечь её, не намочив ноги.

И это не образное выражение. Однажды по затее Макса Гаусса мы попытались, и проделали весь путь за пять минут, хотя это и означало, что кое-где пришлось с риском для жизни перескочить с одного бушприта на другой, кое-где переползти с реи на рею, по палубе одного британского парохода за нами погнался боцман, размахивая кочергой и клянясь, что вырвет у нас, молодых нахальных петушков, кишки и намотает на кочергу.

Потом, примерно в ноябре, поток зерна иссякает и его место занимают другие предметы венгерского экспорта. День за днём мы наблюдали, как они карабкаются вверх по сходням кораблей, пришвартованных в гавани Рива Сапары — оборванные, тощие, нередко с босыми грязными ногами, на плечах узлы с убогими пожитками — излишки сельского населения великой Венгрии.

В то время Венгрия представляла собой огромный музей феодализма под открытым небом, а её безземельные труженики были более угнетёнными и бесправными, чем чёрные рабы на плантациях Миссисипи. Эмигранты часто не думали о том, куда отправляются — Бразилия, Канада или Мадагаскар, всё равно, лишь бы подальше от убогих и перенаселённых деревень дворянской Венгрии. Наиболее сознательные венгерские магнаты (или, по крайней мере, так говорили наши однокурсники-венгры) даже сами организовывали эмигрантские агентства, чтобы освободить свои имения от излишков человеческого скота.

Первые семь месяцев обучения в Морской академии мы изучали основы морского дела. Весной 1901 года, когда худшая часть сезона боры осталась позади, начались первые парусные учения в открытом море. Мы лавировали, разворачивались и носились взад-вперёд по бухте Квартеноло на восьмиметровом корабельном катере с двумя люггерными парусами, дрожа от холодных брызг под ветром с гор Велебит.

Кроме того, мы изучали основы кораблестроения на местных верфях и потели в пропитанном нефтью и паром душном машинном отделении, пока машиненмайстер посвящал нас в тайны клапанных тяг и выхлопных коробок.

Потом, в мае, когда установилась погода, мы отправились в путешествие, которого большинство ожидало с огромным нетерпением и долгое время готовилось к нему — первое плавание в открытом море. На время этой тренировки, десятидневного похода в Квартеноло, нашим кораблём стал бриг «Галатей», на борту которого мы уже отрабатывали

навыки обращения с парусами.

Его уже подготовили к новому сезону, и следующие шесть месяцев брига предстояло провести (как и каждое лето в последние три десятилетия) приняв на борт около сорока кадетов и их инструкторов для обучения навыкам мореходства на настоящем корабле в открытом море. Утром десятого мая, в восемь склянок, мы с матросскими вещмешками на плечах прошли строем по брусчатке причала Валерия и погрузились на «Галатею».

У подножия трапа я на мгновение остановился, глядя вверх, на возвышающиеся мачты с парусами, распущенными в ожидании ветра, который наполнит их в море. Теперь у меня уже имелись капитальные теоретические знания, например, как поднять парус и управиться с ним, причаливая в тихой гавани.

Но что будет в открытом море? Правильно ли я выбрал профессию? Я как будто стоял на краю высокого трамплина, пытаюсь решиться на прыжок. Вопрос, наконец, решил громкий окрик сзади:

— Пошевеливайся, Прохазка! Хватит мечтать о капустных полях, божемский олух, тащись на борт!

Ботинок старшины подтолкнул меня вверх по трапу — в новую жизнь, в незнакомую, покачивающуюся, воняющую смолой деревянную скорлупку, которой отныне предстояло стать моим миром. Через час набережная Фиуме осталась за кормой, буксир тащил нас прочь, чтобы поймать ветер в стороне от Монте-Маджоре.

К тому времени, как я с ним познакомился, бриг «Галатея» был уже старым — построенный в венецианском Арсенале в 1845 году, он, несмотря на возраст, сохранил прекрасные мореходные качества. «Галатея», безусловно, была выдающимся кораблём — водоизмещение всего сто восемьдесят пять тонн и примерно двадцать метров от носа до кормы. Но правильные, совершенные обводы и обилие парусов делали её потрясающе быстрой и способной круто держаться к ветру, даже теперь, когда уже начинал сказываться возраст — крошились болты, швы давали течь.

На военных парусниках огромное количество времени и усилий посвящалось надраиванию и покраске. Не только для того, чтобы занять экипаж, но и потому, что деревянные корабли с пеньковой оснасткой легко гнили и требовали для поддержания на плаву не меньше внимания, чем скрипки Страдивари.

В основном оно заключалось в постоянном утомительном натирании и надраивании всего и вся (в итоге изнашивающем корабль), что было

наглядно продемонстрировано около шести утра через пару дней после того, как мы вышли из Фиуме. Я, толком не проснувшись, стоя на коленях, возил туда-сюда огромным куском песчаника, начищая свой участок квартердека.

Внезапно раздался треск — и я в недоумении уже смотрю в здоровенную дыру, где только что исчез песчаник. Я окончательно продрал насквозь тонкий слой палубных досок, и камень провалился вниз, чуть не задев старшину, который тут же бросился на палубу и орал на меня несколько минут, решив, что я пытался совершить на него покушение.

В тот же день я оказался на работах в подпалубном помещении — сдираю по указанию плотника старую краску с бортовой обшивки. Наслоение краски было таким толстым, что лезвие погружалось в него на палец, не касаясь деревянной поверхности.

Для своих размеров «Галатея» несла огромное количество парусов — восемь прямых парусов на двух мачтах плюс два кливера и стаксель на фок-мачте и два стакселя и большую бизань на грот-мачте. Кроме того, восемь лиселей на лисель-спиртах нижних рей при слабом ветре. Поскольку отсутствовал хоть какой-то иной движитель, вся эта кипа действительно требовалась, ибо летние ветра на Адриатике невероятно слабые.

Первые пять дней мы распустили все паруса, включая свои носовые платки, и постоянно находились на палубе, подравнивая рей, чтобы уловить хоть малейшее дуновение ветерка, морщинившего восхитительно сапфировую морскую гладь. Иногда мы скользили вперед со скоростью в пару узлов, но чаще просто дрейфовали с обвисшими парусами. А вокруг резвились дельфины, как будто насмехаясь над нашим бессилием.

Прошла уже половина срока плавания, а мы все еще крутились вокруг островов — Луссин, Черзо и Паго, взирая на пустынные каменистые склоны, обращенные к материку и сдуваемой всё зимней боре, и на серо-зеленые сосновые леса с редкими вкраплениями кипариса на берегах, обращенных к морю и защищенных от ветров с суши.

И только на шестой день после выхода из Фиуме поднялся юго-западный ветер и мы наконец смогли насладиться настоящим плаванием в открытом море к западу от острова Луссин, скользя под полными парусами. Нос брига поднимался и опадал, поднимался и опадал, рассекая пенящуюся кобальтовую воду. Тогда я решил, что все-таки мне такая жизнь по душе.

Рабочий день длился невероятно долго: с пяти тридцати и до девятнадцати тридцати, не считая самих вахт. Гамаки висели на

единственной и перенаселенной главной палубе — шумной и беспокойной из-за постоянной смены вахт — или (если кому-то уж так повезло) в трюме, где, несмотря на темноту и спертый воздух, имелось хоть какое-то подобие покоя.

Пища была самая простая: на завтрак — пол-литра чёрного кофе и цвибак (корабельные галеты), в обед — айнтопф, картошка и солонина из одного котла, сваренные в камбузе на полубаке. Ужин, которому жители Далмации отдавали предпочтение, состоял из сардин в масле и кислого вина, казавшегося нам, кадетам, отвратительным, хотя инструкторы пили его с удовольствием.

Еда в Морской академии была довольно спартанской, но, по крайней мере, мы ели за столами с безупречно свернутыми салфетками, бокалами и серебряными столовыми приборами. Здесь же — складные ножи и жирные пальцы, сидели вплотную, плечом к плечу за узкими обеденными столами — точнее сказать, обеденными досками, подвешенным к низким бимсам. На борту находилось тридцать восемь кадетов: тридцать четыре из набора 1900 года и четыре курсом постарше в качестве старшин палубной команды, а кроме того — три офицера и человек восемь инструкторов.

Нашим командиром был корветтенкапитан Игнац Прерадович фон Кайзерульд: худощавый, болезненный человек пятидесяти с небольшим лет, с пронизывающим взглядом и глубоко запавшими глазами. Гримаса как у черепа; сходство, которое он увеличивал, брея голову так, что если внимательно присмотреться, заметишь швы черепных костей под тонкой кожей. Не состоящий в браке и аскетичный в личных привычках — никто не видел его улыбающимся. Но те, кто хорошо его знал, относились к Прерадовичу с трепетом и некоторым страхом.

Его многообещающая ранняя карьера была прервана в 1880 году пулей в печень, полученной при штурме деревенского частокола в горах над заливом Каттаро, когда местные жители подняли восстание против австрийского правления. С такой раной и преобладающими в те дни хирургическими методами он не должен был выжить.

Но он выжил и, уволившись по инвалидности с австрийской службы, поступил в британский торговый флот и дорос до капитана австралийского пассажирского клипера «Гвадалквивир», который сделал несколько рекордных рейсов из Лондона до Сиднея в начале 1890-ых.

Прерадович повторно поступил на австрийский военно-морской флот в 1895 году, но повторяющиеся приступы желтухи ограничили его службу учебными походами. В австро-венгерских кригсмарине его называли Игнатием Лойолой ^[6], его преданность морскому ремеслу была почти

фанатической. Для него свернутый против часовой стрелки канат был смертным грехом, парус, взятый на гитовы сначала с подветренной стороны — форменной ересью, а запутавшийся якорь — богохульством.

По мнению корветтенкапитана Прерадовича, именно плавающие в соленой воде деревянные скорлупки — подлинная среда обитания человеческого рода, а всё остальное — женщины, дети, сельское хозяйство, дома и прочее — досадные ошибки эволюции. Стоило нам выйти из Фиуме и убрать буксирный канат, как он отдал первый приказ. Каждому надлежало в порядке очереди подойти к поручню полубака, вытащить на верёвке ведро морской воды и опрокинуть себе на голову — омовение, означавшее освобождение от земли и её порочного влияния.

Хотя его мнение могло бы показаться эксцентричным, старик Игнатий Лойола был замечательным наставником в морском деле, как и его компетентные офицеры и старшины. Вскоре мы все взмывали на мачту, распускали и убирали паруса так, будто никогда не знали ничего другого, кроме этих двух мачт напротив друг друга и постоянного соревнования, кто первым выполнит свою работу.

На «Галатее» постоянно шли учения. Не по необходимости — на торговых парусных судах об учениях и не слыхивали, — а чтобы мы не путались друг у друга под ногами. По сравнению с торговым флотом на военных кораблях просто огромная команда — во время боя ведь нужно не только управлять кораблем, но и стрелять, а также иметь некоторый запас людей на замену убитым и раненым. Если хотите, чтобы экипаж не спотыкался при каждом шаге о соседа, учения незаменимы.

Я относился к формарсовым. Моё место — второй с конца на правой брам-рее вахты правого борта. Это вторая сверху рея на этой мачте. Добраться туда в спешке — не самая легкая задача, ведь приходилось карабкаться по вантам брам-стенг до салинга, где заканчивались выбленки [\[7\]](#), и дальше вдоль реи, вшестером, один за другим, держась за канат и пропустив наверх тех четверых, кто отвечал за бом-брамсели.

Но главное было туда добраться, а дальше уже легко, поскольку в отличие от двух нижних парусов на этом не нужно было брать рифы, если поднимется ветер.

Его либо полностью сворачивали, либо распускали. Поначалу было страшно вато лежать на животе и держать парус, зацепившись ногами за перт, а мачта тем временем медленно раскачивалась в такт хода корабля. Но мы на удивление быстро привыкли. Лишь находящиеся над нашими головами Каттаринич и Тарабочча снисходительно усмехались и говорили, что мы не так уж плохо справляемся для кучки богемских

крестьян и распевающих песни тирольцев.

В последний день плавания мы снова попали в штиль в проливе Морлакка, между материковым побережьем и островом Велия, в нескольких милях к северо-западу от города Зенгг. Дувший накануне бриз стих, и корабль слегка покачивался в глянцево-синем море. Только что закончился обед.

Вахтенные левого борта всё утро изучали основы артиллерийского дела на примере одного из четырех бронзовых шестифунтовых дульнозарядных орудий «Галатеи», которые до сих пор мы лишь полировали.

Ради забавы нам с Гауссом разрешили произвести холостой выстрел. Раздался раскатистый «бум», вылетело живописное облачко белого дыма, а потом нам пришлось оторвать пятнадцать драгоценных минут от обеда, чтобы отдраить ствол.

Мы были свободны от вахты, и после обеда нас ждало несколько часов отдыха, предписанного служебными инструкциями. Некоторые дремали, лежа на палубе, другие спустились вниз, подальше от палящего полуденного солнца, мешающего сну. Я же перегнулся через фальшборт в тени фока и рассеянно рассматривал горы материкового побережья в нескольких милях от корабля.

Я вскользь заметил на гряде Велебит шапку белого облака, похожую на парик придворного лакея. Мне также показалось немного странным, что при сверкающем солнце и вяло хлопающих на мачтах парусах, три шлюпки «Галатеи» накрепко привязали к железным шлюпбалкам, а у штурвала стояли двое. Кроме того, некоторые паруса сворачивали, несмотря на отсутствие ветра. В воздухе висело предчувствие чего-то, хотя я мог понять, чего именно.

Возможно, это просто солнце, морской воздух и отсутствие сна, подумалось мне. Я снова взглянул на побережье и заметил, что странная размытая белая линия теперь протянулась вдоль берега в обе стороны. Линия, казалось, приближалась к нам. Во всяком случае, она только что поглотила маленький островок в открытом море. Что же, спрашивается, это может быть? Уж точно не морской туман, в такой-то ясный денек.

И тут меня охватило смутное беспокойство. Может, поднять тревогу? Но впередсмотрящий, он же матрос-инструктор, молчал, а я не хотел стать посмешищем курса 1900 года до конца учебного года, как «парень, который принял Венеру за топовый огонь». Я огляделся и заметил, что оба рулевых вцепились в штурвал. Может, сказать им?

Бора налетела на нас, как невидимый скорый поезд, все демоны ада

верхом на пантерах проскакали по летнему морю голосащей и завывающей ордой. За пару секунд «Галатhea» накренилась, вода вливалась внутрь сквозь орудийные порты, отдыхающая вахта в ужасе выскакивала снизу из люков, и полусонные кадеты скользили по наклонной, залитой пеной палубе.

— Свистать всех наверх! — взревел унтер-офицер, перекрикивая завывания ветра.

Корабль слегка выправился, по инерции двигаясь сквозь волны и постанывая, когда ветер и брызги били в паруса. То, что «Галатhea» не потеряла мачты, многое говорит о ее мореходных качествах. Но нужно было уменьшить количество парусов.

Не раздумывая, я прыгнул на ванты и, прижимаясь к ним, стал подниматься, соленая пена неслась над морем, сшибая все на своем пути. Каким-то образом мне удалось добраться до фор-марса, а потом и до салинга. Там я остановился, чтобы подождать, пока наверх заберутся ответственные за бом-брам-рей, как предписывали инструкции. Но невозможно было удержаться на раскачивающейся и перекручивающейся веревочной лестнице, а снизу меня подталкивали остальные. А из-за колючего вихря пены я не мог и увидеть, куда двигаюсь.

В конце концов я добрался до реи ощупью и попытался ухватить мокрый, стегающий меня парус, пока на палубе бык-горде^[8]нем подтягивали нижнюю шкаторину к рею, чтобы парус ловил меньше ветра. Но парус упорно сопротивлялся, как будто в нем билась парочка здоровенных тигров. В шуме ветра я расслышал крик и краем глаза (залитого соленой водой) заметил, как что-то свалилось в кипящее внизу море. Но не было времени гадать или смотреть.

Ветер дважды вырывал из наших рук парус, и дважды мы снова в него вцеплялись, пока не перебороли и не затащили вокруг него сезни — неровно, но вполне сносно. Всё то время, пока я трудился на рее с правого борта, её конец был наклонен градусов на сорок. И лишь когда мы и кадеты под нами убрали парус, корабль начал возвращаться в вертикальное положение, хотя к тому времени шквал уже прошел, и потому ветер ослаб. И лишь тогда ко мне вернулось полноценное зрение и время задуматься над тем, что я вижу нечто из ряда вон выходящее.

Надо мной не было паруса. Я сидел не на брам-рее, а выше, на бом-брам-рее. В сутолоке и по неопытности я забрался наверх, но не на свое место. И когда я уже перебирал ногами по перту и приготовился к спуску вниз, до меня дошел весь ужас моего положения. В критической ситуации меня не было на положенном месте.

Когда я осознал свой кошмарный проступок, у меня мурашки пошли по коже. Я, будущий офицер, которому суждено командовать людьми в подобных ситуациях, не выполнил свой долг. Возможно, никто этого не заметил... Но когда я спустился, старшина фор-марсовых уже меня ждал.

— Прохазка, где ты был, кретин? Да за такое я тебя оттащу к Старику!

До той поры я не понимал, сколько проблем может свалиться на мою голову.

Как будто все мои пятнадцать лет были лишь вехами на пути к полной скорпионов яме, куда я только что рухнул, из-за единственного мгновения беспечности и нерешительности. Все взгляды устремились в мою сторону. Прохазка — некомпетентный, Прохазка — ловкач, Прохазка всегда всех подводит, Прохазка — будущий моряк, который в спешке даже свое место на рее не найдет, не говоря уже о том, что он там вытворяет, это же просто грязный чешский крестьянин, возомнивший себя моряком, хотя должен был бы стать мелким провинциальным чиновником. Я превратился в кучу отбросов, в гноящуюся язву, в пустое место...

Теперь, когда ветер стих, оставив лишь легкую дымку и короткую зыбь, нас построили на шкафуте, послушать обращение капитана. Но он запаздывал — что-то случилось.

На воду спустили шлюпки, они бороздили море в сопровождении выкриков через рупор и яростной жестикуляции. За десять минут задержки я в полной мере ощутил весь ужас своего положения, это были десять минут до вынесения вердикта, приговора и казни. Я кинул взгляд на стойки с ядрами, подумывая вырваться из строя, схватить одно и броситься за борт, прежде чем меня успеют схватить. Но я не успел ничего сделать, потому что дудка боцмана призвал всех встать по стойке смирно.

С крыши офицерского галюна к нам обратился капитан — он всегда выбирал для разговора с нами эту трибуну. Я попытался съежиться и стать незаметным, но чувствовал на себе взгляды товарищей, как они мысленно облизывают пальчики в предвкушении предстоящего зрелища. Это не было с их стороны какой-то особой жестокостью или злобой — меня любили, и с большинством я поддерживал хорошие отношения.

Это был скорее интерес зевак на казни через распятие или тех, кто с удовольствием читает в газете колонки о разводах и банкротствах — омерзительное, но присущее всем и каждому облегчение от зверств по отношению к кому-то другому, хотя и они сами могли бы оказаться на его месте. В этом нет ничего личного, как я позже понял. На самом деле это своего рода сочувствие, осознание тленности человеческих существ.

Но в тот момент для меня в этом было мало утешительного. А хуже

всего то, что мои приятели Гаусс и Убалдини явно меня жалели, но всё же чуть-чуть отодвинулись, словно несчастье заразно.

— Кадеты набора 1900 года, — начал капитан. — Сначала скажу, что вы только что показали не слишком слаженные действия в критической ситуации. Они были неплохими, но не более того. Вам потребовалось вдвое больше времени, чем опытным морякам. Кучу времени вы потратили, пытаясь сделать аккуратные узлы, а должны были сосредоточиться на том, чтобы снизить парусность. Также должен отметить, что из-за присущего ему самомнения и беспечности мы временно потеряли одного человека — кадета Каттаринича. Он пренебрег правилом всегда держаться одной рукой, прежде чем схватиться другой, и заплатил за свою беспечную браваду хорошим купанием. Похоже, он оценил риск, но оценил плохо... — Он умолк, и послышался смех. — Когда шлюпки его выудят, он пройдет перед вами весь мокрый, в качестве примера неумелого моряка. Но что мне сказать еще о двоих из вас?

Он уставился единственным, сверкающим взглядом безумца на меня, и я взмолился, чтобы меня поразила молния. Короткая пауза словно служила для того, чтобы палач вынул из ножен сияющий на солнце меч.

— ... О кадетах Гауссе и Прохазке, которых я могу поздравить с превосходной и точной реакцией в критической ситуации. Их поведение хоть немного искупает в моих глазах вину всех остальных.

Мать Божья, мне что, это снится?! Это наверняка какая-то ошибка...

— Кадет Прохазка, — продолжил капитан, — хотя и должен был находиться на фор-марсе, без какого-либо приказа забрался выше, на бомбрамсель, а кадет Гаусс занял его место. Как люди с некоторыми интеллектуальными способностями, они поняли, что во время шквала стоит забыть об инструкциях и забраться как можно выше, чтобы убрать парус и тем самым уменьшить кренящий момент, облегчив уборку парусов тем, кто ниже. Как я вижу, они единственные из вас усвоили то, что я пытаюсь вбить в ваши дубовые черепашки последние десять дней: что инструкции необходимы для мореходства, но это еще не всё. Их могло бы хватить, если бы мы были солдатами и корабли плавали бы по парадному плацу. Но корабли ходят в море, а старик-океан не читал инструкций. В заключение позвольте сказать, что действия этих двух кадетов произвели на меня тем большее впечатление, поскольку оба они, в отличие от большинства оставшихся, не происходят из морских династий. Если все сухопутные такие, может, в будущем весь императорский и королевский флот стоит комплектовать исключительно чехами и венскими евреями. Вот и всё, что я хотел сказать. Теперь можете вернуться к своим обязанностям.

Вольно.

Мы разошлись, и я в каком-то полузабытии приступил к своим обязанностям. Для моих скромных мозгов это было слишком. То я был человеком, постыдно пренебрегшим своим долгом, а в следующую секунду стал образцовым кадетом и примером всех моряцких добродетелей.

Теперь однокурсники взирали на меня с удрученным видом, считая, что кто-то из их рядов получил незаслуженную награду, и не по случайности, которая может произойти с каждым, а с помощью своих сверхъестественных способностей. В этот день я впервые понял, что хвала и осуждение общества — это всего лишь разные стороны одной фальшивой монеты, и одно стоит не больше другого.

Для нас с Максом Гауссом итогом похода стала отметка «лучшие» в личных делах. А для Каттаринича, для бедняги и неудачника Блазиуса Каттаринича — штамп «выбыл в связи со смертью». Его тело нашли неделей спустя на берегу острова Луссин, всего в сотне метров от родного дома. Гаусс, Убалдини и я отправились на пароходе из Фиуме на похороны в качестве представителей Морской академии.

Когда мы высказывали соболезнования его матери, донне Карлотте, то оказалось, что она горюет, но не так чтобы совсем уж убивалась по сыну. Как мы выяснили, с 1783 года ни один мужчина из рода Каттариничей не умирал в постели, так что любая другая смерть, кроме как в море или от пули, считалась бесчестьем.

Настал конец учебного года, и Кастелло Убалдини пригласил меня с Гауссом провести летние каникулы в своей деревне Тополицца неподалеку от Рагузы. Мы оба впервые посещали южный край Далмации, эту опаленную солнцем землю из меловых скал и зарослей маквиса ^[9] со сладким ароматом, с виноградниками и благоухающими летними ночами, когда на узких городских улочках разливались звуки мандолины.

Эти каникулы свершили чудо с моими познаниями в итальянском, хотя ценой стал навеки впечатавшийся в голову, как штамп с крылатым львом святого Марка, мягкий и мелодичный венецианский акцент. В те годы он был распространен по всему Адриатическому побережью вплоть до Корфу. Мы плавали между островами на маленьком куттере Убалдини, купались и ловили осьминогов, а также отправились дальше по берегу, чтобы исследовать великолепные бухточки залива Каттаро.

Я начал курить, впервые напился вроде бы легким, но сшибающим с ног курзольским вином и отрастил жалкую щеточку, впоследствии ставшую усами. А еще безнадежно влюбился в кузину Убалдини, чудесную черноглазую вертихвостку по имени Маргарета. Однажды во

время пикника в оливковой роще она отозвала меня в сторонку и позволила сунуть руку ей под блузку и потрогать нахальную маленькую грудь.

А на следующий день объявила, что собирается уйти в монастырь кармелиток. Я надеялся, что это решение не связано с моим неуклюжим лапаньем накануне. Как я знаю, позже она стала матерью-настоятельницей и вела столь праведную жизнь, что ее даже собираются канонизировать. В таком случае очень жаль, что мне не придется при этом присутствовать и порадоваться, что я стал единственным смертным, кому довелось потискать святую.

В целом это было чудесное лето, апогей беззаботной молодости. Жизнь никогда не была столь беспечной, и, возможно, никогда не могла быть. Полагаю, вам должно показаться, что старушка Австрия на рубеже веков была обреченной империей и беспомощно катилась к катастрофе в зловещих сумерках, освещенных вспышками молний. И конечно, в то время люди ныли и жаловались, что никогда во всей истории не было эпохи столь же ужасной, как современность.

Но тогда в Центральной Европе говорили и, вероятно, до сих пор говорят: «Помяните мое слово, эти грязные коммунисты все дальше толкают нас к голоду и нищете. Вот, съешьте еще одну гусиную ножку, а то ваша тарелка опустела».

Но мне довелось видеть старую дунайскую монархию в ее последние годы, и я не помню, чтобы она когда-либо еще была такой. Вообще-то я помню, что под бесконечным нытьем скрывался общий оптимизм.

В конце концов, мы жили в спокойном, цивилизованном, глубоко культурном государстве, которое при всей своей скрытой нищете и притеснениях по-прежнему оставалось куда более привлекательным и веселым, чем все те, что мне довелось повидать. На многое было приятно посмотреть, и с каждым годом страна все больше процветала, война казалась такой же далекой, как и планета Марс, и если народы пререкались и ворчали друг на друга, то, как казалось, беззлобно.

Хотя я не стал бы утверждать, что только живший при прежнем режиме может понять истинную сладость жизни. Должен сказать, что юность морского кадета дунайской монархии стала прекрасной подготовкой для предстоящих испытаний и оставила множество приятных воспоминаний, которые удерживали меня на плаву в последующие годы.

Я часто вспоминал эти летние дни в Тополице сорок лет спустя, лежа в бараке Бухенвальда среди мертвых и умирающих, с ползающими по мне тифозными вшами, и тогда все это становилось вполне терпимым. Как ни

странно, долгие месяцы в этом жутком месте мне всегда снились хорошие сны. Кошмары появились годы спустя.

Глава четвёртая

ПОРТОВЫЕ ВАХТЫ

В сентябре 1901 года мы вернулись в Морскую академию, на второй курс. Мы справились с основами морского дела, и теперь предстояло приобщиться к священным тайнам морской навигации. Некоторые мои товарищи-кадеты нашли эту тему слишком сложной и (как я подозреваю), никогда по-настоящему не понимали её. Научились лишь выполнять ряд действий — как попугай учит стихотворение или неграмотный пытается подделать письмо — на самом деле, не понимая смысла того, что выполняли.

Но для нас с Гауссом навигация не представляла особых трудностей. Гаусс обладал присущими евреям способностями оперировать числами и абстрактными идеями, в то время как я, хоть вовсе и не великий математик, интересовался предметом долгие годы и понял основы задолго до начала курса. Другие продирались через определения большого и малого кругов; видимого и истинного горизонта; измеренной, видимой и истинной высоты светил и могли проложить курс корабля вдоль гребня Анд или через леса бассейна Конго.

Но мы двое почти никогда не допускали ошибок, так что наставники в конечном счете привыкли устало вызывать Гаусса (или Прохазку) со словами «выходите к доске и покажите этим тупицам, как правильно».

В те дни морские офицеры устраивали такие танцы с бубнами вокруг навигации, что на борту военного корабля полуденные измерения на мостике превращались в торжественную мессу в соборе Святого Петра в исполнении самого Папы Римского, окруженного служками со склянками и бьющими в гонг, когда солнце достигает зенита. Но между нами говоря, это не так уж трудно: требуется лишь немного здравого смысла и тщательная проверка вычислений. И помнить, что любой может ошибиться.

Главное правило долгожителей на море в те дни, до изобретения радио и радаров, было таким: «Лучше иметь одно точное измерение глубины, чем дюжину сомнительных счислимых мест». На борту парусников счисление пути судна проверялось именно таким способом. В том году мы также

начали обучение на пароходах. Сначала на старом миноносце, прикрепленном к Академии в качестве плавучей базы, потом, зимой 1902 года, на крейсере «Темешвар» во время двухнедельного плавания по западной части Средиземного моря.

Впервые в жизни я ступил на чужую землю, на набережную в Картахене. Я никогда не забуду этот визит в иностранный порт, как мы под строгим присмотром медленно тащились вереницей мимо древних памятников города, и все старались и глазами, и ушами впитать новый экзотический мир, где у людей не зимне-серый среднеевропейский цвет лица и они не носят форму зеленого цвета. Так мы все почувствовали, что поступили на военно-морской флот. После возвращения из рейса в Академии нас ожидал циркуляр Военного министерства.

Нас собрали в главном зале, и начальник Академии объявил, что ввиду расширения австро-венгерского военно-морского флота в последующие десять лет и потребности в младших офицерах, командующий флотом контр-адмирал барон фон Шпаун после должных консультаций с Министерством финансов решил, что в предстоящем в конце лета и осени океанском походе курсантов набора 1899 года дополнительно выделят места для некоторых особенно способных кадетов набора 1900 года. Эти новости вызвали необычайное волнение: все знали, что кадеты 1899 года отправятся в июне в полугодовое научное плавание в Южную Атлантику.

Но кому из наших однокурсников посчастливится отправиться с ними? Ведь места есть только для четверых второкурсников. В конце концов наставники предложили десять человек, среди них и меня, а затем предстояло тянуть жребий.

В тот жаркий июньский день мое сердце замирало каждый раз, когда из фуражки начальника Академии вытягивали бумажку с фамилией. А когда имя зачитывали, кровь пульсировала в ушах даже громче, чем тем вечером в оливковой роще, когда мои руки нежно скользили по маленьким грудям синьорины Маргареты. Назвали фамилию Макса Гаусса и Тарабоччи и малопримечательного кадета по фамилии Гумпольдсдорфер. Но нам с Убалдини не повезло. Четвёртое место досталось хорватскому кадету по фамилии Глобочник. Имя Отто Прохазка назвали пятым. Это стало жестоким разочарованием. Но такова судьба.

По крайней мере, мое имя прозвучало. И даже если Гаусс на полгода уедет, останется Сандро Убалдини. Юность никогда не унывает. Поэтому, проглотив разочарование, я вернулся к учёбе и через несколько дней обо всем позабыл. До воскресного вечера неделю спустя. Мы с Убалдини тем утром спустились к пароходу, чтобы проводить Гаусса и других кадетов в

Полу. Глобочник отсутствовал, но это никого особо не беспокоило.

На выходные он поехал домой, повидаться с родителями, живущими неподалёку от Сан-Пьетро, и вероятно собирался сесть на поезд до Полы. Мы вернулись в Академию и днем вышли прогуляться. В шесть часов, как раз когда мы вернулись, в дверь спальни просунул голову дневальный.

— Кадет Прохазка? Немедленно в кабинет начальника.

Час спустя, прижимая наспех собранный походный сундучок, я подкатил к пристани в грохочущем фиакре. Оказалось, что кадет Глобочник и ещё несколько придурков накануне вечером лазали по меловым скалам недалеко от его дома, и он поскользнулся, упал и сломал ногу, а теперь лежал в больнице, закованный в гипс.

Мою фамилию назвали пятой, я был запасным кадетом, и теперь мне предстояло срочно отправиться в военный порт Полы и там доложить на борту парового корвета его императорского, королевского и апостольского величества «Виндишгрец», готового отбыть в полугодовое плавание в Южную Атлантику.

На следующее утро я проснулся совершенно окоченевшим — мне пришлось купить билет в последнюю минуту, у трапа, и путешествовать на палубе парохода компании «Австро-Ллойд». Выпуская клубы дыма, пароход миновал конец мола и вошел в широкую, усеянную островами, почти замкнутую гавань Полы, у самой южной оконечности полуострова Истрия. Я уставился в легкий утренний туман покрасневшими от дыма и недосыпа глазами. Ну вот же он, стоит на якоре у форта Франца, чуть в стороне от других военных кораблей. Его сложно с чем-то спутать.

В 1902 году корабли австро-венгерских кригсмарине перекрашивали из черно-белой расцветки девятнадцатого века — приятной глазу, но не очень практичной средиземноморским летом — в более строгий, но малопривлекательный оливково-зеленый цвет необжаренных кофейных зерен.

Но корабль, на который я смотрел, элегантный трехмачтовый парусник, был совершенно белым. Австро-Венгрия не имела колоний, поэтому белый означал корабль, готовый к долгому плаванью в тропических водах. Этот далекий корабль станет моим домом, моим миром на следующее полугодие: перенесет меня через океаны, и кто знает, к каким приключениям и удивительным землям.

Я высадился на пристани Элизабет, забрал свой сундучок и важно окликнул фиакр, чтобы тот отвез меня к пристани Беллоне, где, по словам казначея парохода, я найду лодку, чтобы переправиться к стоящему на якоре «Виндишгрецу».

У пункта назначения у меня состоялся несколько неприятный разговор с кучером фиакра: он попытался стрясти с меня больше положенного и, в общем-то, преуспел. В те времена шестнадцатилетние юнцы, как правило, не обладали твердостью характера, необходимой для споров с итальянскими извозчиками.

Покончив с этим делом, я принялся высматривать лодку, на которой можно будет добраться до корабля. В столь ранний час лишь около одной наблюдался экипаж — пара неприглядных на вид матросов восседала на швартовочной тумбе, чью роль играла древняя пушка, уткнувшаяся дулом в борт причала, и вяло переговаривались между собой.

— Er... Entschuldigen Sie bitte... [\[10\]](#), — я прокашлялся.

Один из матросов — смуглый, небритый, в грязной повседневной одежде — обернулся. На мгновение мне подумалось, будто парочка мародеров украла одежду австрийских военных моряков, чтобы легче проворачивать свои делишки.

— Ché?

— Er, um . . . Scusi, può mi aiutare, per favore?

— Verzeih — non capisco [\[11\]](#), — пожав плечами, он повернулся обратно к приятелю, продолжив разговор на столь жутком жаргоне, что ни к славянским, ни к германским, ни к латинским языкам его отнести было нельзя.

Я настойчиво обратился к нему на немецком (в конце концов, все наши военнослужащие должны были говорить на этом языке):

— Извините. Я. Спросил. Не подскажите. Ли. Вы. Где. Найти. Шлюпку. Чтобы. Добраться. До. Корабля. Его. Величества. «Виндишгрец».

Явно раздраженный моим вмешательством в разговор, матрос снова обернулся ко мне:

— Пацан. Я же. Тебе. Сказал. Отвали. К чертовой. Матери. От. Нас. Понял?

Естественно, учитывая, что я не был даже гардемаринном (не говоря уже об офицерском звании), он мог себе позволить такой тон.

И что мне делать? Все же я будущий офицер, а значит, мириться с подобной наглостью не следует. Но что делать-то? Можно, конечно, потребовать от них назвать свои имена и угрожать, что доложу об их неподобающем поведении (вот только кому?), но что-то мне подсказывало: я окажусь в воде кверху брюхом еще до того, как раскрою рот. Оставалось лишь молча проглотить оскорбление и размышлять: неужели следующие полгода ко мне будут так относиться все без исключения?

По счастью, какая-то прачка с грехом пополам разобрала мой немецкий и добродушно кивнула на потрепанный и довольно неопрятный восьмиметровый гребной катер, на который чуть дальше по причалу грузили капусту и говяжьи туши. Провиантская шлюпка готовилась к первому утреннему рейсу со свежими припасами для камбузов стоящих на якоре кораблей. Настало пять тридцать утра. Портовый флагман, старый деревянный фрегат, выбросил облачко белого дыма.

Гром пушечного выстрела раскатился по гавани, и корабельные горнисты протрубили «Tagwache und zum Gebet» — сигнал к побудке и молитве. Несколько тысяч человек кряхтели в тесных гамаках, готовясь выйти на палубу и начать новый день; я же тем временем отчаянно умолял старшину шлюпки взять меня на борт:

— Ну вы же все равно идете туда? Я приписан к команде и уже опаздываю!

— Не так это просто, юный господин. Нам не полагается брать пассажиров. Кто-то в прошлом году подхватил от мяса сибирскую язву, все на уши встали... А кто вы такой, кстати?

— Отто Прохазка, кадет второго курса императорской и королевской Морской академии.

— Это где же такая?

— В Фиуме.

— Не слыхал... и потом, откуда я знаю, что вы говорите правду? Может, просто хотите пробраться на борт, мало ли шпионов. А потом неприятностей не оберешься.

— Ну пожалуйста, ну что вам стоит... — канючил я почти в слезах.

— Ладно, так и быть, запрыгивай — но там чтоб о нас ни слова! Высадим у трапа, дальше сам объясняйся. Давай свои вещи.

Вот так я и отбыл в свой первый морской вояж, скорчившись подальше от лишних глаз среди кровавых мясных туш и сеток савойской капусты и слушая брань четверых гребцов в адрес рулевого, который заставляет ни свет ни заря переть через всю гавань какого-то сопляка и его багаж.

Наконец, меня вытолкнули к подножию трапа у правого борта корвета (левый трап спущен не был), а затем выкинули и сундучок. Затем провиантская шлюпка отвалила и двинулась дальше, чтобы под присмотром вахтенного офицера застропить груз и поднять тросом, перекинутым через фока-рей.

Волоча по ступеням свои пожитки, я поднялся на палубу через проход в фальшборте и, переводя дух, вытер лицо носовым платком —

становилось жарковато, — но не успел убрать платок в карман, как меня едва не смел за борт громовой рёв, похожий на пушечный залп или сирену океанского лайнера.

— Какого дьявола тебе тут понадобилось, сопливая свиньячья требуха?

Оглушённый, я обернулся и оказался лицом к лицу с жутковатым подобием усатого быка, вставшего на задние ноги и влезшего в перемазанную дёгтем парусиновую робу.

— Э-э... прошу прощения... — То есть, разрешите доложить.

— Молчать! — снова заревел он и кивнул на меня двум столь же неопрятным типам, которые подошли на шум. — Гляньте-ка на этого шутника! В тёмную его, сутки ареста! До чего дошло — кадеты пользуются офицерским трапом... — Он вдруг с подозрением прищурился, снова поворачиваясь ко мне.

— Откуда ты вообще взялся? Кто такой? — Не дожидаясь ответа, он полез в карман брюк и достал замызганный и скомканный листок бумаги. Развернул, поглядывая на меня. — Так... ясно. Глобочник, кто же ещё.

— Но, герр... э-э-э... Разрешите доложить, я не...

— Разговорчики! Всякая вошь будет тут указывать! Ещё сутки ареста за опоздание! Забирайте его, некогда мне возиться с засранцами, которые даже расписание рейсов прочитать не могут.

Вот так и состоялось моё знакомство на борту «Виндишгреца» с оберштабсбоцманом Радко Негошичем.

Пока двое его прихвостней волокли меня к трапу, ведущему вниз, я успел окинуть взглядом корабль, казавшийся с берега девственно чистым, как белый лебедь, и оказался порядком разочарован. Верхняя палуба военного корабля, изгвазданная угольной пылью и цементным раствором, скорее напоминала строительную площадку, если не скотный двор: повсюду лужи масла, пятна краски, потёки дёгтя; валяются измочаленные обрывки тросов и лоскуты парусины; ветер сметает к бортам груды опилок; мотки такелажа и временные верстаки загромождают проходы.

Докеры в матерчатых кепи и котелках бродили в этом хаосе со степенной медлительностью, характерной для их собратьев по всему миру. Не будь рядом неодушевлённых предметов, движения можно было бы не заметить и вовсе. Небритые и обтрёпанные матросы, перепачканные копотью, ржавчиной и свинцовым суриком, больше бездельничали либо переносили что-нибудь туда-сюда без всякой видимой цели.

Где хвалёная морская чёткость, подтянутость и дисциплина, о которых нам все уши прожужжали преподаватели в Академии? Если в австро-венгерском флоте так представляют себе военный корабль дальнего

плавания, то я предпочту как можно скорее перевестись в императорско-королевскую армию.

Меня грубо столкнули по трапу в гулкое и пропахшее дёгтем пространство батарейной палубы, затем на нижнюю палубу и, наконец, в трюм, где поволокли по тесному проходу, тёмному и пропитанному угольной пылью не хуже штольни какой-нибудь шахты. Здесь, в самой глубине корабельных недр, свет давала лишь свеча в фонаре с такими закопчёнными стёклами, что они с тем же успехом могли быть картонными. Один из моих конвоиров загремел ключом в замке.

Тяжелая, обитая железом дверь лязгнула, и меня затолкали в темную конуру размером со шкаф. Но не успел я исследовать ее, как дверь с грохотом захлопнулась за моей спиной и в замке проскрежетал ключ. Я оказался в карцере, одной из камер между бухтами каната и котельной, в самой нижней части корабля, чуть выше кили.

Я никогда не страдал от клаустрофобии и особо не боялся темноты. Но здесь, в мрачной камерке гораздо ниже ватерлинии, в полной темноте, меня вдруг охватила дикая паника. Я барабанил кулаками в массивную дверь и кричал, что ни в чем не виноват, что я не Глобочник, а Прохазка и могу все объяснить, если меня выпустят. Я требовал встречи с командиром моего подразделения, как положено по уставу, том четыре, параграф двести шестьдесят восемь.

Ответа не последовало, раздавались лишь корабельные шумы над моей головой и гул мужских голосов, стук молотков, потом звон цепи вокруг лебедки. С трудом дыша, я отпрянул от двери. Как они могут так со мной обращаться? Я будущий офицер, один из самых способных кадетов среди своих ровесников, и вот, стоит мне появиться на борту своего корабля, добравшись на лодке с капустой, мерзавцы хватают меня как преступника и бросают в карцер.

Потом меня охватили страх и невыносимое чувство одиночества: шестнадцатилетний, вдали от дома, среди незнакомцев на борту странного корабля в порту, которого я не видел до сегодняшнего утра, а вскоре отправлюсь в те края, о которых едва слышал. Я устал после бессонной ночи и зверски проголодался. Усевшись на подобие деревянной лавки, я заплакал от досады и на некоторое время погрузился в уныние. Дальше будет в том же духе или ещё хуже?

Самая большая моя глупость — не обращать внимания на Мелвилла, Дана и прочих авторов, которые пытались донести, что корабли — это фактически плавающие тюрьмы, укомплектованы человеческими отбросами и управляются плеткой. Почему я к ним не прислушался?

Понятия не имею, сколько времени я просидел вот так. Казалось, вместе со светом из камеры исчезло и время. Но потом, будучи по натуре любознательным, я начал исследовать свою тюрьму. Она оказалась примерно два метра в длину, метр в ширину и меньше двух метров в высоту, с грубой деревянной лавкой, занимавшей около половины пространства, жестяным умывальником и оловянным ведром с крышкой.

Когда я исследовал последнюю емкость кончиками пальцев, то обнаружил, что кто-то недавно ее использовал. Спустя целую вечность в коридоре снаружи послышались шаги. Дверь открылась, и мне швырнули буханку армейского хлеба. Затем дверь снова захлопнулась и ключ провернулся, прежде чем я успел объяснить, что невиновен.

Я сел на лавку и с жадностью вгрызлся в еще теплый хлеб, только что из печи. Но потом я снова задумался. Я здесь на два дня, и совершенно неизвестно, когда появится, если вообще появится, следующая порция. Поэтому я съел примерно четверть буханки и завернул остаток в китель, лег на лавку и попробовал немного вздремнуть. Но я тревожился о судьбе своего походного сундука. Если эти мужланы абсолютно ни за что бросили невинного юношу в тюрьму, они почти наверняка без смущения будут рыться в его пожитках.

Неопределенное время спустя, а на самом деле в среду в шесть склянок утренней вахты, дверь открылась, и в лицо мне, щурящемуся, взъерошенному и с затуманенным взглядом, посветили фонарем. Это были два корабельных капрала.

— Давай, дружище, поднимайся и дуй на палубу. С тобой хочет поговорить боцман.

— Извините, вы не могли бы сказать, что с моим сундуком? Я поднял его на борт и боюсь, вещи могли украсть...

Я сразу же понял, что сказал что-то не то. Воцарилось тяжелое молчание. Наконец, один капрал тихо произнес:

— Если не хочешь остаться без передних зубов, не говори такого, приятель. На борту достойных кораблей вроде нашего не бывает краж, и никто не скажет тебе спасибо за подобные утверждения. Твой сундук с пожитками скорее всего в трюме. В любом случае, шагай на палубу.

На негнущихся, ноющих ногах я вскарабкался по трапу, к свежему воздуху и мягкому июньскому рассвету.

Боцман Негошич ждал меня на палубе, теперь уже выбритый и в мундире вместо комбинезона. На корабле по-прежнему царили грязь и беспорядок, но во время моего пребывания внизу уже предприняли попытки устранить хаос. Сейчас на борту суеилось больше моряков, и

трудились они более энергично и целеустремленно, даже докеры слегка оживились.

— Доброе утро. Ты как, парень? — Он улыбнулся, и нафабранные кончики его усов поднялись, как крылья семафора.

Я не знал, как ответить на показное дружелюбие, подозрительно напоминающее прелюдию к новой фазе жестокой травли. И как мне обращаться к старшему мичману? С таким гигантом лучше ошибиться в сторону более вежливого обращения, подумал я.

— Докладываю, герр оберштабсбоцман... — Последовал взрыв смеха со стороны свидетелей этой сцены. Я покраснел от смущения. — То есть, герр боцман, спасибо, конечно... Только вы меня не за того приняли. Я...

— Потерянный эрцгерцог, — вставил кто-то, — украденный цыганами из колыбели. Подтверждение тому — родинка в форме сердца.

Новый приступ веселья. Господи, подумал я, почему мерзавцы меня мучают? Этот поход станет восхождением на Голгофу с издевательствами и унижением? Если так, то лучше сразу перерезать вены.

— Нет-нет, — пролепетал я, когда хохот стал стихать. — В смысле, я не кадет Глобочник. Он в...

Меня прервал яростный рев боцмана.

— Что? Не Глобочник? Так ты самозванец, собака! Безбилетник, если не карманник, скрывающийся от полиции. Я покажу, как с нами шутить! А ну, сигай за борт и плыви обратно!

Он схватил меня, брыкающегося и вопящего, огромными кулачищами за ворот кителя и верхнюю часть брюк и поволок к поручню.

— Нет! Нет! Пожалуйста! Я могу объяснить! Моя фамилия Прохазка, не Глобочник! Подождите секунду... Пожалуйста! — Он бросил меня в шпигат, встал надо мной, как скала, расставив массивные ноги и скрестив руки на груди, и посмотрел одним бычьим глазом, как будто решая, не раздавить ли огромным ботинком как мокрицу.

— Прохазка, говоришь? — Он деловито полез в нагрудный карман кителя и вытащил листок бумаги, затем некоторое время внимательно изучал его, водя указательным пальцем размером с кофель-нагель, и бубнил про себя слова. Немецкий явно был для него неродным языком.

— Ага, теперь ясно, — кивнул он. — Совершенно ясно. — Он запихнул бумагу обратно в карман. — Ладно, Прохазка, спускайся вниз и переоденься в рабочую робу, потом возвращайся на палубу, поднимайся на бак и присоединяйся к остальным. Для тебя полно дел. Через десять дней мы отплываем, а старая посуда по-прежнему похожа на поле боя.

— Но герр боцман, — возмутился я, вставая и пытаясь успокоиться.

— Меня заперли в карцер на двое суток ни за что. При всем уважении, я должен разобраться...

— Что? А, подумаешь, тоже мне дело. Не нужно было пользоваться трапом правого борта, теперь будешь знать.

— Но других не было...

— Не имеет значения. А что касается еще одних суток, можешь считать это подарком. В счет будущих проступков.

— Но я протестую...

Он рассмеялся и радушно хлопнул меня по плечу, чуть не сбив с ног.

— Не беспокойся о таких мелочах, сынок. Ни разу не побывавший в карцере моряк — и не моряк вовсе. А теперь живее иди работать, или я отправлю тебя обратно — на сей раз в наручниках.

Я решил больше не напирать, просто пошел вниз, забрал свои вещи у трюмного старшины и переоделся в рабочую робу, когда отыскал дорогу к «флигелю кают-компаний» (какое громкое название!), которому предстояло стать моим домом на остаток года.

В конце концов пожилой вахтенный привел меня туда при свете штормового фонаря, а я тащил сундук вверх и вниз по трапам, по узким, темным и затхлым коридорам. Когда мы прибыли, поначалу я решил, что наверняка это какая-то ошибка: за вычетом обитой железом двери, камера, из которой я недавно вышел, казалась дворцовой спальней по сравнению с этим унылым закутком.

Мы спустились ниже ватерлинии на палубу прямо над валом единственного корабельного винта, туда, где корпус корабля сужался к хвостовой части, так что каюта имела форму усеченного клина. На паруснике это называли бы нижней палубой, расположенной над трюмом и балластом. Но здесь, на борту корабля со вспомогательным паровым двигателем, котлами, машинным отделением и угольными бункерами, занимающими центр подводной части корпуса, это называлось кормовой платформой. В основном её использовали для хранения припасов. На носовой платформе находились бухты канатов и склад парусов, много места занимала провизия.

На кормовой платформе находились сплошные склады продовольствия, за исключением одной каморки, предназначенной для нас четверых. Возможно потому, что из-за своей нестандартной формы она едва ли годилась для складирования чего-либо, кроме юношеских тел. Поскольку мичманская кают-компания, находившаяся палубой выше, не располагала достаточным пространством для «морских студизусов», не говоря уже о корабельных мичманах, нас, четырех кадетов 1900-го года,

спихнули сюда. Мы находились на самом дне корабельной иерархии (юнг на корабле не было) и получили наиболее нездоровое и тесное жильё в самом трюме.

Около двух метров в самой широкой части и чуть более двух метров в длину, «флигель кают-компаний» был немногим более полутора метров в высоту, так что даже самый невысокий из нас не мог полностью распрямиться под бимсами палубы.

Здесь не было ни вентиляции, ни освещения, не считая чадающего фонаря со свечой, и едва хватало места для четырех гамаков. Что касается мебели, на время плавания сундукам предстояло стать нашими стульями, столами, гардеробами и туалетными столиками.

Единственное, что присутствовало в избытке — густой, тяжелый запах, смесь ароматов дегтя, затхлой трюмной воды, гниющего дерева, масла от гребного винта и испарений от бочек в соседних отсеках. Даже не зная, что рядом хранится рыба, нетрудно было догадаться.

Тем утром в порту наше жильё на ближайшие полгода показалось мне не слишком приятным. Но в море все стало еще хуже. Мы радовались уже тому, что корабельный двигатель запускают не слишком часто, ведь когда мы шли под парами, от вибрации гребного винта всё кругом тряслось, как в бетономешалке.

Даже когда мы шли под парусом, постоянное трение руля о штевень в нескольких метрах от нас вызывало в каюте грохот и тряску, как при небольшом землетрясении. Доски пола сочились влагой, поэтому буйно разрослась плесень, словно в старом погребе. Но юность всё перенесет, да и никто в здравом уме не ступает на борт парусного корабля с расчетом на комфорт. Плавать предполагалось по большей части в тропических широтах, а значит, главным образом мы будем проводить время на палубе. К тому же нас назначили в разные вахты — Тарабочию и Гумпольдсдорфера в вахту левого борта, а меня и Гаусса — в вахту правого, так что в каюте будут одновременно спать только двое.

Со временем мы даже начали странным образом гордиться нашим тесным, мрачным и зловонным жилищем и готовы были сопротивляться предложениям переместиться в любое место получше. В конце концов, лишь по-настоящему крепкие орешки могли смириться с подобной каютой. Я переоделся в рабочую робу, аккуратно свернул парадный мундир и убрал в сундук.

Потом я отправился наверх, к свету, доверяясь инстинкту в выборе нужных трапов. Спустя несколько минут я с удовлетворением увидел Гаусса, Тарабочу и Гумпольдсдорфера, которые тут же бросили работу

(они чистили вентилятор дымовой трубы от ржавчины) и вытаращились на меня с разинутыми ртами, а я прошёлся перед ними, небрежно насвистывая и сунув руки в карманы.

— Чао, парни, ну, как оно?

— Прохазка... Чёрт, откуда ты взялся?

— Как видите, в конце концов на флоте решили, что без меня тут не обойтись. Командующий флотом специально отправил за мной в Фиуме свою яхту. А стоило мне подняться на борт, как меня на два дня бросили в карцер, приняв за русского шпиона. И я их понимаю...

— Прохазка, ленивый ублюдок! Живо бери молоток и начинай скалывать ржавчину вместе с остальными! Maul halten und weiter dienen! Держи язык за зубами и служи! — на грот-марсе над нами появился боцман Негошич.

Я тут же решил, что лучше хватать молоток, как велено, и приниматься за работу, а объяснения могут подождать до обеда.

В следующие несколько дней «Виндишгрец» походил на муравейник — экипаж поднялся на борт, докеров подгоняли и торопили, создавая видимость активности после месяцев безделья.

Вскоре верхняя палуба стала напоминать деревенскую ярмарочную площадь, до рассвета кишашую людьми. Работы продолжались далеко за полночь при свете керосиновых ламп, а с берега, из соснового леса, на их огонь слетались майские жуки. Всё делалось вручную — «патент Армстронга» [\[12\]](#), как говорят в британском флоте.

На корабле не было ни единой паровой лебедки или вспомогательного двигателя для нее, и всё утро десятки матросов тянули канаты, чтобы установить реи (нижние представляли собой железные трубки и весили несколько тонн), а потом — гордени, чтобы поднять паруса. Огромные белоснежные червяки парусины выносила из парусной кладовой процессия из двадцати или тридцати человек, прямо как китайского новогоднего дракона.

Люди часами как одержимые крутили лебедку. Питались наскоро — ели хлеб и тушенку, сидя на палубе, с грязными от дегтя и краски руками, с ногтями, обломанными о холстину парусов и грубые новые канаты.

К счастью, нам, кадетам-второкурсникам, удалось избежать большей части этой неразберихи и тяжёлого труда. Подросткам пока не хватало сил таскать тяжёлый такелаж, так что, возможно, на корабле мы только зря занимали место.

Поэтому нам поручили относительно несложное дело — перевозить пассажиров и сообщения между кораблём и берегом на капитанской

четырёхвёсельной гичке. Разумеется, эта работа тоже оказалась нелёгкой — думаю, каждый день мы проходили на вёслах миль двадцать, а когда не гребли, должны были сидеть под открытым небом в дождь и на солнцепёке на пристани Моло Беллона в ожидании приказов. Но поручений хватало — капитан и большинство офицеров всё ещё ночевали на берегу, в Морском казино или в городе, а телефонная связь с кораблём отсутствовала.

С шести утра до одиннадцати вечера мы доставляли сообщения в военно-морской док и в штаб флота, на артиллерийские склады и провиантскую базу на виа Аурисия. По вечерам нас не раз просили доставить на корабль дам, а с первыми лучами рассвета вернуть их на берег, прежде чем об этом пронюхает комендант порта.

От нас требовалось не задавать вопросов по поводу этих визитов, но мы и не собирались, ведь дамы были очаровательны, щедро одаривали нас чаевыми, а иногда и целовали перед сходом на берег. Пола была удивительным местом, созданным исключительно для императорского и королевского флота.

Зажатая на самом кончике полуострова Истрия, до 1840-х годов Пола считалась страшной глухоманью, сонной малярийной рыбацкой деревушкой, куда лишь по случайности заглядывали проезжие любители древностей, чтобы взглянуть на римский амфитеатр размером больше Колизея и другие останки далеких дней славы города Пьета-Юлия.

Но несмотря на отдаленность, местечко безусловно обладало великолепной природной бухтой, усеянной островками и окруженной низкими лесистыми холмами, причем войти в нее со стороны моря можно было только через единственный узкий пролив.

После событий 1848 года, когда мятежники захватили в Венецианской гавани почти две трети кораблей, австрийский флот подыскивал более безопасную базу, и в 1850 году Военное министерство начало работы по превращению Пола в главную военно-морскую базу монархии. В те дни, прежде чем из Дивакки провели железную дорогу, это, наверное, была страшная дыра: гавань, корабли, кучка недостроенных зданий в порту — вот и всё, не считая солнца, известковых скал и лихорадки.

Местные жители в мешковатых красных штанах и крохотных плоских шапочках были угрюмым народцем, с какой стороны ни посмотри. Из-за родственных браков и малярии половина из них — слегка не в себе, говорили они на неразборчивом диалекте, который, по мнению одних ученых, является итальянским с примесью хорватского, а по мнению других — хорватским с примесью итальянского. Даже в 1870-х годах (как рассказывали отставные моряки), приступ лихорадки был обычным

результатом прогулки по местным сосновым лесам. Главным развлечением для молодых флотских офицеров, как нам рассказали, было встать вокруг города в кольцо и резко заорать во всю глотку, чтобы переполошить местных ослов. К 1902 году местечко стало куда более цивилизованным, это правда.

Малярийные болота осушили, провели водопровод, построили театры, кафе и вполне приличные отели. В городе выходили две газеты, немецкая и итальянская, и теперь тысячи людей работали в доках и флотских складах, разбросанных по всей гавани. По воскресеньям перед римскими Золотыми воротами военный оркестр устраивал концерты, а среди апельсиновых деревьев на Борго-сан-Поликарпо выросло жилье для флотских офицеров и их семей.

Но всё-таки город оставался захолустным, тесным и удушающим местечком даже по меркам старой Австрии. Из города можно было выбраться лишь на медленном поезде до Дивакки или на пароходе до Триеста и Фиуме. Хотя единственным источником дохода горожан были кригсмарине, жители презирали флот и называли нас «gli Gnocchi» — коротышками. Место службы менялось редко, поскольку в Австрии не было иной базы флота, а продвижение в габсбургских армии и флоте в любом случае было болезненно медленным.

Люди начинали пить, обольщали чужих жен, влезали в карточные долги и стрелялись только ради развлечения. Как ни в одном другом военном городке дунайской монархии процветали сплетни, причем до такой степени, что Полу называли Klatschausen, иначе говоря «Город сплетников».

Даже центральная улица вызывала ощущение замкнутости и клаустрофобии. Одним из приятных аспектов старой монархии являлось то, что почти в каждом городе независимо от размера (даже в Польше или Богемии) имелся бульвар, обычно в окружении каштанов, где офицеры и гражданские служащие прогуливались летними вечерами вместе с дамами, целуя ручки и приподнимая шляпы перед другими важными особами. Но в Поле главной улицей была виа Серджия — узкая темная расщелина в центре города, скользящая мимо высоких каменных домов, прямо как зловонные и сырые переулки Венеции.

Летом виа Серджия просто удушала. И в лучшие времена люди на ней постоянно сталкивались, а уж во время карнавала на Сырной седмице перед первым днем Великого поста из-за давки вообще невозможно было протиснуться. По флотскому мнению, лучшее в Поле — это шоссе, ведущее из города: широкое и ровное. Одно из главных строений Пола (на

самом деле, единственное достойное какого-либо упоминания после амфитеатра и храма Августа) — Морское казино на углу Арсеналштрассе и виа Заро.

В любом случае, место примечательное: что-то вроде гостиницы и клуба для морских офицеров с рестораном, кафе, концертным залом, библиотекой, читальными комнатами, даже кегельбаном и тропическими садами со всевозможными видами экзотических деревьев и кустарников, привезенных со всех уголков земного шара. Это казино превосходило все гарнизонные офицерские клубы дунайской монархии и получало значительные ежегодные субсидии из казны, поэтому членские взносы оставались невысокими и одинаковыми, что для мичмана, что для адмирала.

Причиной подобной нехарактерной щедрости со стороны Министерства финансов являлось то, что до 1880-х Пола была настолько изолирована от всего мира и лишена удобств, что уровень смертности среди младших офицеров от алкоголизма, суицида и сифилиса встревожил даже чопорную Австрию. Что-то требовалось предпринять, чтобы удержать молодых людей от азартных игр и борделей, поэтому в итоге правительство разорилось на строительство казино.

Мне самому довелось провести здесь немало счастливых часов с тех пор, как я получил офицерское звание. За дверями казино все условности морской иерархии отбрасывались — воинское приветствие и все такое — и (по крайней мере, в теории) только что произведенный мичман был равен командующему флотом, различия касались только (как гласили правила) «уважения молодых к старшему возрасту и опыту». Казино явно не было заурядным местом: здесь выступали Тосканини и Легар, пел Карузо, а Джеймс Джойс какое-то время давал уроки разговорного английского, году в 1905-ом. Я не входил в число его учеников, но приятели рассказывали, что он неплохой парень, но слишком уж робкий и необщительный, чтобы от него была какая-то польза как от учителя.

Поскольку большая часть наших офицеров жила в Морском казино, мы частенько бегали туда как посыльные. И именно там одним ранним утром я за завтраком встретил своего командира в предстоящем плавании — фрегаттенкапитана Максимилиана Славеца, барона фон Лёвенхаузена. Меня отправили с Моло Беллона, чтобы доставить ему послание и, честно говоря, думаю, что семинарист-первокурсник, вызванный на аудиенцию с Папой Римским, вряд ли приближался, точнее даже полз к нему на коленях, с большим трепетом и пиететом, чем я.

Поскольку Славец — это живая легенда австрийского флота. Помимо

всего прочего, в 1902 году на службе находилось не столь уж много офицеров, слышавших хотя бы случайный выстрел. Последнее настоящее морское сражение Австро-Венгрии отгремело еще в 1866-ом, когда мы разгромили итальянский флот при Лиссе, а с той поры случались только мелкие стычки вроде Ихэтуаньского восстания в Китае.

Большинство наших офицеров, крепкие профессионалы и, в целом, люди весьма приятные, страдали от тех медленных изменений, которые проникают в любые вооруженные силы спустя десятилетия мира. Под коварным влиянием скуки и рутины они почти незаметно превращались в гражданских служащих в мундирах, с женами, детьми и ипотеками, сильнее обеспокоенных пенсионными пособиями, чем перспективой умереть за свою страну.

Но несколько офицеров все же поучаствовало в боевых действиях, и люди типа старого Славеца сохранили дух агрессии и приключений. В 1864 году во время Датской войны он был молодым фрегаттенлейтенантом на борту канонерки «Кранич» в Северном море. Однажды их отправили в прибрежные районы, чтобы провести разведку острова Зильт, где ранним майским утром они столкнулись с датской канонеркой «Аретуза», выполнявшей такой же приказ.

Между двумя кораблями завязалась почти часовая дуэль, в ходе которой Славец незамедлительно получил повышение после того, как первое же датское ядро снесло капитану голову. Шло время, корабли бились друг с другом примерно сорок минут без заметного результата, и Славец попробовал решить дело тараном и отправкой абордажной команды.

Но датчане оказались настроены решительно и отбросили нападавших, так что в итоге два сильно потрепанных корабля разошлись и поковыляли назад в порт, чтобы выгрузить мертвых и раненых и на следующий день снова приготовиться к сражению. Когда они следующим утром вышли из порта, стоял туман, а через день появились новости о том, что датское правительство предложило перемирие. Славец вышел из войны с двумя ранениями и орденом Леопольда.

Спустя два года он похвально командовал броненосным фрегатом в сражении при Лиссе. В 1875 году принял участие в экспедиции на Новую Землю, где чуть не умер от голода, но в конечном итоге спас свою санную команду, совершив вынужденный пятидесятикилометровый марш по льдинам. Затем он на свои средства отправился в Африку, чтобы заниматься исследованиями, и там сражался с арабскими работоторговцами у Занзибара. После возвращения в императорский и королевский флот

Славец посвятил себя гидрографии, и королева Виктория лично наградила его крестом собственного имени за картографирование Зондского пролива после извержения Кракатау в 1883 году.

Старик считался одним из лучших моряков своего поколения, и теперь мне предстояло отправиться в последний океанский поход Славеца перед уходом на пенсию. Это была огромная честь, я как будто брал уроки игры на фортепиано у Бетховена.

Конечно, его невозможно было не узнать. Он сидел за столом, читая итальянскую газетенку: длинная седая борода как у Нептуна, морщинистое загорелое лицо, орлиный нос вождя краснокожих и пронзительные серо-голубые глаза. Даже одетый в лохмотья, этот человек выделялся бы в комнате, полной королей. Все его существо излучало уверенность и привычку командовать.

Внутри Морского казино было запрещено отдавать воинское приветствие, но я все-таки размышлял, подползти ли к нему на коленях или сделать реверанс. Славец оторвался от газеты и улыбнулся.

— Да?

— Э-э-э... разрешите доложить, герр командир.

— Так ты, должно быть, посыльный. Как тебя зовут, парень?

— Разрешите... в смысле.... Я с уважением.... Прохазка, герр командир... Отто Прохазка... Кадет второго курса в императорской и королевской Морской академии

— Чех?

— Я... разрешите доложить, что... э-э-э... да, герр командир.

— Ты из Богемии или из Моравии?

— Разрешите доложить, из Моравии, герр командир.

— Выходит, мы с тобой земляки, — улыбнулся он. — Я родился и вырос в Кремзире. Ты так случайно не бывал?

— Никак нет, герр командир.

Славец мечтательно вздохнул.

— Как и я. Я не был дома года с 1870-го и сомневаюсь, что сейчас смогу узнать родные места. Первое плаванье, да? — Я кивнул, не в силах произнести ни слова. — Отлично, думаю, мы неплохо поладим. Я командовал множеством чехов, и все они становились первоклассными моряками. Осмелюсь сказать, мы и тебя таким сделаем. Я теперь сбегай в отель «Читта ди Триесте» и отнеси эту записку линиеншиффслейтенанту Залески. Передай ему мои приветствия и сообщи, чтобы доложил мне здесь через час на собрании офицеров.

Я обнаружил линиеншиффслейтенанта Флориана Залески, третьего

офицера «Виндишгреца», в его номере в отеле «Читта ди Триесте»: едва ли даже однозвездочном заведении, возвышающимся над рыбным рынком на площади позади храма Августа. Я спросил насчет лейтенанта Залески на своем лучшем итальянском у сального хозяина, почесывающего живот за стойкой портье, и мне велели подняться по темной лестнице в номер пятнадцать.

Я постучал. Безрезультатно. Я постучал еще раз. Какие-то голоса внутри. Я постучал в третий раз, и дверь распахнулась, явив причесывающуюся рыжеволосую девушку. Мои глаза расширились так, что она могла услышать хруст натянувшихся мышц. Девушка была абсолютно обнаженной, если не считать шелковой прозрачной ночнушки, и просвечивающую сквозь нее фигуру в наши дни описали бы как «сочную».

Но стоял 1902 год, когда даже проблеск женского локотка считали уже небольшим скандалом. До сей поры я познавал женское тело вслепую, так сказать, по методу Брайля, с партнершами по танцам в Морской академии и с синьориной Маргаретой, будущей монахиней, в оливковой роще прошлым летом. А теперь передо мной стояло это восхитительное создание... Я судорожно вздохнул, залившись ярким румянцем.

Она улыбнулась, продолжая причесываться, и окинула меня взглядом из-под густых ресниц.

— Bitte?

— Разрешите... Хочу сказать... Э-э-э... хм... я...

Язык просто отказывался мне подчиняться. Девушка рассмеялась и откинулась назад — свет из окна очертил изгибы ее тела.

— Милый, какой-то мальчишка желает тебя видеть. Думаю, он с корабля.

— Иду, Митци, скажи, чтобы подождал, — слышался приглушенный голос из глубины комнаты.

Девушка с улыбкой обернулась ко мне.

— Прошу, обождите.

Спустя пару секунд появился «милый» — без воротничка и кителя, с болтающимися подтяжками, бритвой в руке и половиной лица в пене. Таким я впервые увидел своего командира на весь период предстоящего плавания: непосредственного начальника, инструктора, духовного наставника, морального стража, отца-исповедника, банкира и доктора в одном лице. Я уже знал, что он поляк из Вадовице, что в западной Галиции, и ему слегка за тридцать.

Но теперь, когда появился шанс познакомиться с ним, должен сказать,

он не походил на поляка: скорее на армянина или турка, с восточными черными глазами, черными усами и густыми черными бровями на гладком и округлом лице, по цвету, форме и структуре похожем на буроватое яйцо; скорее ближневосточного типа, чем славянин. Но в этом не было ничего особо странного.

До конца восемнадцатого века южная Польша делила границу с Османской империей, и галицийское дворянство перемешалось с захватчиками, военнопленными, торговцами и поселенцами, землю которым предоставили польские короли. В те дни существовало даже несколько еврейских помещиков, владеющих землей вокруг Лемберга — уникальное явление в Европе, где евреям повсюду запретили владеть землей. Залески оглядел меня полузакрытыми глазами и взял предложенный конверт, выслушав словесное сообщение от капитана.

Он кратко кивнул.

— Очень хорошо. В каком вы подразделении, молодой человек?

— Разрешите доложить, вахта правого борта, приписан к бизани, герр шиффслейтенант.

— Ясно. Ну, в таком случае мы часто будем видеться в последующие полгода, так что постарайтесь быть на высоте. Abtreten sofort [\[13\]](#).

Я отдал честь, а он ответил небрежным взмахом сверкнувшей бритвы.

В течение этого разговора прелестная фройляйн Митци — по крайней мере, я предположил, что она фройляйн — с любопытством разглядывала меня, обнимая лейтенанта за плечи обнаженными руками. Когда я спустился по шатким ступеням, то задумался, это ли называли в Морской академии высокими моральными принципами молодого поколения офицеров. В ближайшие месяцы мне предстояло оценить, какая это удача — иметь на борту «Виндишгреца» линиеншиффслейтенанта Залески.

Несмотря на довольно бесцеремонные манеры, к нему всегда относились на службе как к очень перспективному молодому офицеру, который должен был стать корветтенкапитаном еще в 1899-м. Я часто замечал — где в природе недостает какого-нибудь качества, она обычно дает его в излишестве. Так, например, женщины, имеющие склонность к физической агрессии, оказывались намного более свирепыми и жестокими, чем мужчины.

Так и с Залески. За исключением тети Алексии, мои польские родственники-дворяне всегда казались мне самыми скучными, бесполезными, совершенно бессмысленными беспозвоночными животными, которым Бог в своей непостижимой мудрости когда-то позволил ползать по земле: очаровательные, этого не отнять, довольно

хорошо образованные, но почти лишенные инициативы и цели, как никакое иное живое существо, и все еще умудряющиеся вставать с кровати по утрам.

Отправьте их в поле с овцой, ножом, связкой дров и коробкой спичек, и они точно умрут от голода, будут сидеть там и гадать, что делать. Но Флориан Залески оказался совсем другим: его способность оценить ситуацию и быстро принять решение была почти феноменальной.

Как я позже выяснил, единственная причина, по которой он оказался с нами — ночное происшествие во время летних военно-морских маневров 1901 года, когда он успешно торпедировал флагман «синих» — старый броненосец «Эрцгерцог Рудольф», а затем нанес значительный ущерб собственному миноносцу, когда, удирая, протащил его по песчаной косе к югу от острова Сансего.

Судебное разбирательство сняло обвинение в повреждении своего корабля — особенно после того, как Залески раздал месячное жалование на взятки местным рыбакам для дачи ложных показаний, что песчаная коса постоянно перемещается. Но торпедирование — более серьезное обвинение, поскольку флотом «синих» командовал сам эрцгерцог.

Существовало неписанное военное правило Габсбургов — сторона под командованием члена императорского дома должна всегда побеждать, а тут простой лейтенант осмелился пустить торпеду в его флагман, тем самым вынудив эрцгерцога (если бы торпеда сработала) спасти свою благородную жизнь, барахтаясь в воде среди простых кочегаров и ординарцев.

Так поступать просто нельзя. Залески неофициально приговорили просидеть следующие два года на суше, танцуя менуэты, и он решил потратить часть времени вдали от Пола, добровольно вызвавшись к нам на «Виндишгрец». Вскоре у всех сложилось мнение, что Пола многое потеряла, а нам повезло.

Глава пятая

ДАЛЬНИЕ МОРЯ

Теперь нам оставалось пять дней до запланированной даты отплытия: воскресенья, пятнадцатого июня. Работы по оснастке завершились, в корабельные бункеры загрузили четыре сотни тонн угля — грязная работа, продолжавшаяся два дня. Несмотря на то, что выполнялась она при помощи механического подъёмника на угольном причале, корабль и всё вокруг покрылось тонким слоем чёрной пыли. После того как загрузили припасы для нашего полугодового плавания, корабль ощутимо осел в воде.

Всевозможные деликатесы, предоставленные нам военно-морским продовольственным складом на виа Аурисия, аккуратно опускали вниз через носовой и кормовые люки и укладывали ярусами в трюм — огромные бочки солонины, бесчисленные мешки с цвибаком, мукой, рисом и макаронами, бобами и, кофе, ящики с тушёнкой, бочки с маслом, рыбой и сухофруктами — всё необходимое для обеспечения ежедневного рациона трёхсот пятидесяти человек в соответствии с предписаниями, по большей части — в тропическом климате и при отсутствии холодильников на борту.

Будь я более опытным моряком, то знал бы, что представляет собой питание в долгом океанском плавании, и впал бы в глубокую меланхолию, следуя тем утром по трюму за провиантмейстером и штатским инспектором. Мы пробирались с планшетом для бумаг по мрачной циклопической кладовой среди ярусов бочек и куч мешков и всё отмечали — последняя проверка, необходимая, чтобы убедить казну — ни крошки из припасов императора не испарилось во время погрузки.

— Солёная говядина, десять тонн. Солёная свинина, пять тонн. Консервированное мясо, четырнадцать тысяч банок. Десять тонн муки, три тонны риса, пять тонн бобов, пять тонн сушёного гороха и три тонны чечевицы. Две тонны макарон, пять тонн свежего картофеля, две тонны крупы. Одна тонна вяленой солёной рыбы, три тонны сардин в бочках. Девятьсот килограммов сушёного инжира, пятьсот килограммов изюма. Полторы тысячи килограммов соли, семьдесят килограммов перца. Девятьсот килограммов кофейных зерен, девятьсот килограммов сахара. Тысяча литров оливкового масла, тысяча литров уксуса — Господи, и

зачем понадобилось столько уксуса? — квашеная капуста в бочках, четыреста килограммов...

Ага, вот наконец-то и вино — сорок пять тысяч литров. Бренди, тысяча литров. Прохазка, бегом на палубу, найдите профоса. Скажите, нам нужно открыть винный погреб.

Днем ранее к «Виндишгрецу» пришвартовались две трабаколы с люггерным вооружением, раскрашенные как ярмарочные повозки. Огромные дубовые бочки поднимали на борт талями, установленными на ноке рея, так почтительно, словно в каждой из них хранился ковчег с мощами святого, а затем опускали в кормовой люк, вручную перекачивали к корме и укладывали на металлические подставки в винном погребе.

Профос принёс ключи, и вот, после целого утра, проведённого среди резких и не особенно приятных запахов, наполнявших другие продуктовые отсеки, мы вошли в священное место, благоухающее ароматами Индии.

Там, как францисканские монахи, отдыхающие после сытного обеда, на толстых боках лежали огромные бочонки далматского красного вина, приобретённого у торговцев в Новиграде, производивших его специально для флота. Для любителя и знатока вин на берегу — дешёвка, годная разве что для дезинфекции труб. Но для австрийского моряка в 1902 году ежедневные пол-литра винного рациона, булькающие в его оловянной кружке, имели почти ритуальное значение. На протяжении полугода вдали от дома, во время качки среди холодных серых брызг Южного океана, это вино станет напоминать им далёкую солнечную родину ароматами сосен и лаванды, как жидкая квинтэссенция далёкой Далмации.

Помимо всего прочего, после нескольких месяцев в море вино оставалось единственным в нашем рационе, на что мы ещё могли смотреть с некоторым удовольствием. Остальная примитивная морская провизия вызывала скорее отвращение. Пища в плавании считалась хорошей, если её можно жевать и проглатывать, не обращая внимания, что ешь. Если еда привлекала внимание — значит, скорее всего, испортилась.

Наконец, за два дня до отплытия, погрузка припасов завершилась. Теперь начиналась уборка корабля — мытьё и чистка грязи, накопившейся за время в порту, приготовление к торжественному выходу в море. В основном это оказалось отвратительной работой. Мы, кадеты, сменили молотки для очистки ржавчины на жесткие щётки и проволочные мочалки, постоянно ходили с мокрыми коленями, соскребали с палубы въевшуюся грязь и смолу, красили палубу и деревянные поверхности.

Как-то утром я работал на мостике, стоя на коленях — оттирал от грязи тиковые доски при помощи металлической щётки и ведра ужасной

жидкости, известной как «суги-муги» — зловещего вида вязкого водного раствора каустической соды. Я шлифовал старое дерево, и кожа пластинами слезала с моих рук. Внезапно меня накрыла огромная тень — боцман Негошич.

— Есть проблемы, парень?

— Боцман, с этим раствором что-то не так.

— Господи, не может быть. Что такое? — Он опустился рядом со мной на колени. — Так в чём дело? Обжигает руки, да?

— Да, боцман, взгляните...

Я капнул палкой маленькую лужицу жидкости на голый участок дерева. Мы оба внимательно смотрели. Секунд через десять дерево стало менять цвет с розовато-серого на грязный тёмно-коричневый. Негошич кивнул.

— Да, ты прав, это просто кошачья моча. Дерево должно почернеть. Беги на склад краски, скажи, пусть добавят ещё ковшик каустика. А если дерево задымится, всегда можно подлить немного воды.

Экипаж переправлялся из береговых флотских казарм нашим паровым катером, тянущим за собой лодки с матросами и вещмешками. В основном все уже находились на борту. Началось составление вахтенного расписания, из всеобщей хаотичной тяжёлой восемнадцатичасовой работы, как бабочка внутри куколки, формировалась корабельная рутина. Нас разделили на две вахты, левого и правого борта, одна из которых всегда на посту, а другая свободна от работы, посменно каждые четыре часа, пока мы в море.

Корабль также разделили поперёк на три отделения: фок-мачта, грот-мачта и бизань. Все тридцать восемь кадетов Морской академии попали в «бизань», под руководство линиеншиффлейтенанта Залески. Гаусса и меня назначили в вахту правого борта, а Тарабоччу и Гумпольдсдорфера — в вахту левого борта. Вне дежурства и сна всем кадетам предстояло проходить обычную программу обучения Морской академии.

Линиеншиффлейтенант Залески станет преподавать морскую навигацию, второй офицер, линиеншиффлейтенант Микулич — обучать мореходной практике. Инструктором по военно-морскому праву и управлению назначили старшего офицера, корветтенкапитана графа Ойгена Фештетича фон Центкатолна. Кроме того, время от времени пассажиры нашего корабля, дополнительно укомплектованного учёными, будут давать нам уроки по отдельным предметам.

На корабле, безусловно, собралось выдающееся сообщество — профессора, откомандированные в плавание самыми лучшими научными

учреждениями Австро-Венгрии. Главным среди них — по крайней мере, по его собственному мнению — был профессор факультета антропологии Венского университета Карл Сковронек, один из основателей расовой генетики, признанный европейский авторитет в краниометрии — науке, определяющей происхождение человека при помощи измерения черепа.

Императорский и королевский институт географии представляли океанограф, профессор Геза Салаи, геолог, доктор Франц Пюрклер, и герр Отто Ленарт, природовед-натуралист.

Каждый из них захватил с собой ассистентов, а также огромное количество научной аппаратуры, упакованной в обитые медью ящики и плетёные корзины — патентованные агрегаты для зондирования, бутылки для сбора морской воды, коробки для образцов, ящик взрывчатки для подрыва скал, тысячи банок и бутылок для хранения находок в спирте. Кроме того, учёных сопровождали официальный фотограф экспедиции герр Крентц и таксидермист герр Кнедлик.

На борту присутствовал также и некто с неопределёнными функциями — граф Конрад Минателло, оказавшийся официальным представителем императорского и королевского Министерства иностранных дел с Баллхаусплатц. Заявленный в экспедиции как этнограф, он, кажется, намеревался выполнять в путешествии дипломатические обязанности.

Учёные со своим сопровождением прибыли одновременно, а мы сделали всё возможное, чтобы разместить их как подобает, в каютах под кормовой палубой. Единственной проблемой оказался профессор Сковронек, который, не пробыв на борту и пары часов, приобрёл репутацию всезнайки и назойливого источника помех.

Выше среднего роста, лысый и светлоусый, немногим старше пятидесяти, он даже в Поле носил твидовые бриджи, чулки, норфолкскую куртку и мягкую шляпу вкупе с моноклем, придававшие ему несколько комический вид.

Едва поднявшись по трапу, он тут же начал жаловаться, что размеры предназначенной для него каюты недостаточны, и, откровенно говоря, оскорбительны для учёного столь высокого статуса. Боцман вежливо возразил, заявив, что распределение мест согласовано с соответствующими организациями ещё несколько недель назад.

Профессор ответил, что не желает спорить с рядовым и требует возможности увидеть старшего офицера, поскольку капитана ещё нет на борту. В конце концов Фештетич, всегда стремившийся избегать скандалов, уступил, предоставив профессору Сковронеку дополнительную каюту в качестве рабочего помещения — хотя частным образом и говорил,

что понятия не имеет, зачем антропологу понадобилась лаборатория.

Герра Кнедлика пришлось выселить и переместить в каюту к герру Крентцу на нижнюю палубу, где у того имелась тёмная комната. Едва ли не основной причиной, по которой профессору потребовалось больше места оказалось то, что он привёз с собой целый оружейный арсенал: четыре дробовика разных размеров, две лёгких спортивных винтовки и очень дорогую охотничью винтовку Маннлихера с оптическим прицелом, достаточно мощную, чтобы подстрелить слона.

Утром, в пятницу тринадцатого июня, на борт торжественно прибыл капитан, и с этого момента все остальные занялись последней безумной чисткой и полировкой. Объявили, что перед отправлением, в воскресенье утром, к нам прибудет с инспекцией старейшина Габсбургского дома, восьмидесятидевятилетний фельдмаршал, эрцгерцог Леопольд Ксавьер, служивший с Радецки в 1849 году.

Несмотря на свою чрезвычайную близорукость, эрцгерцог являлся генеральным инспектором крепостной артиллерии примерно с 1850 года, что, возможно, объясняет, почему орудия, установленные на австрийских долговременных укреплениях, олицетворяли собой глубокую древность — кое-где даже в 1900 году всё ещё стояли бронзовые дульнозарядные пушки.

Эрцгерцог посещал Полу для проверки — убедиться, что орудия на укреплениях вокруг военно-морской базы надраены и пребывают в должном состоянии, и, поскольку он будет находиться в городе в день нашего отплытия, его убедили преодолеть печально известное недоверие представителей Австрийского дома к солёной воде и нанести нам визит.

Капитан прибыл с Моло Беллона в личной гондоле. Наш флот был немецкоговорящим, по крайней мере, на бумаге. Однако так было не всегда. Вплоть до 1850 года командным языком на флоте считался итальянский. Даже в мою бытность кадетом по-прежнему соблюдались многие обычаи венецианского флота. В 1902 году в уголке военно-морской верфи Полы ещё догнивал блокшив-склад, начавший свой век как сорокапушечный фрегат под знаменем Светлейшей Республики с крылатым львом.

Немало старших и наиболее консервативных штабных офицеров до сих пор использовали гондолы в качестве личного транспорта — упрощённые версии тех, что плавали по каналам Венеции, без богатых кованых украшений на носу, но также с одним веслом и ничуть не менее капризные в управлении. Это я обнаружил на следующее утро, когда получил приказ отвести капитанскую гондолу обратно в порт, чтобы её

могли убрать на хранение в лодочный сарай на время нашего плавания.

Эта штука просто делала пируэты — крутилась посреди гавани около получаса под насмешки матросов, собравшихся посмотреть на мой позор, пока надо мной не сжалился, взяв на буксир, проходивший мимо паровой катер.

В субботу мы трудились до позднего вечера, завершая последние приготовления, даже отправили пару человек с тряпками и бутылками полировки для металла в шлюпку, чтобы довести до блеска те несколько сантиметров меди, которые ещё виднелись над водой.

Фигура фельдмаршала принца Альфреда Виндиш-Греца на носу корабля получила последние мазки краски, на завитки орнамента вокруг названия, ниже кормовых иллюминаторов, легли последние частички сусального золота, вся медь отполирована до нестерпимого блеска, достойного ярмарочного парового органа, палуба, надраенная песчаником, сияла белизной, как скатерть, а нижние мачты и дымовую трубу (сейчас опущенную) — окрасили в безупречный тёмно-жёлтый цвет.

Всё без исключения находилось на своих местах, корабль от носа до кормы провонял карболовым мылом и полировкой для металла. Измученные, в полночь мы плюхнулись в гамаки, а уже в четыре утра нас подняли по сигналу горнистов для подготовки к парадному построению.

В самом ужасном положении оказались двадцать участников почётного караула — им предстояло в парадной форме и при полном вооружении встречать эрцгерцога, когда тот поднимется на борт — как известно, наш гость являлся фанатичным приверженцем мундиров. В конце концов матросам, наряженным своими товарищами по команде словно манекены в витрине мужской галантереи, пришлось стоять всё утро, чтобы не помять одежду.

В восемь склянок на корме подняли флаг и корабельный оркестр исполнил «Gott Erhalte». В путешествие вместе с нами отправлялись двадцать военных музыкантов — невзирая на недостатки нашей военноморской техники, ни один уважающий себя австрийский военный корабль не мог отправиться в океанское плавание, не обеспечив высококачественное музыкальное сопровождение, где бы он ни оказался. В десять на квартердеке корабельный капеллан, военный пастор Земмельвайс, отслужил мессу. Присутствие было обязательно для всех, кроме маленькой группы евреев и протестантов. Затем, ровно в одиннадцать, начались торжества.

Австро-Венгрия не имела колоний, так что не каждый день наши корабли отправлялись в дальнее плавание. Поэтому, а также по случаю

посещения Пола эрцгерцогом, лета и воскресного дня, было решено устроить из этого события праздник, как это умела только Габсбургская Австрия.

К десяти утра посмотреть на него явился весь город, за исключением, правда, нескольких десятков итальянских ирредентистов [\[14\]](#), демонстративно организовавших в этот день поездку в Медолино и отбывших ранним утром в десятке наёмных фиакров в сопровождении двадцати других фиакров, полных полицейских в штатском.

Это был, несомненно, великолепный день — мягкое благоухание раннего лета, легкий и спокойный восточный ветерок.

К полудню воды гавани наполнились судами всех форм и размеров — паровыми катерами, баркасами, яхтами, гребными лодками, каноз, плоскодонками, судами с латинскими парусами, пузатыми трабаколло с красными парусами и красно-бело-зелёным австрийским торговым флагом. Стоявшие в гавани военные корабли расцвелись флагами, на верхушках мачт развевались чёрно-жёлтые знамёна императорского дома с двуглавым орлом.

На квартердеках наготове ждали оркестры, на медных инструментах сверкало яркое солнце. Экипажи кораблей построились в парадных белых мундирах. Наконец, с берега донёсся орудийный выстрел в знак того, что шлюпка эрцгерцога отплыла от Моло Беллона.

— Всем матросам подняться на мачты и выстроиться на реях!

Мы метнулись к вантам бизани и вскарабкались наверх, как много раз практиковались вчера. Параллельно реям ранее натянули тросы.

С гулко стучащими сердцами мы переступали приставными шагами по реям, встали на свернутые паруса, оперлись плечами на леера и одной рукой ухватились за натянутый трос, а другой — за рукав соседа.

Стоя наверху, в сорока метрах над палубой, на покачивающемся тонком деревянном карнизе, мы чувствовали себя не особенно уверенно. От вечности нас отделяла лишь тонкая верёвка, так что мы старались не смотреть вниз. Наконец, раздался свисток, означавший, что шлюпка эрцгерцога появилась в поле зрения.

Корабельные оркестры грянули «Марш Радецкого», без которого не обходилось ни одно официальное торжество в старой Австрии. Когда они закончили, загрохотал приветственный салют. Девятнадцать, двадцать, двадцать один... По свистку снизу каждый отпустил соседа, мы сняли фуражки и трижды взмахнули ими, выкрикивая «Dreimal Hoch!».

Затем фуражки вернулись на место, а мы осторожно двинулись назад, к мачте, чтобы спуститься на палубу. Когда пронзительные свистки

боцманов приветствовали на борту нашего августейшего гостя, мы все уже стояли в парадной линейке на верхней палубе.

Эрцгерцог Леопольд Ксавьер являл собой впечатляющее зрелище лишь потому, что казалось невероятным — как такое дряхлое создание еще может передвигаться на собственных ногах. Большие белые бакенбарды были семейной чертой всех Габсбургов, как и выдающаяся вперед нижняя губа, из-за которой штабные офицеры императорского дома нередко говорили, что единственной подходящей воинской обязанностью для эрцгерцога было бы использование его в качестве держателя для карандашей у письменного стола. Необычно выглядели только его слезящиеся близорукие глазки в очках с толстенными линзами.

У эрцгерцога даже в юности была репутация крайне близорукого человека, так что теперь старый дуралей вообще почти не видел: слеп как крот и вряд ли мог отличить день от ночи. Но, близорукий или нет, эрцгерцог настоял на инспектировании парадного караула. И далеко не формально, поскольку знал «Наставление о правилах ношения военной формы» наизусть и отступление от этих правил даже на волосок приравнивал к измене родине.

Он проходил перед строем, внимательно разглядывая каждого по очереди, неодобрительно фыркая и хмурясь. Наконец, обернулся к старшему офицеру, корветтенкапитану графу Фештетичу, стоящему перед ним в парадном мундире и с обнаженной саблей.

— Герр граф, почему все эти люди одеты как матросы?

— Э-э-э... покорнейше осмелюсь доложить, ваше императорское высочество, они одеты как матросы потому... э-э-э... потому, что они и есть матросы.

— Да ну? Полная ерунда. Военный флот поднял мятеж ещё в сорок восьмом году и был упразднён. А эти люди вырядились в карнавальные костюмы. Отправьте их в камеры, под замок. Двадцать пять лет каторжных работ на хлебе и воде, всех в кандалы. Провокаторы, собаки итальянские... — Он обернулся к капитану. Скажите, Тегетхофф, как случилось, что Фердинанд Макс застрелен в Мексике? Вам нравятся свиные клёцки? Сам я предпочитаю ночную рубашку. Один человек как-то сказал мне...

Я окончательно потерял нить этой беседы. Два адъютанта повели эрцгерцога дальше, вниз к мостику, проинспектировать состояние штурвала и навигационных приборов. Тем временем явилась военная полиция — арестовать и сопроводить в заключение почётный караул. Всё-таки фельдмаршал и эрцгерцог — не тот человек, чьи приказы можно легко проигнорировать. Поэтому, пока мы не отплыли, глубоко возмущённых

матросов из почётного караула держали внизу, запертыми в карцере, где из-за полного аншлага они могли только стоять. Успокоить их удалось, лишь разрешив подчистить остатки фуршета, проходившего в капитанской каюте.

К полудню наш блистательный гость отбыл, и мы готовились к отплытию. Якорь подобрали, и он мотался по придонной грязи, еле удерживая корабль от дрейфа. Подниматься на реи для постановки парусов не было необходимости — все приготовили заранее.

Свернутые паруса были закреплены не, как обычно, сезнями — линиями определенной длины с клевантом на одном конце и огоном на другом, — а закольцованными отрезками шкимушгара. Сквозь колечки шкимушгара поверх парусов завели дуплинем тросы, которые пропускались через блоки на ноках рей и спускались на палубу, чтобы, потянув их, разрывать колечки по очереди, подобно тому, как отрывают почтовые марки по перфорации.

Мы уже приготовились и ждали приказа. Наконец он поступил.

— Поднять якорь! — и шестьдесят человек навалились на рукоятки шпиля, чтобы вытащить якорь из воды. Двадцать корабельных орудий бухнули салют, окутав нас плотными клубами белого дыма.

— Фок и фор-марсель распустить!

Матросы на баке потянули за тросы, и фок с фор-марселем мгновенно упали вниз, бриз с суши обстенил паруса, прижал их к мачте. Поначалу медленно, нос корабля начал уваливаться на правый борт.

— Alle Segel los und bei! — Распустить все паруса!

Мы потянули тросы, оркестр грянул марш принца Ойгена, и когда над водой рассеялся белый дым, как по мановению волшебной палочки, распустились все семнадцать парусов. Бриз наполнил паруса, и корабль двинулся вперёд, якорь полз к кат-балке.

Всё представление заняло не более тридцати секунд — бесстыдное театральное действо вроде трюка с верёвочкой, возможное только в гавани при устойчивом летнем бризе.

Но всё прошло идеально, и когда корабль, словно возникший из дыма, направился к выходу из гавани — примерно в миле — все мы, слушая аплодисменты и крики восторга из лодок вокруг, понимали, что все это стоило долгих часов приготовлений. На случай, если с подветренной стороны мыса Мусил мы окажемся укрытыми от бриза, рядом крутился готовый нам помочь колёсный буксир, но мы и без него справились.

Оркестр продолжал играть, мы скользили по воде мимо мола, окружённые аплодирующими зрителями в соломенных канотье и нарядных

шляпках. Вход сюда допускался только по билетам, зарезервированным для друзей и членов семей экипажа, чтобы они могли торжественно проводить нас. Мы шли всего в нескольких метрах от них, и я увидел молодую женщину в светло-голубом платье, которая махала и посылала воздушные поцелуи линиеншифс-лейтенанту Залески, стоявшему на крыле капитанского мостика.

— Auf wiederschauen, Flori! — кричала она, — Arrividerci! До свидания, Флори! Увидимся через полгода!

И Залески тоже размахивал фуражкой в ответ и слал ей воздушные поцелуи, когда мы проплывали мимо. Мы шли достаточно близко, чтобы я мог разглядеть — это не фройляйн Митци, у девушки чёрные волосы, а кроме того, в нескольких метрах дальше по молу стояла сама фройляйн Митци и тоже махала, прощаясь с лейтенантом.

Залески обнаружил обеих и успел убраться с мостика как раз перед тем, как они заметили друг друга. Взглянув на них в последний раз, прежде чем мол остался позади, за кормой, я увидел, как женщины вступили в оживлённую беседу.

Мы вышли из гавани под приветственный салют орудий фортов Пунто-Кристо и Мария-Терезия, а дальше, пока плыли вдоль берега, нам салютовали пушки фортов Мусил, Стойя и Верудела. Только когда мы миновали маяк на оконечности мыса Попер на краю полуострова Истрия, последние выстрелы пушек и звуки оркестров затихли вдали. Несомненно, мы ушли красиво. Но когда берег Истрии остался далеко за кормой, в мою голову стали закрадываться сомнения, лёгкие, как высокие летние облака — кто знает, как и где закончится путешествие, которое так прекрасно начиналось?

Как только маяк мыса Попер утонул за горизонтом, мы сменили одежду на рабочую, сложили и убрали парадную форму и постепенно начали погружаться в необычное, напоминающее транс состояние — жизнь на борту военного парусного корабля в долгом морском походе: заступить на вахту, смениться с вахты.

Каждый день начинается в полдень и делится на получасовые фрагменты звоном корабельного колокола. Половина людей внизу, остальные на палубе. И так каждый день одно и то же, завтра как вчера, разве что постепенно смещается по времени — двухчасовые полувахты вставляются специально для того, чтобы в день получилось нечётное число вахт и люди не сошли с ума от однообразия.

В деревянной скорлупке длиной примерно семьдесят метров и шириной двенадцать, где живут триста пятьдесят шесть человек,

уединение невозможно, и каждая минута рабочего дня, каждый крошечный кусочек свободного времени, заполнены какими-то делами, нужными или не очень.

Под синим безоблачным небом средиземноморского лета течение времени отмечалось такими знаменательными вехами, как закончившаяся примерно на пятый день свежая говядина, заменённая солёной, или учёными — большинство из них никогда не выходили в море, — появившимися из своих кают примерно на седьмой день, когда им наконец удалось справиться с тошнотой.

Большую часть времени дул ровный и свежий северо-восточный бриз, поэтому мы быстро прошли по Адриатике и повернули на запад через Средиземноморье.

На третий день мы обогнули мыс Санта-Мария-ди-Леука, оконечность итальянского каблука, мыс Пассеро — на четвёртый, мыс Бон, самую северную точку Африки — на пятый. Я не увидел ни одного из них — либо мы проходили ночью, либо я спал, освободившись от вахты, либо мы шли слишком далеко в море, так что невозможно разглядеть.

Но всё же я старательно отмечал эти факты. Обычно матросы на борту парусников, как торговых, так и военных, обращают на это мало внимания и не интересуются местоположением корабля.

Они принимают навигацию на веру, как некую тайну, открытую только офицерам, и вполне довольны тем, что корабль в конечном итоге достигает земли, ничего не задев по дороге. Они всегда немного удивляются, прибывая в порт, как будто это что-то вроде неожиданного бонуса сверх рациона и жалованья.

Но для нас, кадетов, всё иначе — мы, будущие офицеры, пошли в этот круиз для изучения морской навигации и, как требовали командиры, постоянно должны быть в курсе нашего продвижения.

За день до выхода в море старший офицер собрал нас на совещание в кают-компании. На развёрнутой карте Атлантического океана синий контур отмечал наш предполагаемый маршрут. Корабль проследует к Гибралтару, а оттуда вдоль побережья Западной Африки до мыса Пальмас.

Потом мы пересечем Атлантику, зайдём в Пернамбуко на северо-восточной оконечности Бразилии, оттуда снова пересечём по диагонали Южную Атлантику, к Кейптауну. Затем поплывём вдоль западного побережья Африки мимо Азорских островов, воспользовавшись попутным ветром, и через Гибралтар вернёмся домой.

Точных сроков плавания не назначали — для парусных кораблей планировались пункты назначения, а не время прибытия, но

предположительно путешествие должно продлиться до декабря, самое позднее — до февраля. Мы, кадеты, конечно, надеялись на второй вариант, поскольку так пропустим большую часть весеннего семестра в Морской академии.

Во время путешествия кадетам предписывалось вести личные дневники и судовые журналы, ежедневно уделяя особое внимание определению позиции корабля в полдень, метеорологическим условиям и расстоянию, пройденному за предыдущие двадцать четыре часа. Всё ясно? Мы всё поняли, и потому направились к казначею за обёрнутыми в тёмно-синюю клеёнку блестящими новенькими журналами, любезно предоставленными нам за казённый счёт.

Мы достигли Гибралтара двадцать пятого июня, на десятый день после выхода из Пола. Это хорошая, возможно, даже выдающаяся скорость после штиля южнее Балеарских островов — в среднем около семи узлов. Но паровой корвет «Виндишгрец» вряд ли мог считаться быстроходным океанским лайнером.

Самая большая скорость, которую нам удалось зафиксировать под парусами составила около одиннадцати узлов в Южной Атлантике при пятибалльном ветре на два румба в бакштаг. Если все суммировать, то вряд ли корвет можно было считать одним из удачных приобретений императора Франца Иосифа.

Императорскому и королевскому военному флоту постоянно мешали недостаток средств и заинтересованности в его развитии. В 1860 году, при адмирале Тегетхоффе, австрийский флот был грозной силой. Но Тегетхофф умер молодым, а его покровителя, эрцгерцога Фердинанда Макса, расстреляли при попытке стать императором Мексики, и сменявшиеся один за другим слабовольные главнокомандующие привели флот в упадок.

Старый император не слишком интересовался морем — фактически, насколько возможно избегал его. Между Веной и Будапештом ежегодно происходили бесконечные ссоры из-за военного бюджета, и в результате морскому военному флоту оставалось так мало денег, что к началу 1890-х он почти дошёл до статуса сухопутного флота из-за нехватки кораблей.

Несколько кораблей, еще оставшихся в его распоряжении — просто сборище изношенных старых утюгов, которые неоднократно и с большими затратами модернизировали в отчаянной попытке придать императорским кригсмарине хотя бы видимость надёжного боевого флота.

Из-за огромной трудности «проведения» военно-морского бюджета через имперский Рейхсрат, приходилось использовать целый ряд уловок, чтобы получить деньги. Одна из них, называвшаяся «реконструкцией»,

означала получение денег, выделенных на ремонт старого корабля, и использование их для строительства нового.

«Виндишгрец», на борту которого я теперь плыл, подвергался «реконструкции» не один, а целых два раза. Он уже неоднократно рождался и умирал, как вампир. Корабль, первоначально построенный в 1865 году в Триесте, был признан сгнившим и подлежащим разборке в 1879-ом. Его паровой двигатель, шпангоуты и оборудование использовали при строительстве нового корабля, совершенно такого же и с тем же самым именем.

Когда же спустя десять лет корабль снова признали гнилым и отправили на слом, на военно-морской верфи Полы повторно, а точнее, в третий раз, использовали очень многие его детали, чтобы построить третий «Виндишгрец». Официально он оставался тем же кораблём, построенным четверть века назад, но фактически — стал как пресловутый пятисотлетний топор, сменивший два новых топорщица и три лезвия.

Несмотря на то, что при каждой реконструкции «Виндишгрец» неким образом модернизировался, корабль, спущенный на воду в 1892 году, оставался совершенно устаревшим — даже в качестве учебного судна для кадетов.

Типичный трёхмачтовый деревянный фрегат водоизмещением в две тысячи сто тридцать тонн (причислять его к «корветам» было ошибкой, поскольку орудия располагались на закрытой батарейной палубе) оснастили громоздким старым двухцилиндровым паровым компаунд-двигателем номинальной мощностью в тысячу двести лошадиных сил. Однако фактически к 1902 году он выдавал меньше половины, несмотря на огромные цилиндры с человеческий рост. Двигатель вращал неуклюжий двухлопастный винт пятиметрового диаметра.

Когда гребной винт не использовался, его снимали с гребного вала при помощи кулачной муфты, вытаскивали цепным блоком и убирали в отсек под кормой, чтобы сопротивление не мешало кораблю идти под парусом. Телескопическая дымовая труба тоже могла углубляться в палубу, не загораживая паруса.

Большую часть времени, проведённого мной на борту «Виндишгреца», винт находился в поднятом состоянии, а труба — в сложенном. Мы везли всего четыреста тонн угля, а котлы — жадные пожиратели топлива. Кроме того, двигатель был чудовищно неэффективен. Чтобы поднять ужасающе низкое рабочее давление, примерно в 1894 году его оснастили перегревателем пара, но пользы от этого было, как от установки кислородного компрессора на газнокосилку. Мы использовали

двигатель только в самых особых случаях, для входа в порт при полном штиле.

Больше двигатель никак не использовался. Идти одновременно и с двигателем, и под парусами «Виндишгрецу» не имело смысла, разве что при попутном ветре, иначе усилия парусов и винта как бы противодействовали друг другу, делая корабль фактически неуправляемым.

Если мы шли под паром, повсюду разносились искры, и нижние паруса приходилось убирать в специальные чехлы из ткани с пропиткой, чтобы от них защитить. В общем, от корабельного парового двигателя толку было мало, особенно с таким капитаном, как Славец фон Лёвенхаузен, считавший использование «железного паруса» своим личным поражением, бросающим тень на профессиональную репутацию.

На борту «Виндишгреца» имелись и другие штрихи современности. Например, два электрических прожектора, по одному на каждом крыле ходового мостика. Но поскольку вспомогательному двигателю, крутившему динамо для этих агрегатов, требовался целый час для получения достаточного давления пара, их присутствие было скорее символическим.

Всё остальное на корабле освещалось керосиновыми лампами и восковыми свечами известной государственной марки «Аполло», горевшими когда-то во всех казармах старой монархии, но теперь оставшимися только на парусниках — даже провинциальные тюрьмы к тому времени уже обзавелись электричеством. Кроме того, на корме и в носовой части нижней палубы размещались два торпедных аппарата, управлявшихся сложной системой шарниров и металлических направляющих, которыми их можно было развернуть и нацелить через порты, прорезанные в бортах.

Это было совершенно бессмысленное и бесполезное устройство, пригодное разве что для обучения. Правда, много лет спустя мне удалось произвести торпедную атаку с парусника — но в темноте, с маленького кораблика, полагаясь на неожиданность и в значительной мере на удачу, не говоря уж о современных торпедах. С сорокасантиметровой торпедой Уайтхеда (дальность эффективной стрельбы примерно пятьсот метров) шансы трехмачтового парусника подойти к цели достаточно близко стремились к нулю.

Но и остальное вооружение не слишком впечатляло — двадцать пятнадцатисантиметровых орудий Варендорфа, стреляющих через порты с каждого борта батарейной палубы: казнозарядные, но настолько древние,

что будь они дульнозарядными, никто бы не почувствовал разницы. Двенадцать пушек на миделе могли разворачиваться в любую сторону, а оставшиеся восемь громоздились на колесных лафетах, как во времена Трафальгара.

Мы немало с ними практиковались, с любовью драили и полировали, и утро каждой пятницы участвовали в ритуале «все по местам», выполняемом по команде «Klarschiff zum Gefecht» [\[15\]](#), — беготне с абордажными саблями и строительстве из мешков с песком гнезд для стрелков на марсах. Но в 1902 году все это превратилось в чистую пантомиму, поскольку орудия линкоров уже стреляли на двадцать километров, под воду спускали первые подводные лодки, а до первого воздушного боя оставалось лишь несколько лет.

Практически бесполезный как военный корабль, «Виндишгрец» не блистал и в качестве парусника. Во время двух последовавших друг за другом «восстановлений» споры плесени переносились со старого корабля на новый. Трюм каждый раз удлинляли для размещения новых котлов, набор корпуса истончился от постоянных переделок, так что воду из трюма приходилось откачивать два раза в день вместо одного, как было бы на борту более крепкого корабля.

Через нашу тёмную каморку над гребным валом проходили две кницы: массивные L-образно изогнутые дубовые кронштейны, предназначенные для соединения бортового набора с бимсами под палубой. При качке один из них отходил от флора и снова закрывался, как зевающая крокодилья пасть.

В первые несколько дней атлантической зыби мы очень беспокоились, но после того как привели посмотреть на это дело плотника и тот надрал нам уши, пришли к заключению, что ничего страшного в этом, возможно, и нет.

Макс Гаусс сказал, что читал где-то о том, как в восемнадцатом веке пираты убирали часть книц со своих кораблей, чтобы те стали более послушными в управлении и быстрыми. Остальные решили, что лучше ему поверить — ради нашего спокойствия.

Работы на корабле были тяжелыми. Из-за многочисленной команды на военных парусниках находился избыток мускульной силы, в результате всё организовывалось максимально несуразно и архаично, без малейшей мысли о сокращении трудоёмкости или рационализации.

За последние полвека марсели и брамсели на торговых парусниках разделили на два паруса каждый, для удобства постановки и уборки. Но наш корабль использовал старомодные варианты с рядами риф-сезней для

уменьшения площади паруса при сильном ветре — медленной, трудоёмкой, а при шторме и просто опасной процедуры. На современных торговых парусниках паруса брали на гитовы, иначе говоря, подтягивали прямо к рею, сворачивая как жалюзи.

Но мы по-прежнему убрали паруса по старинке — подтягивали два нижних угла наверх к середине реи, так что огромный «тюк» парусины образовывался как раз в том месте, откуда его труднее всего достать матросам на рее.

На стальных виндjamмерах ^[16] на палубах уже использовались современные устройства, облегчающие ручной труд: лебедки на брасах, механизированные якорные шпили, даже паровые вспомогательные лебедки, облегчающие прочие работы на корабле. Но у нас ничего этого не было: даже ничтожных шариковых подшипников, чтобы повысить эффективность усилий на сотнях блоков такелажа.

Всё выполнялось только при помощи грубой мышечной силы — требовалось шестьдесят человек на шпиге, чтобы поднять якорь, и по сорок-пятьдесят на каждом брасе, если мы собирались поменять галс. Тогда впервые в жизни я осознал, что тяжёлая работа не всегда эффективна, а лень — величайший двигатель прогресса.

Впрочем, в австро-венгерских вооружённых силах, при изобилии дешёвой рабочей силы и отсутствии денег, дела обстояли так во всём, а не только на борту военных парусников. Офицеры нередко шутили — если британской армии потребуется казарма, доски купят за пять фунтов у гражданского поставщика, наймут плотника, и через два дня всё будет готово. Австро-венгерской армии для достижения той же цели потребуется две сотни человек и двадцать лошадей. Они повалят двадцать гектаров леса, два года будут распиливать доски и собирать казарму, и в конце концов окажется, что не осталось денег на дверной замок, и поставят часового для охраны. Скорее всего, этот часовой будет там стоять и через двадцать лет, когда сама казарма давно уже сгорит или развалится.

Полагаю, от наших людей и нельзя было ожидать большего. Я впервые в жизни так близко и долго наблюдал жизнь экипажа австро-венгерского военного корабля, и этот опыт оказался весьма поучительным.

Флот старой дунайской монархии, в котором все мы служили, выглядел, конечно, весьма странно — одиннадцать наций и столько же языков беспорядочно перемешаны, засунуты на один корабль и отправлены через океаны, как некое подобие разъездного агентства императорской и королевской монархии.

На борту «Виндишгреца» имелись представители всех одиннадцати, и,

кроме того, члены этнических меньшинств, таких как евреи, цыгане и даже ладины из Южного Тироля, которым пока не удалось полностью определиться как отдельной нации.

Но все нации нашей монархии были представлены на корабле отнюдь не в равной мере. Большая часть матросов с нижней палубы — хорваты и итальянцы с побережья Далмации и островов, некоторое количество словенцев из окрестностей Триеста, немного черногорских сербов (один из них — боцман Негошич) из залива Каттаро, самой дальней южной окраины монархии.

Мне часто доводилось слышать — в основном в Англии — что некоторые народы вроде норвежцев или датчан и, разумеется, англичане — «прирождённые мореплаватели», тогда как другие, южане, такие как испанцы и итальянцы — трусливый сброд, который бросится в спасательные шлюпки, бормоча «Аве Мария» и расталкивая женщин и детей при первом же признаке шторма.

Сам я считаю это полной чепухой. Думаю, при хорошей подготовке настоящим моряком способен стать каждый. Лучшим моряком, с каким я когда-либо встречался, был поляк, сын политических эмигрантов, родившийся и выросший в Центральной Азии, так далеко от солёной воды, как только возможно на этой планете.

По правде говоря, в те времена из некоторых районов Европы выходило множество отличных моряков — главным образом из таких небогатых, перенаселённых скалистых областей побережья как Швеция или западный берег Ирландии, где у здорового работоспособного юноши одна надежда избежать нищеты — только на море. И конечно, из Далмации, с её изрезанным тысячей островков берегом, корявыми оливковыми рощами и не слишком плодородными каменистыми полями, уступами расположенными на горных склонах.

Вынужденные из-за бедности своей земли проводить жизнь в море, далматинцы практически жили па плаву, учились управлять лодкой, едва начинали ходить и, как правило, уже лет в восемь становились помощниками дяди или кузена на борту парусника. Мореплавание в те времена было интернациональным, морякам не требовались паспорта и, прежде чем их на четыре года призывали в военно-морской флот, многие наши матросы успевали послужить на борту иностранных торговых судов — британских, немецких, скандинавских, русских, даже американских.

Наши хорваты были крепкими людьми — простые, молчаливые, нередко малограмотные, но в то же время — сильные, выносливые и часто замечательно умелые моряки.

Что же до представителей остальных национальностей — они отлично дополняли хорватское большинство.

В машинных и технических отсеках преобладали немцы и чехи, два наиболее образованных народа монархии. В электрических подразделениях по какой-то причине работало много итальянцев, а среди артиллеристов было много венгров.

Но вопрос национальности на наших кораблях, как правило, не имел особого значения, разве что в последние месяцы 1918 года, когда монархия вплотную приблизилась к краху.

Официальным языком служил немецкий, однако по большей части вряд ли понятный бюргеру из Гёттингена. Неофициально использовался любопытный жаргон, называемый «Marinesprache» или «lingua di bordo», то есть «морской» или «судовой язык», состоявший в равной мере из немецкого, итальянского и сербохорватского. Немецкий использовался только в особенных случаях — например, для передачи или приёма приказов, или в присутствии начальства.

Помню, на флоте ходил старый анекдот о хорватском моряке, сдававшем квалификационный экзамен на помощника наводчика, потратившем кучу времени на изучение названий составляющих корабельной артиллерии. Экзамен принимала группа офицеров под присмотром старшего канонира, гешутцмайстера, тоже хорвата.

— А это как называется? — спросил герр шиффслейтенант, указывая на деталь под названием «Backbüchsenpfropf».

— Осмелюсь доложить, герр летнаант, эта ессть бикс-баксен-пофф.

Гешутцмайстер немедленно отпустил экзаменуемому затрещину.

— Дубина! Я ж тебе сто раз говорил, это не бикс-баксен-пофф, а бакс-биксен-пофф!

Я так никогда и не узнал, какие чувства испытывали в глубине души обитатели нижней палубы относительно пребывания в военно-морском флоте императора Франца Иосифа в целом и конкретно — во время того плавания. Но поскольку все они были профессиональными моряками, сомневаюсь, что у них возникали какие-либо сложности.

Правда, платили матросам скудно и дисциплина их тяготила. Но кормили здесь обильнее, чем на торговом паруснике, и еда была уж точно не хуже, а работа нашего большого экипажа — легче.

Кроме того, военные корабли чаще заходили в порты, на борту обычно присутствовали врач и более компетентные офицеры. В плавании более точно соблюдался график и можно было не опасаться, что девять месяцев растянутся на два-три года из-за того, что владелец изменил планы

относительно грузов и портов назначения, как нередко случалось на торговых судах.

Но всё же матросам с парусников во многом приходилось полагаться на судьбу. Во всех портах их ждало одно и то же, а жалование, каким-то чудом накопившееся за время плавания, нередко улетало за одну-единственную ночь после прибытия домой.

Помню, как несколько месяцев спустя, когда наш корабль качался на волнах в бескрайней пустоте Южного океана, где до земли много миль в любую сторону, мы смотрели на стаю альбатросов. Они спокойно, как ласточки на телеграфном проводе, сидели на вздымающихся серых волнах. Наш старшина, торпедомайстер Кайндель из Вены, обернулся ко мне, опираясь на леер.

— Видите тех птиц, — сказал он, — вот так они целый день сидят на волнах, а после поднимаются и летят за тысячи миль, чтобы сидеть в другой части океана, такой же, как та, что они оставили. Это же можно сказать и морях. Люди верят, что альбатросы — это души умерших моряков, но сам я склонен думать, что в морях живут души погибших альбатросов.

Глава шестая

ЗА ГЕРКУЛЕСОВЫМИ СТОЛБАМИ

Двадцать пятого июня мы на три дня бросили якорь в Гибралтаре. Британский флот принял нас как гостей. Мы посетили прием в резиденции губернатора, где майор королевских инженерных войск любезно показал нам крепостные укрепления, взобрались на вершину Гибралтарской скалы, купили сувениров, отправили семьям открытки, сфотографировались с местными обезьянками — словом, выполнили всё, что делали в увольнении кадеты, с тех пор как существует берег и военно-морские кадеты попадают туда во время увольнения.

Но теперь всё казалось до странности нереальным, похожим на задник для сцены нашей обыденной жизни — через несколько минут появятся рабочие, чтобы сменить декорации на другие, изображающими Лиссабон или Мадейру. С возрастом я стал замечать, что единственно реальный мир для моряков — корабль. Моряки — неисправимые странники, их, как это случилось и со мной, ведёт по жизни тяга к странствиям. Но в то же время, все они быстро становятся закоренелыми домоседами, отличие только в том, что дом свой они таскают с собой по всему миру, как улитка раковину, и быстро начинают ощущать дискомфорт, решившись углубиться слишком далеко на сушу, где уже не видны мачты корабля.

Мы продолжали путь в Атлантику, за Геркулесовы столбы, и Гибралтарская скала вскоре осталась далеко за кормой. Казалось, мы вышли за пределы мира, известного австрийским Габсбургам, в Темные воды, так пугавшие древних. Первые несколько дней после Гибралтара мы продвигались вперёд медленно, чаще нас несло течение из пролива, чем ветер.

Но даже сейчас лёгкая зыбь очень отличалась от средиземноморской — огромные, медленно вздымающиеся океанские волны, несколько сот метров от одного гребня до другого, и тёмно-синий цвет невообразимой глубины.

Наконец, паруса ожили и наполнились ветром — мы поймали северо-восточный пассат и понеслись вперёд, обогнули западную оконечность Африки на расстоянии примерно ста миль от берега.

Единственная за эти дни вылазка на берег состоялась на Мадейре, куда мы ненадолго зашли в тихую пятницу. Поскольку мы оказались поблизости, а побережье выглядело необитаемым, капитан решил провести наши еженедельные учения «Klarschiff zum Gefecht» [\[17\]](#) с реальной стрельбой бортовыми залпами и высадкой десанта на берег. Я попал на десятиметровый баркас, в группу с торпедомайстером Кайндемом в качестве старшины-рулевого. На мне краги и полное снаряжение — винтовка Маннлихера, сабля, штык, сапёрная лопатка и всё остальное. Предполагалось, что мы высаживаемся на берег и захватываем разрушенную башню, стоящую на холме, прямо у береговой линии.

Мы даже взяли с собой десантную пушку Учатиуса — нелепое маленькое полевое орудие на колёсном лафете, выглядевшее так, будто оно заряжено пробками на верёвочке, или, может, при выстреле из него выпадает красный флажок с надписью: «БУМ!»

Когда мы уже сушили весла, подходя к берегу, с «Виндишгреца» дали бортовой залп — первый и последний за всё наше плавание. Снаряды, вращаясь, неторопливо вылетали из дыма, пролетали над нами и плюхались в море на траверзе. Когда дым рассеялся, мы слышали трель горна, но не сигнал «перезарядить», а «аварийную партию на палубу», а потом «к помпам». Вернувшись, мы узнали, что отдача от залпа половины корабельных орудий произвела такое опасное воздействие на корпус корабля, что капитан решил не повторять этот эксперимент.

Дни нашего путешествия в тропиках проходили один за другим. Перед носом корабля резвились дельфины, летучие рыбы шлёпались на палубу, где их ловили и относили на камбуз. Помню, поджаренными они оказались совсем не плохи — напоминали кефаль. На корабле продолжилась ежедневная рутина — мы посещали занятия, когда были свободны от вахты, время проходило спокойно и упорядоченно. Погода стояла прекрасная, и потому большую часть времени мы проводили на палубе. У экипажа имелись свободное время — в основном после обеда по воскресеньям и вечерами с половины восьмого до девяти. Обычно свободные от вахты моряки проводили это время как им угодно — в рамках морского устава, разумеется.

Развлекались на корабле просто — главным образом, игрой в лото и музыкой. Каждый вечер, когда позволяла погода, оркестранты давали концерты на палубе полубака, также мы пели традиционные мелодии Далмации и Вены под аккомпанемент мандолины и аккордеона. Фаворитом нового репертуара была «Песня венского извозчика», ставшая известной несколько лет назад в исполнении комедианта Джирарди.

Должно быть, на проходивших мимо нас кораблях удивлялись, слыша в вечерней тишине разносящееся по Атлантике пение на тягучем венском диалекте: «I hab zwaa harbe Raapen, mei Zeugerl steht am Graben...» [\[18\]](#)

Во время плавания по Северной Атлантике у нас, кадетов, вслед за остальными обитателями нижней палубы начало складываться вполне определённое мнение о местных представителях двенадцатой национальности габсбургской Австрии — императорского и королевского офицерского корпуса. На борту присутствовало четырнадцать её представителей, или пятнадцать, если считать отца Земмельвайса. На вершине пирамиды власти стоял капитан, доблестный Славец фон Лёвенхаузен — полубог, живущий, как микадо, в собственных апартаментах в конце батарейной палубы. Увидеть его среди экипажа можно было только на общих построениях, воскресным утром перед мессой. В другое время местами его обитания оставались только ходовой мостик и ют, где, согласно традициям, любому присутствующему матросу или младшему офицеру следовало стоять на почтённом расстоянии от капитана и с подветренной стороны. Вот такими в те времена, ещё до появления радио, были капитаны кораблей.

Заместитель Славеца, старший офицер корветтенкапитан граф Ойген Фештетич фон Центкатолна представлял в императорском и королевском военно-морском флоте немногочисленную австрийскую аристократию. Низшие титулы — эдлеры, риттеры, бароны и тому подобные — изобиловали в нашем флотском списке, но титулы от графа и выше являлись чем-то вроде раритета. Фештетич был образцовым экземпляром габсбургского высшего класса, людей, три сотни лет поддерживавших разваливающееся государство, чьи энергия и апломб, необходимые для управления империей, находились теперь на исходе.

Фештетич носил венгерскую фамилию, однако, как и большинство представителей своего класса, не обладал какой-либо характерной национальной внешностью — бесцветный тип из ниоткуда (если быть точным, из Бадена близ Вены), без особого акцента и, откровенно говоря, довольно пресный, хотя и вполне доброжелательный. В целом, по мнению экипажа, «приятный человек» — учтивый, с лёгким характером, заботящийся (правда, несколько небрежно) о благополучии своих подчинённых, а также безупречно честный. Там, откуда я родом, говорят: «ein echter Gentleman», то есть «настоящий джентльмен», заимствуя английское слово, поскольку такие качества, как порядочность и честность — не то, что приходит на ум при упоминании народов Дунайского бассейна.

Поджарый, элегантный, чуть сутулящийся, едва перешагнувший рубеж сорокалетия, Фештетич чем-то неуловимо напоминал борзого пса, а его приверженность к мореплаванию казалась несколько сомнительной. Большую часть своей карьеры он прослужил в Военно-морском отделе Министерства обороны в Вене, провёл много лет при дворе в качестве адъютанта по военно-морским вопросам у императора и печально известного эрцгерцога Рудольфа. Благодаря своим связям в обществе и безупречным манерам, Фештетич прекрасно подходил для этой должности.

Он несомненно обладал глубокими профессиональными познаниями, самыми передовыми теоретическими навыками навигации, вёл переписку по вопросам астрономии с несколькими известными учёными. Но оставалось ощущение, что в действительности Фештетич оставался придворным моряком, лишённым природных навыков мореплавания. Наш капитан безмолвно подтверждал это, превратив должность старшего офицера в чисто административную. Большую часть времени он оставлял Фештетича в каюте для выполнения обширной бумажной работы, которую сам капитан терпеть не мог.

Это означало, что весь груз практической работы на корабле перешёл к трём вахтенным офицерам — линиеншиффслейтенантам Микуличу, Залески и Свободе. Каждому из них помогали по два фрегаттенлейтенанта и мичман (как мальчик на побегушках). Я испытывал облегчение от того, что мне чаще всего приходилось иметь дело с моим командиром подразделения, линиеншиффслейтенантом Залески — не только потому, что этот суровый офицер имел репутацию отличного моряка, но и из-за неприятной альтернативы — второго офицера, линиеншиффслейтенанта Деметера Микулича, командира носового подразделения. Мы знали Микулича как вахтенного офицера, также он проводил с кадетами занятия по шлюпочной практике и работе с якорем и очень быстро заработал у большинства из нас дурную репутацию. Нельзя сказать, что он был плохим офицером — о мореходных способностях Микулича хорошо отзывались даже его злейшие враги. Скорее, всё дело в том, что, будучи слишком поглощен собой, он надменно и пренебрежительно относился к окружающим.

Микулич, невысокий и коренастый хорват из Сполато, но поразительно сильный — я не раз видел, как ради развлечения он завязывал узлом железные прутья в палец толщиной. Кроме того, он был опытным боксёром и явно хотел, чтобы об этом знали подчинённые. В императорский и королевский военно-морской флот Микулич попал не через Морскую академию, где с него, возможно, сбили бы спесь. В

семнадцать он стал кандидатом в морские офицеры после нескольких лет службы в американском торговом флоте, на борту корабля, принадлежавшего его дяде-эмигранту. Там Микулич приобрёл не только знания английского языка, сильно сдобренного американским акцентом, но и ненасытный аппетит к романам Френсиса Брет Гарта и Джека Лондона, которыми он восхищался.

Микулич утверждал, что придерживается идей социального дарвинизма: сильнейший не только выживает, но и приобретает некий моральный императив уничтожать слабых. Как мы поняли, он бы очень хотел стать помощником капитана на знаменитых американских клиперах, плавающих вдоль восточного побережья США, и его основная жалоба на австрийский военно-морской устав (с длинным перечнем драконовских наказаний провинившимся) была не на жестокость наказаний, а скорее на кучу препон, мешающих австрийским офицерам установить дисциплину в стиле янки, где превалировал мордобой.

Естественно, результаты неофициальных наказаний, которым Микулич подвергал нарушителей-подчинённых, были столь ужасны, что страшили даже силачей вроде боцмана Негошича. Смывая с досок палубы кровь и выметая из шпигатов зубы после экзекуций, мы испытывали признательность за то, что императорская и королевская дисциплинарная система, пусть даже бессмысленная и во многом вздорная, всё же предоставляла некоторую защиту от людей такого сорта.

А мы, кадеты, определенно нуждались в любой защите, какая только возможна, поскольку находились на борту корабля в самом незавидном положении. В большинстве случаев мы стояли на самом низком уровне, как самые младшие из членов экипажа — кроме разве что корабельного кота — и подвергались всевозможным нападкам со стороны боцмана и его пособников. Нас гоняли линьками с одного конца корабля на другой, в любую погоду отправляли на мачты за малейшую провинность, да и вообще относились как к пустому месту.

В то же время мы оставались учениками, от которых большую часть времени ежедневно требовали присутствия в «плавуниверситете» на юте. Нам полагалось постоянно вести себя как подобает будущим офицерам и джентльменам. Однако пока что единственными признаками нашего будущего членства в императорском и королевском корпусе морских офицеров были, во-первых, разрешение пользоваться одним, и только одним из офицерских гальюнов под кормой (за это привилегию мы расплачивались чисткой всех остальных); а во-вторых, мы допускались на обед и ужин в капитанскую каюту — правда, лишь для того, чтобы

прислуживать за столом. Обычно этому предшествовало торопливое мытье в ведре на палубе после целого дня, проведённого за смолением такелажа.

Капитан намеревался укрепить дух воинского единения между офицерами и учёными экспедиции, а также внушить нам, кадетам, что товарищескую атмосферу и светские манеры во всей их красе можно найти (по его мнению) в лучшей офицерской кают-компании. Нам следовало впитывать этот дух, час за часом стоя у переборки с салфеткой через плечо, в ожидании, когда потребуется наполнить бокалы или унести тарелки в каморку стюарда.

Большинству кадетов эти званые обеды казались чрезвычайно скучными, но Гаусс и я, будучи любопытными по натуре, быстро поняли, что, если держать открытыми глаза и уши, можно узнать много интересного и в большинстве случаев весьма полезного, особенно если пересказать это следующим утром коку на камбузе. Вскоре господа Гаусс и Прохазка сделались основными поставщиками новостей для традиционного корабельного «камбузного телеграфа». Мы быстро обнаружили, что разумно деля и контролируя полученную информацию и помогая друг другу продуманными утечками, можно получить кучу привилегий от «Шмутци» — толстяка Хейдла, жирного властелина камбуза — например, разрешение сушить одежду у камбузной плиты или позволение выпекать ужасную липкую субстанцию из сушёных фиг, чёрной патоки и раскрошенного цвибака.

— Ну, молодой человек, что сегодня?

— Мы отклоняемся к Гренландии, уже решено. Это всё капитан, исследование Арктики, понятно? Будем искать магнитный полюс.

— Бред сивой кобылы. Кто тебе такое сказал?

— Наверное, мы получили секретный приказ в Гибралтаре. Можешь спросить кадета Гаусса, если не веришь. А жена шиффслейтенанта Свободы снова в положении.

— Опять? Кажется, это уже седьмой, а ему ведь только тридцать. Как по мне — лучше бы, когда он в отпуске, она покупала ему наборы для выпиливания. Но знаешь... — кок понизил голос, — им же пришлось пожениться. Никому ни слова, но поговаривают, будто она незаконная дочка эрцгерцога Рудольфа, внучка Старого Господина. Ну, значит, или Свобода не настоящее его имя, как говорят...

— А можно оставить эти носки здесь сушиться?

— А ну брысь из моего камбуза, нахальный юнец... ну ладно, давай их сюда...

Дни проносились как сон. Ровный северо-восточный ветер нёс корабль

вперёд, большую часть пути мы шли, обрасопив реи прямо, почти не прикасаясь к ним — разве только в начале каждой вахты чуть меняли положение фалов и других концов вокруг кофель-планки и кофель-нагелей, чтобы избежать перетирания, и поднимались на мачты, чтобы ослабить канаты, поскольку постоянное трение такелажа в одном и том же месте могло повредить паруса. Ночные вахты со Свободой или Залески нам нравились гораздо больше, чем с линиеншиффслейтенантом Микуличем, ярым приверженцем сверхбдительности, хотя в этом не было ни малейшей нужды в такую устойчивую и ясную погоду с попутным ветром.

Микулич настаивал, чтобы мы находились на палубе на протяжении всей вахты. Однако даже так оставалась возможность получить неожиданный пинок пониже спины за то, что прислонился к вентиляционной трубе. Почти полное безделье оказывалось ужасным испытанием — нам приходилось лишь смотреть вокруг и стоять у штурвала. Когда же Микулич решался разнообразить наше ничегонеделание — мы стояли, как восковые фигуры, даже разговоры строго запрещались, — то обычно давал нам душераздирающе бессмысленные и нелепые задания — например, раздирать ногтями старые канаты или соскабливать стружки с ручки метлы осколком стекла от разбитой бутылки, или стирать в металлические опилки кусок железа изношенным напильником.

Залески и Свобода относились к ночным вахтам более разумно. Когда все распределялись по местам и каждый час менялись дежурные, чтобы будить при необходимости, то они не возражали, что мы приносим на палубу одеяла и тайком досыпаем столь необходимые часы под шлюпками или за бухтами каната. При этом они постоянно проверяли нашу готовность собраться по свистку — мы выпрыгивали отовсюду, где прятались, как мертвецы в судный день со старинной картинки. Но ненужных требований к дисциплине эти офицеры не предъявляли. Годы спустя, будучи капитаном подлодки во время Великой войны, я старался придерживаться именно такого порядка. И никто ни разу меня не подвел.

Мы шли вдоль побережья Сахары, мимо Канар и островов Зелёного Мыса, постоянно держась подальше в море, чтобы в полной мере захватить ветер. Впрочем, «Виндишгрец» не слишком хорошо подчинялся ветру — обычно мы делали в среднем шесть-семь узлов, даже при полностью поставленных парусах. Корабли с прямыми парусами всегда медлительны при попутном ветре, поскольку паруса бизань-мачты закрывают паруса впереди, и большую часть времени нам приходилось идти с лиселями, чтобы увеличить площадь парусов. Для корабля водоизмещением более

двух тысяч тонн тысячи восьмисот квадратных метров парусов было, конечно, недостаточно. А по сравнению с новыми стальными виндjamмерами паруса «Виндишгреца» располагались крайне нерационально, и почти при любом курсе по меньшей мере один парус бесполезно хлопал на ветру, закрытый теми, что с наветренной стороны.

Обводы корпуса корвета не отличались особой мореходностью, и в любом случае, наличие вспомогательного парового двигателя, похоже, каким-то мистическим образом навредило его мореходным качествам: возможно из-за того, что дейдвудная труба гребного вала нарушила кормовые обводы подводной части корпуса в районе руля, возможно из-за того, что вес двигателей и угольных ям посередине корабля каким-то неуловимым путем подействовал на его баланс. Самый выгодный курс для него был при ветре двадцать градусов позади траверза, на котором он мог ненадолго разогнаться до скорости свыше десяти узлов. Но на всех остальных курсах корвет был посредственным; особенно плох — лавируя против ветра, когда он становился медлительной консервной банкой, склонной уваливаться под ветер в крутом бейдевинде и предельно несклонной приводиться к ветру при повороте оверштаг.

Но так всегда с парусниками: два идентичных корабля, построенные по одному проекту на одной и той же верфи, часто имели совершенно разные мореходные качества. В наши дни люди грезят о романтике старых парусников и поэтично превозносят их «характер», но я, плававший на борту последних из них, склонен думать фразами в стиле «Обвиняемого охарактеризовали в суде как человека с дурной репутацией».

Тем не менее, они, несомненно, великолепно смотрелись под всеми парусами: я готов первым это признать. И особенно такой корабль, как «Виндишгрец», парусное вооружение которого определенно устарело даже для 1902-го, вообще-то, оно не выглядело бы слишком неуместным и в 1802-ом. Даже число торговых парусников к концу века уменьшилось, по мере того как начала возрастать конкуренция со стороны пароходов, так что военный корабль под полными парусами был действительно редкостью. Мы обнаружили это на шестой день после выхода из Мадейры, когда нас обогнал пароход «Дегема» компании «Элдер-Демпстер», направлявшийся в Лагос.

Он подошел поближе, и его пассажиры столпились у поручней, чтобы нас рассмотреть. Сначала нам это внимание польстило, и мы размахивали фуражками со снастей. Но по мере того как они проплыли мимо, оставив нас кашлять в дыме из трубы, нам в голову пришло, что, возможно, их любопытство — это не совсем восхищение. До этого мы не особо

задумывались о том, что плывем на парусном военном корабле в век линкоров и тридцатиузловых эсминцев. Тут мы внезапно засмутились, примерно, как человек, вышедший на улицу в хорошо сшитом, но древнем костюме, обнаруженном в глубине шкафа, и внезапно понимает, что прохожие на улице и крышах автобусов, которые поворачиваются на него посмотреть, на самом деле смеются над ним. Однако нам лишь оставалось привыкнуть к тому, что нас воспринимают как некое зрелище.

С деньгами в императорском и королевском флоте было туго, и ассигнования на покупку угля в иностранных портах выделялись самые минимальные. Но ветер оставался бесплатным, и мы пользовались им, сколько хотели. А чего ещё ожидать от правительства, которое, как всем известно, назвало наш корабль «Виндишгрец» вместо правильного «Виндиш-Грец» только потому, что при отправке телеграмм первое считается как одно слово, а второе как два?

Десятого июля мы проплыли мимо островов Зелёного Мыса, затем направили бушприт корабля на юго-восток, чтобы обогнуть выпуклость западной Африки. Пару дней нас несли вперед пассаты, затем они ослабли и утихли, когда мы вошли в зону тропического штиля, знаменитую экваториальную штилевую полосу. Следующие пять дней мы провели, перебрасывая реи под малейший порыв ветра; иногда скользя вперед со скоростью пары узлов, чаще стоя на месте, качаясь на медленном, почти незаметном волнении океана. Девять или десять раз в день нас поливали дрейфующие по морю тропические дожди, потому что на берегу был самый разгар сезона дождей. Пару раз мы чуть не угодили в смерч, а двенадцатого июля, сидя на переднем салинге, я насчитал не меньше десятка смерчей одновременно.

Достигнув десяти градусов северной широты, мы вошли в зону распространения малярии, как определило императорское и королевское Военное министерство в далекой Вене. С этого момента и до тех пор, пока мы находились в пределах десяти градусов от экватора и меньше чем в пятидесяти милях от берега, каждый был обязан принимать по утрам дневную дозу в пять граммов хинина, ровно в восемь часов в присутствии корабельного врача Густава Лучиени. Нам также запрещалось появляться на палубе в дневные часы без тропических головных уборов. Императорские и королевские кригсмарине из экономии никогда не выдавали плавающим в тропиках командам, не только солнцезащитных шлемов, но даже стильных и дешевых соломенных шляп, как в британском и голландском военно-морском флоте.

Вместо этого мы прикрепляли кусок белой ткани к задней части

обычного головного убора, закрывающий затылок и шею в стиле французского иностранного легиона или Генри Мортон Стэнли. Результат был настолько смехотворным, что через два дня капитан постановил — за исключением десантных операций на берегу можно без этого обойтись, если постоянно использовать головной убор во время пребывания на солнце. К счастью, эта конструкция опять заняла свое место в рундуках и оставались там, пока мы находились в море. Насколько мне известно, не произошло ни единого солнечного удара.

За время моих вечерних «ожиданий» за капитанским столом я понял, что первой стоянкой в Африке будет Фритаун в британской колонии Сьерра-Леоне, после чего мы продолжим двигаться вдоль побережья к мысу Пальмас, как запланировано. Вызывала некоторое волнение перспектива первой высадки на этот континент, который — если посмотреть со шпилья собора святого Стефана — представлял собой обширное, неизведанное пространство пустынь и жарких зловонных джунглей, населенное львами, слонами и племенами людоедов. Мы размышляли, не стоит ли даже во Фритаун сойти на берег вооруженными, опасаясь диких зверей и стад буйволов. Кроме нашего капитана только профессор Сковронек бывал в дальних районах Африки.

Профессор был энергичным, болтливым и в немалой степени обладал актерским даром. Он каждый вечер разглагольствовал за столом, одинаково заставляя замолчать и матросов, и ученых своими познаниями почти любого мыслимого предмета. Стоя за его спиной, я желал когда-нибудь узнать хотя бы половину, поскольку профессор, казалось, знал обо всем.

Ему как-то удавалось не наскучить: очень несимпатичный человек, пожалуй, но не утомительный. Напротив, даже те, кому он искренне не нравился, с мрачным восхищением слушали его рассказы. Я подозреваю, что у многих из присутствующих было сильное желание подловить его, опровергнуть, заставить окончательно замолчать. Но если и так, то зрители были обречены на разочарование, потому что профессор Сковронек обладал даром прирожденного политика выворачивать критиканов наизнанку, а также пуленепробиваемой уверенностью в себе.

— Конечно, — говорил он, — я много путешествовал по Африке за эти годы. С точки зрения антропометриста там самый удивительный исходный материал на земле: народы, сохранившиеся в примитивном варварстве в течение тысячелетий или фактически вырождающиеся от отсутствия контакта с белыми. В Южной Америке расы смешивались так долго и так часто, что лишь в нескольких отдаленных районах амазонских

джунглей теперь можно найти чистые доколумбовые экземпляры. Но Африка уникальна: еще несколько лет назад сотни племен вымирали от контакта либо с развитыми цивилизациями, либо, по большей части, друг с другом; едва ли у них найдутся следы генетических примесей от высших рас. Увлекательно. Знаете ли вы, что у среднего негра емкость черепа на двадцать процентов меньше, чем у среднего тирольца? Если бы он родился в Инсбруке, то негра бы классифицировали как микроцефалического кретина? Неудивительно, что они еще не изобрели колеса.

— Однако, герр профессор, — ответил линиеншиффслейтенант Залески и положил вилку, — что это доказывает? Я читал где-то несколько месяцев назад, что у среднего японца, среднего американского индейца и среднего папуаса больше мозгов относительно массы тела, чем у среднего европейца. И почему вы так уверены, что тирольцы изобрели колесо, даже если у них действительно больше мозгов, чем у темнокожих? Или к этому выводу привело то, что они используют емкость своего черепа? Большинство тирольцев, которых я встречал, были тупыми как бараны...

Капитан ударил ложкой по столу.

— Герр шиффслейтенант, это замечание неуместно.

— Приношу извинения, герр командир.

Профессор улыбнулся.

— Да, герр лейтенант, я ценю вашу начитанность в области антропометрии. Но я также недавно прочитал статью моего старого друга, профессора Людеке из Берлина, одного из самых выдающихся мировых авторитетов в этой области, и он окончательно доказал то, что остальные подозревали: емкость черепа — всего лишь одна из многих характеристик, которые определяют врожденную изобретательность и благородство духа нордических народов или невежественную отсталость низших рас. Извилины на поверхности мозга — один фактор; но более важный — распределение суммарного объема мозга. У негров, как вы видите, плохо развиты лобные и височные доли, что приводит к серьезным ограничениям творческих и индуктивных способностей. Аналогично есть соответствующее сверхразвитие базиокципитальной области в верхней части позвоночника: части мозга, отвечающей, как известно, за эмоции и чувственные импульсы. Всем известно — негром нельзя управлять, обращаясь к его интеллекту или к чувству собственного достоинства, лишь физическим наказанием и отказом в низменных желаниях. Тут нечего и обсуждать: с научной точки зрения это доказанный факт, и отрицать это — значит отрицать и природу, и закономерность научного процесса. Чувственность темнокожего и его интеллектуальная и творческая скудость

— такая же часть его физического склада, как темные ногти и курчавые волосы.

— Понятно, — сказал линиеншиффслейтенант Микулич, — полагаю, господин профессор, что вашу систему черепных измерений можно применить и в других выводах?

Сковронек самоуничижительно улыбнулся и оттолкнул от себя тарелку, прежде чем устроиться стуле поудобней.

— Мне льстит, герр лейтенант, ваша характеристика моих идей как «системы»: я пока не считаю возможным описывать свои рабочие гипотезы в таких терминах. Но чувствую, что через несколько лет они станут полной системой краниометрии, самостоятельной наукой, и как только это случится, от гипотез несомненно перейдут к более широкому применению. Учитывая достаточно большой массив данных, на котором можно основывать таблицы, и достаточно чувствительные измерительные приборы, в принципе вполне возможно классифицировать весь человеческий род (или по крайней мере население европейских государств) согласно расовым критериям. Как только это будет сделано, не вижу оснований, почему, например, не ввести евгенистическую политику, ограничивая прирост населения более достойными элементами общества. Я также предвижу, что окончательно разработанную систему можно будет применить к судебным и образовательным формациям.

— Каким образом, можно поинтересоваться?

— Ну, для применения своего рода скользящей шкалы в уголовных судах, например. К людям с черепным развитием более низкой категории нельзя применять такие же наказания, как к людям, наделенным наиболее логическим ходом мыслей и моральными способностями. Одних можно было бы пороть, других штрафовать или подвергнуть насмешкам за то же самое преступление. Если научиться предсказывать на основе строения черепа, как будут интеллектуально развиваться дети, тогда в школах можно удачно сосредоточить усилия по обучению способных и назначить чисто профессиональное обучение для врожденно глупых. Также я мог бы предварительно предположить, что некоторые национальные конфликты нашей собственной монархии можно решить с большим успехом, обратившись за помощью к науке, а не к бесплодному классу политиков и бюрократов. Если классифицировать население территории, скажем, Каринтии, по форме черепа, а не по вводящему в заблуждение критерию употребления жителями немецкого или словенского языка, возможно, население можно было бы обменять и справляться с делами более эффективно. В конце концов, когда мы полностью с научной точки зрения

определимся, что составляет расу, тогда возможно предотвратить их дальнейшее смешение.

— И как я понимаю, герр профессор, — спросил капитан, — эту науку о классификации черепа можно применить ко всему человечеству? Если так, тогда почему в нее входит цвет кожи? В конце концов, я встречал весьма немного черных шведов.

— Конечно, герр командир. Принимая вашу точку зрения насчет цвета кожи, в первую очередь, я согласен, что она действительно некоторым образом влияет на расовую классификацию. Но не так сильно, как кажется. Пятьдесят лет назад в широком смысле предполагалось, что кожа становится темнее по мере снижения темпа эволюции. Но это не совсем так. Действительно, скандинавы светлокожие и голубоглазые, а африканские негры или австралийские аборигены — темнокожие. Но бушмены пустыни Калахари, как обычно признают, являются самой низкой ступенью так называемого человеческого рода: не только существуя на едва вообразимом уровне варварства, но также и анатомически отличаясь даже от негров до такой степени, что гибриды между ними и представителями более высоких рас так же бесплодны, как потомки кобылы и осла. Но тогда теоретически можно предположить, что они будут черными как смоль, а они на самом деле грязновато-жёлтого оттенка. Нет... — он постучал по голове указательным пальцем, — ...ответ заключается в черепе, и это бесспорно. Как только мы установим вне всякого сомнения, какие особенности формирования черепа делают шведа шведом и бушмена бушменом, и не раньше, тогда, по моему мнению, категорию человек разумный придется немного пересмотреть. Так называемый человеческий род давно нуждается в классификации на подвиды.

— Но герр профессор... — включился отец Земмельвайс, капеллан: робкий молодой человек с розоватым лицом, который обычно избегал споров, насколько возможно. — Но если вы «рассортировали» человеческую расу, как вы выразились, на земле, то что происходит на небесах?

Сковронек сдержанно усмехнулся.

— Преподобный отец — кстати, так к вам следует обращаться? Как агностик и рационалист, я не имею собственного мнения по этому вопросу. Я учёный, и боюсь, моя компетенция заканчивается примерно в десяти километрах над уровнем моря... — Все рассмеялись, а отец Земмельвайс покраснел и попытался нырнуть в ворот своей сутаны. — ...Но осмелюсь сказать, что если ваше «Царствие Небесное» и существует, то, попав туда,

мы вполне можем обнаружить, что оно уже упорядочено по национальному или расовому признаку...

— Ну что за скука, — перебил Залески. — Тогда у них там должно быть что-то вроде таможенного поста: «Будьте любезны предъявить багаж для проверки — тут у нас недавно провезли контрабандой кучу арф, поскольку на этой стороне границы пошлина на струны ниже».

За столом засмеялись. Но Сковронека это не выбило из колеи и не смутило — очевидно, он привык иметь дело с оппонентами.

— Вполне возможно, герр лейтенант, вполне возможно. Печально, что нам, ученым, всегда приходится сталкиваться с предубеждением и поверхностными насмешками со стороны неосведомленных. Но тем не менее, мы настаиваем. Так или иначе, прошу прощения, господа, мне нужно пройти в свою каюту. Я надеюсь, завтра мы сойдем на берег во Фритауне — и для меня, по крайней мере, начнется серьезная научная работа в этой экспедиции.

Мы мельком увидели Африку следующим утром, спустя приблизительно час после рассвета. Ночью на Гаусса и меня, вперёдсмотрящих с левого и правого борта соответственно у поручней полубака, запакованных в дождевики, дрожащих в водянистом раннем утреннем холоде после липкого тепла предыдущего вечера, потоком обрушился ливень. Видимость составляла приблизительно полмили, но вдалеке на востоке мы ощутили задумчивое присутствие великого, таинственного, почти неизученного континента; как нам показалось, даже почувствовали слабый органический запах гниющих листьев в воздухе. Невыносимая скука овладела мной на влажной палубе: ни единого судна или любого другого объекта в поле зрения на серовато-синем диске моря. Потом вдруг я заметил ее. Проклятье — она незаметно подобралась к нам прямо по курсу.

— Лодка слева по носу!

Вся вахта помчалась к фальшборту, чтобы посмотреть, а линиеншиффслейтенант Свобода взбежал по трапу на полубак. Это было настоящее долбленое каноэ, приблизительно восьми метров длиной и острое как игла с обоих концов, веслом управлял один человек, хотя мы были в нескольких милях от берега. Когда он развернулся бортом, я увидел на черном борту надпись оранжевыми буквами: «никто не сравнится с богом». Гребец остановился в нескольких метрах от нас и поднялся. Это был высокий, прекрасного телосложения темнокожий мужчина, абсолютно голый, не считая большого жесткого воротника и старой шляпы-цилиндра, разукрашенной полосками красной и синей краски. Он наклонился и

протянул нам огромную связку бананов, при этом приподнял цилиндр свободной рукой и обратился к нам с улыбкой, как будто внезапно открыл крышку пианино.

— Ахой, моряки, и доброго вам утра. Я сэр Перси с Ви-один. Наконец-то Африка.

Сэр Перси с Ви-один поднялся на борт, чтобы продать нам бананы, горько жалуясь, что после завершения англо-бурской войны дела плохи, военные корабли больше не появляются. Мы с Гауссом впервые попробовали бананы. Кадет Гумпольдсдорфер тоже купил один, но съел кожуру и выбросил мякоть за борт. Потом он страдал от ужасных болей в животе. Мы ободрили его, уверив, что у него холера и наверняка к ночи он умрет.

Всё утро стоял штиль. В конце концов, явно разочарованные, мы раскочегарили котлы, подняли трубу и запустили паровой двигатель, чтобы войти во Фритаунскую гавань под паром (к невыразимому неудовольствию нашего капитана), который рассматривал использование двигателя как оскорбление своей профессиональной компетентности. Возможно, хорошо, что мы так поступили, потому что вход во Фритаунскую гавань под парусом в этот день оказался бы нелегким. Место выглядело очень живописно, издалека, во всяком случае, — со спускающимися вниз к заливу густо покрытыми лесом холмами и затерянными в дождевых облаках вершинами.

Но в это время года всевозможные причудливые нисходящие потоки воздуха спускались с гор, вызывая трудности. Как раз, когда мы готовились встать на якорь ниже Фура-пойнта, на нас обрушился очередной ливень, сопровождаемый мини-тайфуном. Промокнув до нитки, мы изо всех сил пытались снять с подушки становой якорь во время такого мощного ливня, что даже дышать стало трудно. Он лился водопадом вниз по дымовой трубе, затопив топку, и только натянув брезент поверх люков, мы помешали затоплению нижних палуб. Но наконец, когда ливень уже заканчивался, якорь рухнул в воды залива, цепь загремела в клюзе, а облака понеслись прочь через леса над городом, как остатки побежденной армии.

Как нам рассказали, мы прибыли в начале краткого «сухого» сезона — то есть периода случайных перерывов в непрерывном дожде, который длится в этих краях приблизительно с середины июля до середины августа. Несмотря на это, мы ощутили, что пока стоим здесь, не обойтись без ежедневной дозы хинина.

Во Фритауне мы пробыли три дня: как оказалось, более чем

достаточно для осмотра весьма ограниченного числа достопримечательностей города. Свободные от вахты члены команды вывалили на берег, как только бросили якорь; для всех, кроме очень немногих, это было первое посещение чёрного континента. В те дни редко кто в Австрии видел темнокожего человека, разве что необычного лакея в свите какого-нибудь венского магната, но не больше.

Поэтому очень любопытно было понаблюдать, как выглядят эти экзотические люди в естественной среде; и в частности, среди команды бродило желание испытать необузданные чувственные страсти и мускусный аромат африканских женщин; научное любопытство, которое нисколько не притупилось после ознакомительной лекции хирурга по венерическим заболеваниям, сопровождаемой аляповатыми цветными диаграммами, и санитаром, демонстрирующим внушающие страх инструменты, используемые в их лечении — так испанская инквизиция показывала заключенному орудия пыток. Мы, кадеты, в значительной степени были избавлены от этих сомнительных дел, но на следующий день пришли к выводу, что тур по кварталу борделей вызвал большое разочарование.

Местный напиток (как сообщили оставшиеся в живых) был отвратительным, климат на берегу похож на горячую махровую салфетку, а что касается девушек, они пахли не только затхлостью, как влажный стог сена, но и вдобавок были довольно чопорными, будучи по большей части прихожанками англиканской или методистской церкви, и вовсе не горели желанием обжиматься с толпой папистов, если не получают доплату в десять процентов.

Большую часть этого визита, за нами, кадетами, строго присматривали — до полудня второго дня мы работали на борту, а после нам приказали переодеться в парадную форму для присутствия на открытом приеме в резиденции губернатора, расположенной на холме — над городом и прямо под огромным военным госпиталем — как мы узнали, его построили таким большим на случай эпидемии лихорадки. Было чертовски жарко и влажно, даже если дождь ослабевал на несколько часов. Но наши оркестранты приложили все усилия, потя, как вареные раки, в мундирах с высоким воротником, и исполнили Штрауса, Целлера, Миллёкера и многих других.

Губернатор и его жена вступили в светскую беседу и с радостью обнаружили, что мы говорим на весьма похвальном английском — под стать представителям местного сообщества. Женщины нарядились в пышные юбки с оборками и шляпы со страусиными перьями, носить которые в таком климате было настоящим мучением. Как мы поняли,

большинство жителей Фритауна — потомки рабов, высаженных на берег с кораблей, захваченных Королевским флотом. Но присутствовали и гости из числа местных племен: величественные иссиние-черные мусульмане с верховьев плато и местные вожди племени менде. Среди них были две красавицы лет шестнадцати: дочери местного вождя, из школы-интерната на острове Уайт, отдыхающие дома на каникулах.

Мы с Гауссом говорили с ними о погоде и о том о сём, восхищаясь рисунком шрамов на их щеках. Во время беседы одна из сестёр закатила глаза, вздохнула и провела пальцем под воротником закрытой блузки.

— Но неужели, мисс, — сказал я, — живя в этой стране всю жизнь, вы не привыкли к жаре?

Обе рассмеялись.

— Ох, это не столько жара, сколько одежда, понимаете? Когда мы возвращаемся из школы домой, в деревню, мама требует, чтобы мы ходили голыми, как все. Она говорит, что носить одежду незамужним девушкам безнравственно.

Лишь в последний день визита нам, кадетам, дали несколько часов свободы для осмотра Фритауна, в это время дня питейные заведения и дома с плохой репутацией были закрыты. Это действительно оказалось самое любопытное место и совсем не такое, каким я воображал Африку: никаких хижин из тростника в поле зрения, а лишь обшарпанные, грязные улицы — Кларенс-стрит, Гановер-стрит и Бонд-стрит — кирпичные и дощатые дома с чугунными фонарными столбами и полицейские в защитных шлемах в английском стиле, копошащиеся палками среди мусора и заполненных водой выбоин.

Повсюду стервятники, намного меньше размером, чем я представлял: вполне обычная потрепанная домашняя птица, гуляющая по земле и роющаяся в мусоре. Мы с Гауссом пробирались вниз по главному проспекту, Кисси-стрит, от башни с часами к причалу, где стояла лодка, которая должна была забрать нас на борт. Нам пришлось поспешить, потому что огромная масса облаков над морем возвещала о приближении очередного ливня.

Не нашлось ничего стоящего, чтобы купить в качестве сувениров, поэтому мы сделали лишь пару снимков моей фотокамерой и отправили открытки домой из главного почтового отделения, бросив их в красный почтовый ящик с монограммой «КВ». Город скорее разочаровал, а также мы были измотаны изнуряющей, липкий и серой жарой. Торопливо двигаясь по улице, мы остановились и уставились в изумлении. Лачуга называлась «Освежающее бунгало», снаружи висела расписанная вручную

табличка, столь великолепная, что, несмотря на неизбежный ливень, я просто должен был записать это в своем блокноте. Она гласила:

Сочувствующий гробовщик Банги

Строитель для умерших, врачеватель живущих, поставка катафалка и траурной одежды в любой момент. Рожденный сочувствующим, обещаю выполнить эту великую миссию милосердия, похороню умерших как добрый Товия в старые времена.

Советы предпринимателя:

Не живи как дурак и не умирай как большой дурак. Ешь и пей добрый грог.

Сэкономь немного, честно плати долги: будь джентльменом. Молись о счастливой смерти.

Банги сделает остальное, обеспечит вам достойные похороны с небольшой скидкой — Банги так делает всегда.

Реклама так нас поразила, что мы едва успели добраться до пристани и избежать взбучки, после которой нам обоим через несколько дней, возможно, потребовалось бы уценённое милосердие мистера Банги. Смерть и похороны, по-видимому, были главной заботой во Фритауне, город кишел болезнями и пестовал их почти как венцы. Но я полагаю, это вполне ожидаемо в столь пагубном климате. Несколько лет спустя, когда меня временно отправили в британский королевский флот в Госпорт, я говорил о Западной Африке с отставным военным моряком, служившим полвека назад во Фритауне на патрульном корабле, боровшимся с работоторговцами. Он рассказал, что однажды прочитал в приказе перечень работ на день: «Вахта правого борта сходит в восемь склянок на берег для рытья могил; вахта правого борта работает как обычно, сколачивая гробы».

Мы отчалили из Фритауна семнадцатого июля в такой же жуткий ливень, как тот, который приветствовал наше прибытие. Все благополучно вернулись на борт, и кроме головной боли у многих членов экипажа и взволнованных молодых людей, исследующих себя на наличие первых язв и выделений, кажется, никому не стало хуже из-за этого визита вежливости. За пару часов до отплытия прибыл профессор Сковронек. Как только мы высадились, он отправился вглубь страны с группой из пяти человек и теперь вновь появился со своими помощниками, несущими запертый на висячий замок деревянный ящик. Через пару дней после отплытия с нижней палубы пошли слухи, что в ящике шесть или семь человеческих черепов, которые профессор почистил и разложил по полкам

в своей постоянно запертой лаборатории. Это вызвало некоторый испуг: есть у моряков давнее поверье — выход в море с костями мертвецов на борту приносит неудачу.

Во Фритауне мы также обзавелись живым грузом. Эмиссар Министерства иностранных дел граф Минателло высадился на берег на второй день, в белом костюме и огромном тропическом шлеме от солнца со свисающим сзади тканевым клапаном, на всякий случай. Два дня он провел в кишачем тараканами отеле Фритауна и возвратился на борт в сопровождении темнокожего юноши, худого и застенчивого, изящного парня в соломенной панаме, с тростью с золотым набалдашником, моноклем и портсигаром, и ещё вдобавок с ярким тропическим цветком в петлице. Этот таинственный пассажир ничего никому не сказал и, как только появился на борту, скрылся в запасной каюте, где и столовался.

Через камбуз быстро поползли слухи, что этот персонаж на самом деле незаконнорожденный сын нашего капитана, родившийся двадцать пять лет назад от африканской принцессы, когда Старик исследовал Африку. Но эту версию отклонили более сведущие в географии на том основании, что Славец был в Восточной Африке, а не в Западной. В итоге вопрос разрешил Макс Гаусс, который убирал каюту и нашел очень красивую визитную карточку с позолоченными буквами. Надпись ней гласила: «Д-р Бенджамин Солтфиш, магистр искусств (Оксон), доктор философии (Гарвард). Министр иностранных дел объединенного государства побережья Кру». Мы понятия не имели, что он делает на борту корвета. Но точно знали, что в последний день нашего пребывания шифровальные книги достали из судового сейфа, и линиеншиффслейтенант Свобода сошел на берег, чтобы послать массу длинных шифрограмм из почтового отделения на Кисси-стрит. Явно что-то затевалось.

Глава седьмая

НЕЗАНЯТЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Следующие пять дней мы провели в открытом море, двигаясь вдоль побережья Либерии, но не видя его. Обеим вахтам отдали приказ подготовиться к высадке, но не было никаких точных указаний, куда мы движемся.

Мы, кадеты, в результате ежедневных навигационных тренировок, знали лишь то, что когда корабль окончательно лег в дрейф и бросил якорь утром двадцать второго июля 1902 года, мы качались на длинной атлантической зыби примерно в трех милях от безымянного участка побережья примерно в четырех градусах к северу от экватора и в семи градусах к востоку от нулевого меридиана. Когда я забрался на фок-мачту, пристроил в вантах подзорную трубу, вытер пот со лба и уставился в запотевший окуляр, то увидел лежащий вдали плоский и малопримечательный берег.

Да, он лежал там: лента темно-зеленого леса — пальмы, насколько я способен был разобрать — над каменистым берегом, пляж с темно-желтым песком, затем белая кромка пены, где океанские волны врезались в прибрежную полосу. Я повернул подзорную трубу чуть восточнее — и мое сердце подпрыгнуло, как у первооткрывателей-португальцев, впервые прибывших на это побережье пятьсот лет назад.

Загадочное белое пятно, замеченное мною с палубы, оказалось ничем иным, как замком: маленькой крепостью, нависающей на утесе над устьем реки. Среди пальм за рекой я мог даже разобрать соломенные крыши туземной деревни. Наконец-то Африка, подлинный Черный континент, в те дни лишь наполовину исследованный и хранящий все открытия и чудеса, о которых мог грезить шестнадцатилетний подросток, сидя зимним вечером в заснеженной Моравии, читая о золоте и слоновой кости, работоторговцах и диких владыках, пиратстве, сокровищах и всём-всём-всём.

Еще несколько часов, и я наконец ступлю на этот берег, чтобы испытать его дикие тайны.

Высадку отложили на день из-за плохой погоды — ливней с ураганами, ворвавшихся из Гвинейского залива. Но прокравшись вечером в

картографическую каюту, пока отвлекся офицер на вахте, я сумел хотя бы узнать кое-что о таинственном берегу, у которого мы стояли. Замок, как я узнал, оказался бывшим датским торговым постом под названием Фредериксбург, примерно в десяти милях к западу от мыса Пальмас, а река, чье устье я увидел, называлась Бунс, от нее же происходило имя туземной деревни, отмеченной на карте как Бунсвилль. Местность лежала, по крайней мере номинально, прямо на границе Республики Либерия. Или, если быть более точным, внутри треугольника пунктирных линий, обозначенных как «Спорная область: границы еще (1901) ожидают урегулирования».

Утром следующего утра, когда погода ненадолго прояснилась, к берегу отправился восьмиметровый катер под командованием фрегаттенлейтенанта Родлауэра. Целью этой миссии были замеры глубины. Песчаная отмель пролежала вдоль побережья примерно в миле от берега, и, хотя напротив устья реки было глубже, чем в других местах, в лоции она описывалась как «залегающая на глубине менее четырех морских саженей во время высшей точки прилива, перемещается». Если бы глубина оказалась достаточной, «Виндишгрец» попытался бы бросить якорь в устье Бунса; если нет, нам придется бросить якорь в открытом море и грести к берегу на шлюпке; что, вероятно, не так уж и плохо, поскольку лоция описывала берега бухты Бунс как «низменные и нездоровые».

Она определенно оказалась нездоровой для Родлауэра и его команды: выжившие вернулись на корабль через несколько часов, выглядя весьма жалко в туземной лодке, приводимой в движение девятью или десятью обнаженными черными гребцами и украшенной безжалостно уместным лозунгом «на что человек способен, то и делает». Проплывая над отмелью, катер попал в сильное волнение, и произошло вполне ожидаемое: рулевой запаниковал и позволил волне потащить лодку вперед, пока та не начала двигаться со скоростью волны и руль не перестал работать. Волна подняла корму, нос зарылся, и катер перевернулся, накрыв двадцать человек, очутившихся в воде.

К счастью, к ним уже приближалась местная лодка, чтобы сопроводить до берега. Местные попытались сообщить об опасности, но Родлауэр не обратил внимания, и шестнадцать почти утонувших успели подобрать, Родлауэр и три моряка пропали. Одно тело выбросило на берег этим же вечером, другое нашли наполовину сожранным акулой на следующий день, но Родлауэра и оставшегося матроса больше никто не видел. Это был полезный урок. Капитан приказал, чтобы с этой минуты все шлюпки плыли на берег только с местным лоцманом, который проведет их

через прибой, каким бы губительным это ни было для престижа белой расы — хотя линиеншифтслейтенант Микулич и ругался с глазу на глаз, что, будь он проклят, если какой-то черномазый станет указывать ему, как управлять шлюпкой.

Это означало, что за пару следующих недель мы увидели кучу местных моряков. Решили, что отмель залегает недостаточно глубоко для того, чтобы корабль безопасно вошел в реку, так что мы оставались на якоре примерно в двух милях от берега и общались с берегом на шлюпках. Это означало, что все время нашего пребывания в районе Фредериксбурга у нас на борту всегда находился местный лоцман, он прибывал с одной из наших шлюпок и ожидал следующей, чтобы провести её на берег. Мы познакомились с ними довольно хорошо, и после того как справились с удивлением от пребывания негров на борту Австро-Венгерского военного корабля, начали им симпатизировать. Они были определенно жизнерадостной компанией. Кру — так они себя называли, хотя на самом деле были представителями народности гребо, одной из групп племени кру, населяющих эту часть западноафриканского побережья.

На протяжении поколений они зарабатывали на жизнь на борту европейских кораблей и поэтому вполне привыкли к белым людям и их странным привычкам. На самом деле немалое число кру служили в прошлом в западноафриканской эскадре королевского военно-морского флота и получили имена вроде Юнион Джек (Джек Британский Флаг), Джимми Старборд (Джимми Правый Борт), Мачтовый Фонарь и Праведный Лом. Некоторые даже немножко выучили немецкий, когда работали пару лет назад по контракту с правительством немецкой Юго-Западной Африки, проводя шлюпки через буруны в Свакопмунде. Обычно они, однако, использовали крио, местную версию «пиджин-инглиша», на котором в те дни говорило все западное побережье Африки.

Для меня он поначалу звучал очень странно, но удивительно, как быстро я к нему привык. Наверное, поскольку английский был для меня иностранным, у меня не сформировалось предубеждений по поводу того, как он должен звучать, а в таком возрасте я воспринимал всё это как восхитительную забаву, а не как оскорбление достоинства. Во всяком случае, нас с Максом Гауссом вскоре назначили полуофициальными переводчиками с крио.

Свою первую поездку к Фредериксбургу я совершил как участник десантной партии на следующее утро после несчастья с фрегаттенлейтенантом Родлауэром. На нашей шлюпке лоцманом был кру

Джимми Правый Борт — уродливый кривоногий парень лет двадцати пяти с громадной башней волос и заточенными зубами. Первым делом после посадки в восьмиметровый катер, качающийся на волнах рядом с «Виндишгрецом», он снял руль — «не пройти через проклятое дерьмо», как он объяснил — и заменил его на запасное весло с кормы. Также он приказал нам опустошить анкерки с водой и бросить их под гребные скамьи в качестве буйков, просто на всякий случай.

Похоже, он знал, что делает, но, когда мы приблизились к ревушим бурунам, не видимым со стороны моря, душа у нас ушла в пятки. К счастью, командующий катером офицер, фрегаттенлейтенант Андреас О'Каллахан дел Монтеспино, был робким молодым человеком и был не склонен отстаивать превосходство белой расы просто из принципа. А если бы стал, то, скорее всего, утопил бы всех нас.

Мы не видели, где волны разбивались над отмелью, но слышали их и чувствовали рывки по мере приближения. Матросы с мрачными лицами налегли на вёсла, а я сидел на корме рядом с лоцманом и переводил его приказы. Он напряженно стоял, расставив ноги в потрепанных шортах, держал весло и изучал море перед собой с предельной сосредоточенностью, высматривая разрывы в волнах и спокойный участок, следующий за двумя или тремя бурунами подряд. Море начало подталкивать нас вперед, весла постоянно скрипели в уключинах. Внезапно он завопил:

— Пошли! Рраз-два, рраз-два!

Я дал сигнал команде удвоить усилия, они уперлись ногами в упоры и напрягли спины, чтобы швырнуть катер вперед.

Шесть, семь, восемь гребков — корма начала проваливаться во впадину, а перед нами вздыбилась волна

— Навались разом назад как в аду!

Гребцы начали грести в обратную сторону, дабы замедлить лодку, а Джимми Правый Борт боролся с рулевым веслом, чтобы выровнять корму к следующей волне. Она подняла нас, промчась под килем.

— Снова вперед — рраз-два, рраз-два!

Мы рванулись вперед вслед за буруном, который только что сделал всё, чтобы лодка потеряла управление и перевернулась. Еще дважды мы проделывали то же самое: рывок — остановка, рывок — остановка. Пока наконец не поняли, что прошли в целости и сохранности, рокот прибоя звучит за нашими спинами, движение лодки стало естественнее и мы до определенной степени защищены от атлантической зыби песчаным валом, который только что пересекли. Джимми Правый Борт ухмыльнулся

заточенными зубами и вытер пот со лба. Единственная неприятность заключалась в том, что нам придется преодолевать буруны каждый раз, когда мы захотим перемещаться между кораблем и берегом. У берегов западной Африки прибой никогда не ослабевает, и куча акул и барракуд ожидают тех, кто обращается с ним без должного уважения.

Не могу сказать, чтобы это опасное путешествие того стоило, когда мы прибыли в более спокойные воды в устье реки. По африканским стандартам это была скорее речушка, чем река; едва ли в сотню метров шириной. Берег поблизости был довольно живописным: очень похожим на тропическую прибрежную полосу, как я всегда ее представлял: буруны, ревущие на коричневатом-желтом пляже с ржаво-красными валунами; лодки, вытащенные за линию прилива; качающиеся кокосовые пальмы; а еще дальше — наполовину скрытые в листве деревенские лачуги с покрытыми пальмовыми листьями крышами приятно сливаются с густой зеленью пропитанного дождем пейзажа.

Несколько человек стояли на песчаном берегу реки со стороны Бунсвилля и наблюдали за нашим прибытием: обнаженные черные дети и женщины в платках на головах и бесформенных, но ярких хлопковых платьях. Эта сцена выглядела бесконечно мирной и спокойной. Когда мы приблизились, я увидел заброшенную каменную пристань на некотором расстоянии от устья реки со стороны Фредериксбурга, чуть ниже крепости. Я также заметил, что крепость, нависающая на утесе посреди деревьев, практически разрушена: окна зияли пустотой, крыша провалилась, куски белой штукатурки осыпались и обнажили каменную кладку.

Наша десантная партия должна была высадиться у крепости, а вторая лодка под командованием фрегаттенлейтенанта Буратовича собиралась причалить к пристани в Бунсвилле. С ними был отец Земмельвайс. Им предстояло похоронить мертвых, которых выбросило на берег после вчерашнего инцидента. Что же касается нас — пятнадцати человек (Джимми Правый Борт попрощался с нами и прыгнул за борт, чтобы доплыть до берега, когда мы приблизились к Бунсвиллю), то цель нашей экспедиции наверх к крепости была неочевидной — ведь крепость определенно покинули много лет назад. Но мы взяли винтовки и абордажные сабли, фрегаттенлейтенант О'Каллахан надел черно-желтую портупею и, после того как мы причалили и построились на каменной пристани, мы отправились вверх по извивающейся мощеной дороге с горнистом впереди и австрийским морским знаменем на флагштоке.

Греющиеся на солнце змеи в тревоге уползали прочь, а ярко-зеленые ящерицы с красными воротничками неслись в кусты на задних лапах, когда

мы маршировали вверх к крепости, стоящей примерно в километре от пристани. Всё это казалось слишком церемонным по отношению к заброшенному остову здания, потому что по мере того, как мы взбирались к воротам, уже потев от влажной утренней жары, мы увидели, что торчащие из амбразур пушки наклонены под всевозможными углами, лафеты давно съедены термитами, лианы пожирают стены.

Дорога еще оставалась в приличном состоянии, не считая случайных корней, вздымающих покрытие, но свод ворот пустовал, не считая козлиного скелета, ободранного падальщиками дочиства. Массивные железные дверные петли были еще вмурованы в стены, но сами ворота не сохранились. Над сводом, размытые годами дождей и солнечного цвета, виднелись герб и надпись: «Фредерик IV, король Датский, построено в MDCCXXVII»

Значит, всё это построили в 1727 году. Как давно крепость покинули? Как минимум несколько десятилетий назад, судя по сцене, которую мы увидели во дворе крепости. Африканская растительность быстро отвоевывала своё. Молодые деревца толщиной с мою талию пробивались сквозь трещины в стенах, а кусты и лианы всех видов торчали в изобилии из пустых дверных и оконных проемов. Только подвалы под крепостью остались неповрежденными. Мы с Гауссом спустились по каменным ступеням, ведущим к подвалу из двора: мрачным, промозглым сводам, перекрытым массивными железными решетками. Вглядываясь в эти скорбные, гулкие пустоты, которые почему-то ни один из нас не стремился особо исследовать подробнее, и созерцая массивные замки на решетках, мы поняли, что чем бы торговая станция ни торговала в прошлом, ее товар определенно держался под очень строгой охраной в ожидании погрузки. Несмотря на жару, когда мы присоединились к остальным, то оба немножко дрожали от необъяснимого озноба.

Но мы были тут не как туристы: фрегаттенлейтенант О'Каллахан очевидно имел определенные приказы. Десантной партии велели попарно провести быстрый осмотр крепости и окрестностей и отчитаться через полчаса во дворе. Тем временем нам с Гауссом передали знамя на флагштоке и приказали найти надежное место для его установки. Мы забрались по каменным ступеням на стены и направились вдоль них к одному из бастионов, обращенных к устью реки — единственному, чья плоская крыша не так сильно поддалась атакам термитов и дождя. Несколько пушек на чугунных лафетах все еще были наведены на море. Наконец, мы нашли дыру в каменном покрытии, подходящую для установки флагштока.

— Разрешите доложить, все готово, герр лейтенант, — закричали мы вниз в гулкий двор.

— Очень хорошо: ждите там и поднимите флаг, когда я отдам приказ.

Мы подождали, пока остальные вернутся с краткого осмотра крепости и построятся во дворе внизу, на чистом участке в центре, где вторгающийся кустарник еще не сместил плиты. Когда все были готовы, старшина завопил «Hab 'Acht!», и громыхнув ботинками, матросы встали по стойке смирно. Фрегаттенлейтенант О'Каллахан вытащил саблю, горн протрубил «General-marsch» в спертый, полный стрекотания насекомых воздух, и серые попугаи, пронзительно и тревожно вереща в, взметнулись с деревьев вокруг крепости.

Мы с Гауссом подняли знамя. Оно вяло затрепетало на слабом морском ветерке, когда мы воткнули основание флагштока в дыру между камнями. Лейтенант в салюте поднял саблю к потному лбу, а матросы взяли «на караул». Красно-бело-красное знамя имперской Австрии реяло над укреплениями Фредериксбурга. Несколькими мгновениями спустя с другой стороны реки до нас донесся треск выстрелов. Десантная партия Буратовича произвела три залпа над могилами утонувших накануне моряков. Каждый из отрядов по-своему вступал во владение территориями в Африке.

По-видимому, так уже делали многие. Перед тем как мы покинули Фредериксбург и вернулись к пришвартованному на пристани катеру, мы с Гауссом и два матроса пошли взглянуть на то, что они обнаружили в кустах за крепостью. Это было старое кладбище, ряд за рядом покрытых мхом надгробий, пьяно наклонившихся или свалившихся в заросли. Ряд у входа состоял из более высоких и искусно сделанных надгробий. Мы соскоблили мох с некоторых из них абордажными саблями: Септимус ван Хелсен, губернатор, май 1735, Джордж Эбельтофт, губернатор, декабрь 1735, Педер Свенсен, губернатор, март 1736, Дженс Карстен, губернатор, апрель 1736 и так далее, и тому подобное. В те дни перспективы служебного роста в Датской Западно-Африканской компании были прямо-таки великолепные.

У нас имелся хинин и все ресурсы современной тропической гигиены на борту военного корабля, стоявшего на якоре в паре миль от берега, вне досягаемости москитов — как недавно доказал профессор Кох, подлинных разносчиков малярии. Но всё равно, когда мы вдыхали поднимающийся с реки странный, сладковатый аромат разложения, запах прелой растительности африканских прибрежных болот, то искренне надеялись, что мы не слишком задержимся на этом побережье.

Вернувшись вечером на корабль, я получил инструкции ждать ужина в кают-компании, и мне едва хватило времени, чтобы сменить пропитанный потом парадный белый мундир. Теперь наступила очередь ораторского искусства графа Минателло, поскольку профессора Сковронека этим утром перевезли на берег, и он еще не вернулся. Граф и сам побывал днем на берегу, чтобы поговорить со старостой в Бунсвилле. Облачился он в подходящий на все случаи жизни наряд исследователя, который мог продаваться только в Венском универсаме: тусклый шлем цвета хаки, омарообразный панцирь из щитков и ремней, бриджи цвета хаки и ботинки с высокой шнуровкой — его слуга явно потратил добрую часть утра, чтобы ее зашнуровать, и большую часть вечера, чтобы расшнуровать.

Когда подали ужин, снова шел дождь; он стеной лился за открытым иллюминатором, как театральный занавес, гремел гром, молнии сверкали в тусклом, водянистом полумраке, какой мог бы возникнуть на дне пруда. Всепроникающая влажность, казалось, даже затуманивала масляные лампы, свисающие с палубных бимсов над столом, круги желтого света качались над скатертью и столовыми приборами, вместе с кораблем, перекатывающимся на нескончаемой зыби.

— Фредериксбург, — сказал капитан. — откуда я помню это название? Напомните мне, герр граф, не здесь ли что-то случилось в далеком шестьдесят четвертом?

— Да, герр капитан, здесь, хотя неудивительно, что вы об этом не помните. Могу вас заверить, что откапывание деталей из архивов Министерства иностранных дел заняло у нас немало времени.

— Не здесь ли старый Суботич на «Эрцгерцоге Леопольде» потопил датский корабль и захватил крепость или что-то в этом роде? Я не помню деталей, потому как плавал в Северном море во время Шлезвиг-Гольштинской кампании, но кое-что об этом слышал, когда мы вернулись в Полу.

— Да, герр капитан, совершенно точно. В мае 1864-го фрегаттенкапитан Джованни Суботич фон Мастенвальд, капитан императорско-королевского фрегата «Эрцгерцог Леопольд», действительно высадил матросов в Фредериксбурге и захватил датскую шхуну с грузом пальмового масла. Но что касается захвата крепости, там вроде бы и нечего было захватывать — датчане покинули ее еще несколько лет назад. В соответствии с нашими соглашениями, датское королевство построило Фредериксбург в 1720-ых годах, получив это место от шведов по Утрехтскому договору, а шведы заполучили его в 1697-ом по Рейсвейкскому договору от французов, которым уступили его в 1656-ом

году голландцы, захватившие его у португальцев в 1630-ом. Изначально это был пост работорговли, как и все остальные торговые форты вдоль побережья, но в 1780-ом датчане упразднили рабство и впоследствии так и не нашли применения этому месту, за исключением вялой торговли пальмовым маслом. Они попытались продать крепость Британии где-то в 1850-ых годах, но британцы тоже в ней не нуждались, а кроме того считали, что крепость может находиться на либерийской территории. Так что датское правительство просто забросило крепость году эдак в 1860-ом: вывезло всё ценное и бросило остальное разрушаться.

— Но прошу прощения, герр граф, разве я не прав, считая, что здесь был бой в 1864-ом, хотя в крепости и не было гарнизона?

— Едва ли бой, даже не перестрелка — хотя, возможно, фрегаттенкапитан фон Суботич и хотел бы сделать вид, будто что-то такое произошло. Я исследовал вопрос в архивах Военного министерства со всей возможной тщательностью, даже изучил бортовой журнал «Эрцгерцога Леопольда», и кажется, что случившееся, довольно тривиально. В апреле 1864-го фрегат возвращался в Полу из научного плавания в южноамериканские моря. У побережья Бразилии «Эрцгерцог Леопольд» встретился с гамбургским судном, которое сообщил Суботичу, что Австрия и Пруссия находятся в состоянии войны с Данией, и сказал ему (совершенно ошибочно), что датская эскадра курсирует между западом Индии и побережьем Африки. Чтобы избежать её, Суботич пересёк Атлантику по направлению к западной Африке и поплыл на север, держась близко к берегу, чтобы оставаться неподалеку от нейтральных портов. Шестого мая он увидел датское торговое судно у мыса Пальмас и последовал за ним к Бунсвиллю, где обнаружил его пару дней спустя, загружающим бочки с пальмовым маслом для мыльной фабрики в Эсбьерге. Высадившийся десант захватил судно как трофей, позднее его отбуксировали в море и сожгли, поскольку было невозможно сопроводить его в Полу. Но перед тем как покинуть реку Бунс, Суботич послал десантную партию на берег, чтобы поднять австрийский флаг над Фредериксбургом, предъявив на него права именем императора Франца Иосифа.

Славец хохотнул.

— Да-да, похоже на старину Суботича: всегда предъявлять права на то да сё для дома Габсбургов. Он однажды даже предъявил права на Новую Зеландию, когда шел с Вюллерсторфом на борту «Новары». Если бы он оказался в танжерском борделе, то залез бы на крышу с флагом и предъявил бы на него австрийские права.

— Да, у фрегаттенкапитана Суботича, кажется, действительно была склонность предъявлять права на колонии. Помнится, он создал нам кучу проблем с Францией где-то в 1872-ом году, когда предъявил права на Мадагаскар. Но в нашем случае, похоже, требование было основано на чем-то слегка большем, чем порывистость капитана, поднимающего флаг над покинутым фортом работорговцев. Да, молодой человек, еще немного вина, пожалуйста. В любом случае, после предъявления требований на Фредериксбург, он перебрался через реку в Бунсвилль и заключил договор с местным владыкой, королем Хорасом Кристианом Голиафом, по которому тот передал австрийскому правительству все территориальные права на отрезок побережья от мыса Пальмас до реки Цесс — отрезок длиной примерно в сотню километров.

— Но имел ли этот Голиаф право его продавать?

Граф улыбнулся.

— Мой дорогой герр капитан, мое представление об этом деле таково, что за двадцать бутылок шнапса и мешок бус чернорожий мошенник продал бы Суботичу все африканское побережье от мыса Доброй Надежды до Гибралтара. Но какое это имеет значение? Я присутствовал в качестве младшего секретаря на Берлинской колониальной конференции в 1884-ом, и уверяю вас, многие территориальные требования в Африке, признанные этим собранием, были столь же безосновательны, как и это, или даже хуже. Португальцы, помнится, приехали на конференцию с требованиями на две трети африканской территории на основании давно исчезнувших иезуитских миссий и сказок о договорах, заключенных четыреста лет назад пресвитером Иоанном с Мономотапой [\[19\]](#). Удивительно не то, что они потеряли большую часть от своих притязаний, а скорее то, что сумели добиться признания такой значительной их части. Нет, дорогие господа, разница между другими европейскими странами и нами в том, что пока те посылали канонерки и солдат, дабы упрочить свои притязания в Западной Африке, Австрия мешкала и медлила. А в результате Британия, Франция и Германия — да даже Италия, можете в это поверить? — теперь имеют большие и прибыльные колонии в Африке, в то время как у нас ничего нет. Просто подумайте, что мы могли бы сделать, если бы проявили чуть больше решительности. Старый мошенник Леопольд Бельгийский — теперь один из богатейших людей в мире благодаря добыче каучука и алмазов в Конго. Неужели этого не могла бы добиться и Австрия — если бы не сидела у стенки в Берлине, глядя на остальных, как девушка на балу с оспинами на лице и плохими зубами, которую никогда не приглашают танцевать?

— И почему же, с вашей точки зрения, герр граф, мы не приняли в этом участия? — спросил корветтенкапитан Фештетич. — Мой отец в то время был дипломатом в нашем посольстве в Париже, и он обычно говорил, что если бы мы хотели, то могли бы получить свою долю — наша позиция была не слабее немецкой и куда лучше, чем у итальянцев и португальцев.

— Точно, герр капитан, очень точно. Нет, я бы сказал при всем уважении, что это произошло главным образом из-за нашего любимого императора. Вспомните, пожалуйста, что он потерял родного брата в мексиканском фиаско, когда того расстреляли республиканцы. Я уверен, этот опыт внушил ему недоверие к колониальным приключениям. К тому же у нас были собственные проблемы в начале 1880-х с Боснией-Герцеговиной и — при всем уважении к вам — постоянные неослабевающие ссоры с венгерскими партнерами.

Все энергично закивали, даже Фештетич.

— Нет, не то чтобы не было попыток основать австрийские колонии — притязания Тегетгоффа на Сокотру и попытка барона Овербика аннексировать Борнео, например. Дело скорее в том, что когда все эти притязания могли бы вовлечь нас в конфликт с другими странами, император и Баллхаусплатц неизменно поднимали тревогу и сдавали назад. Мы даже уступили голландцам Борнео, боже ты мой! Самое поучительное зрелище, могу уверить: одна из великих европейских держав запугана несколькими миллионами фермеров-сыроваров, живущими в болоте. Нет, господа, это самый невыразительный период в истории монархии, я искренне надеюсь, мы скоро с ним покончим.

Он остановился, чтобы прикурить сигару, осознавая эффект, который его последняя ремарка произвела за столом. Первым заговорил Славец.

— Но герр граф, простите, если я не до конца вас понял. Вы сказали «покончим», но как мы можем это сделать? Как я понимаю, решения Берлинской конференции в том, что касается Африки, окончательны. Мы, несомненно, опоздали на двадцать лет в предъявлении территориальных претензий, особенно здесь, на западноафриканском побережье.

— Не совсем, герр капитан, не совсем. Позвольте мне пояснить. Берлинская конференция положила в основу как главный критерий территориальных притязаний в Африке «фактическое владение» — вот почему португальцы потеряли многое из того, что объявляли своим. Но это позволяло притязаниям быть зарегистрированными как «отложенные» там, где не присутствовали другие государства. И как раз такое притязание было зарегистрировано Австро-Венгрией в отношении этого участка

побережья, на основе аннексии фрегаттенкапитаном Суботичем Фредериксбурга и его последующим договором с королем Голиафом. После конференции документ затерялся в Министерстве иностранных дел, и мы просто забыли об этом. Но он остается в приложении к Берлинской конференции, и, насколько мы знаем, до сих пор никто ни разу его не оспорил.

— А как насчет британцев и французов — не говоря уж о Либерии. Я так понимаю, что Либерия немногим больше чем американский протекторат, так что, возможно, Соединенным Штатам тоже есть что сказать по этому вопросу?

Минателло засмеялся в ответ.

— Верно, британцы только что объявили протекторат над Золотым берегом, а французы, как мы понимаем, потребовали побережье к востоку от мыса Пальмас до Элмины. Но французы ничего не сделали, чтобы подкрепить свои притязания, не считая обустройства аванпоста в Абиджане, а у британцев сейчас дел по горло с аннексией территории вглубь от дельты Нигера. Последнее сделало предельно ясным, что они не заинтересованы в этом побережье: английские торговцы пальмовым маслом изводили Лондон годами, чтобы тот объявил протекторат, но раз за разом получали отказ.

— А Либерия?

— Либерия, мой дорогой герр капитан, не страна, а вымысел дипломатического воображения: псевдо-государство, учрежденное парой сотен американских мулатов, чья власть едва ли распространяется за пределы столицы. Побережье Кру много лет в состоянии восстания. Нет, негры в брюках из Монровии — наименьшая из наших проблем. Страна настолько нищая, что несколько лет назад, когда немецкая канонерка угрожала обстрелять Монровию в отместку за какое-то нарушение, местным белым торговцам пришлось пустить шапку по кругу, чтобы собрать восемьсот долларов в качестве компенсации. Либерийский флот состоит из единственной вооруженной яхты, которая, начав преследовать британский пароход несколько лет назад якобы по причине контрабанды, израсходовала запасы угля, и предполагаемая жертва отбуксировала её обратно в порт. Нет, господа, так называемая Либерийская республика — это нулевая величина; фальсификация; пустое место. Да, американцы ее поддерживают, но в наши дни весьма слабо. Посол в США уверяет, что Штаты и пальцем не пошевелият, чтобы защитить предполагаемые либерийские границы; на самом деле, может, и вообще не огорчатся, если какая-то цивилизованная сила избавит их от всей страны целиком.

— Тогда я правильно понимаю, герр граф, что вы сами поддерживаете основание австро-венгерских колоний в Африке? — спросил Фештетич.

— Определенно. Это век колониальной экспансии, и, с моей точки зрения, любая европейская великая держава, которая откажется принимать участие в гонке, скоро перестанет быть великой державой. Колонии дают престиж, как обнаружили итальянцы. Откровенно говоря, единственное мыслимое использование мест вроде Эритреи — это сделать королевство Италия чуть менее смехотворным, чем без него. Многие спрашивают, может ли австро-венгерская монархия позволить себе приобретать колонии? Мой ответ будет: а может ли она позволить себе их не приобретать?

— Но почему в Африке и почему такую крошечную?

— Герр капитан, есть два возможных направления австрийской экспансии. Одно — на Балканы и Ближний Восток, по мере того, как распадается на куски турецкая империя, по направлению к Салоникам и Эгейскому региону. Мы уже немного продвинулись в этом направлении, заняв Боснию-Герцеговину. Но что мы получили за свои усилия? Только парочку свиней и сливовых деревьев в придачу к нескольким миллионам разбойников и головорезов. Продвижение на Балканы делает нас врагами России и тем самым ставит в зависимость от Берлина, поскольку нам требуется добрая воля немцев. Но за пределами Европы — совершенно другая история: девственные территории, забитые хорошими и полезными вещами и населенные просто детьми, которых можно научить любить и почитать белого хозяина, вместо того чтобы стрелять в него из-за скал. Крошечная? Бесспорно. Но каждый дуб был когда-то жёлудем. Разве когда-то не смеялись над Рудольфом Гамбургским, называя Рудольфом Ницбургским? Пока что мы остались позади в гонке за колониями, это правда. Но гонка только начинается, и многие из тех, кто стартовал позади остальных, могут оказаться победителями. Берлинская конференция была только первым блюдом к банкету, как я подозреваю. Посмотрите на португальскую империю в Африке: вполне очевидно, еле стоящую на ногах и ожидающую раздела великими державами. А после этого — на голландскую восточную Индию с её сказочными богатствами и территорией больше всей Европы, управляемой глупой маленькой страной, у которой нет ни средств, ни воли всё это эксплуатировать. А еще есть уже разваливающаяся Оттоманская империя в Леванте, а дальше — Китай и Южная Америка. Нет, господа: главные блюда еще будут поданы, я уверен. Сейчас Австрии нужно лишь обеспечить себе место за столом. Она однажды стала великой державой не в сражениях, а путем мирных

договоров и разумного использования дипломатии. Разве не может она проделать то же самое еще раз? Уверен, вы все видели надпись над воротами в Хофбурге: «A.E.I.O.U — austria extenditur in orbem universum», или «alle erde ist österreich untertan» — весь мир принадлежит Австрии. Империя Карла V, над которой никогда не заходило солнце. Так было однажды, почему бы этому не случиться снова?

Трапеза закончилась, компания разошлась, и меня оставили с остальными стюардами мыть тарелки. Дождь все еще гроыхал за окном каюты с навязчивой, маниакальной интенсивностью, до такой степени, что мне привиделся Атлантический океан, выходящий из берегов. На палубе вода фонтанировала из промокших, раскачивающихся навесов и хлестала из шпигатов, как из горгулий на крыше кафедрального собора во время грозы. В свете угасающих серых сумерек все выглядело чрезвычайно меланхолично: одинокий корабль, качающийся на зыби в центре вселенной, уменьшившейся под бесконечным ливнем до диаметра в несколько метров; рыдающий, промокший, булькающий, непрерывно грохочущий мир, где сама речь, казалось, проглочена шумом проливного дождя.

Корабельные шлюпки повернули на бок, прислонив к шлюпбалкам, чтобы предотвратить заполнение водой и поломку киля. Несмотря на это, внизу, в тусклом свете масляных ламп, две десантные партии готовились следующим утром отправиться в экспедицию на берег. Отряду под началом фрегаттенлейтенанта Берталотти предстояло сопровождать геолога доктора Пюрклера в геологоразведочный тур в джунгли за прибрежной равниной.

Другой отряд, состоящий из пятнадцати человек под командованием фрегаттенлейтенанта Храбовски, должен был доплыть на корабельном катере до границы судоходства по реке Бунс — примерно сорок километров вглубь страны — и там высадиться, чтобы установить контакт с вождем одного из горных племен гребо, который, судя по отчетам, отнюдь не радовался перспективам французского правления. Поставленная задача должна была занять около пяти дней у каждой экспедиции, после чего они вернутся на корабль, но поскольку внутренняя часть страны кишела болезнями, следовало принять дополнительные меры предосторожности для защиты здоровья людей. Рано утром обе партии построились около лазарета, чтобы доктор Лучиени выдал им дневную дозу хинина.

Но до того, как Лучиени раздал стаканчики горькой жидкости, появился профессор Сковронек, и за закрытыми дверями кабинета врача

начался спор. В конце концов, матросы получили дневную дозу антималярийной профилактики, смешанную с темной коричневой жидкостью профессорской разработки, которая, предположительно, защитит их еще и от желтой лихорадки. По словам профессора, уже несколько лет он работал над проблемой очевидного иммунитета у негроидной расы к этой болезни и над тем, можно ли передать эту сопротивляемость белым людям. Лучиени явно остался недоволен. Но это был робкий молодой человек, а Сковронек давил авторитетом, подчеркивая, что получил степень в Венском Университете, в то время как Лучиени — в Кракове; а кроме того, Сковронек — личный друг главного медика кригсмарине барона фон Айсельсберга, и как это будет выглядеть, если сочтут, будто младший корабельный доктор препятствовал развитию науки?

В итоге Лучиени капитулировал. В конце концов матросы получали дневную дозу хинина, смешанную со зловонным зельем профессора, так что какая разница? Это не могло им навредить и, возможно, принесет какую-то пользу. Каждому матросу по очереди надлежало выпить залпом стакан гнусной жидкости и получить аккуратно помеченный собственной рукой профессора пакетик, содержащий десять доз смеси, обязательной к принятию каждое утро под наблюдением командиров экспедиции. Матросы клялись, что они лучше заболеют желтой лихорадкой; но морская дисциплина — это морская дисциплина, а потому никто не опасался, что они не примут лекарство, как приказано.

На протяжении нескольких последующих дней, как только отбыли экспедиции, мы немало времени курсировали на шлюпках между кораблем и берегом Бунсвилля. Таким образом я очень хорошо познакомился с гражданами так называемой Федерации побережья Кру, которая скоро (как казалось) станет Австро-Венгерской Западной Африкой. В самом начале нашего пребывания нас посетил единственный белый житель Бунсвилля, мистер Йоргенсен, местный агент датской компании, всё еще покупающей на побережье пальмовое масло в обмен на бутылки голландского джина (на самом деле картофельного спирта), хлопковую одежду и короткие, тяжелые и неуклюжие кремневые ружья, известные здесь как «датские ружья», местные использовали их для охоты и племенных войн.

Мистеру Йоргенсену было около шестидесяти, но после сорока лет, проведенных в маринаде из джина и малярии на кишасщем болезнями побережье, выглядел он намного старше. Однако старик сохранил датскую способность к языкам — немецкий, английский, французский и полдюжины африканских — и он определено хорошо разбирался в

местных племенах. Йоргенсен с самого начала предупредил, чтобы мы держали всё имущество на борту под замком, поскольку репутация народа кру как моряков и религиозных проповедников сравнима только с их славой воров и пьяниц. Он рассказал нам об инциденте несколько лет назад, который привел к тому, что немецкая канонерка угрожала обстрелять Монровию.

Бременский пассажирский пароход на пути в Камерун потерял гребной винт неподалеку от устья реки Цесс, и его выбросило на берег. Местные кру выказали предельную храбрость и мастерство в спасении пассажиров и команды от бурунов, но как только доставили несчастных на берег, то разграбили всё их имущество и даже одежду, а после принялись обдирать обломки крушения от всего ценного. Выживших бросили добираться до Монровии босиком и полуголыми. Кру считали грабеж — достаточно обосновано, надо полагать, — законной наградой за риск собственной жизнью при спасении людей, но имперское немецкое правительство не согласилось с этой точкой зрения.

Определенно, местные кру выглядели не слишком интересно по сравнению с теми чернокожими, которых мы видели на приеме в саду у губернатора во Фритауне. Тамошние негры из племени мандинго были изумительно красивы и превосходили даже черногорцев в легкой, королевской грации и осанке. Кру, с другой стороны, представляли собой в основном уродливое сборище: короткие, кривоногие, с чрезмерно развитыми плечами и слишком длинными руками, появившимися, видимо, от постоянной гребли. Носы плоские и бесформенные, серо-черные лица и остро заточенные зубы.

Кроме того, у каждого из них было по три параллельных шрама на переносице: «отметина свободы», как сказал мистер Йоргенсен, пережиток времен работорговли, когда кру энергично посредничали в торговле человеческими жизнями и им гарантировался иммунитет от работорговцев. В целом они казались довольно маловероятными кандидатами на роль подданных императора Франца Иосифа. Но при более здравом размышлении, полагаю, они выглядели не более странными, чем боснийские мусульмане или некоторые еще более экзотических народности Трансильванских Альп.

Хотя некоторые из них (вроде Юниона Джека) уже немного знали немецкий, большую часть времени они говорили с нами на крио. Этот язык меня очаровывал, стоило к нему привыкнуть. С другой стороны, австро-венгерская монархия с изобилием искусственных языков — не только нашим собственным «лингва ди бордо», но также «армейским славянским»

и «канцелярским немецким» привила мне неизменный интерес к таким жаргонам. Вскоре я начал восхищаться крио за его восхитительную экономичность и поразительную гибкость — свойство, полностью отсутствующее в языках вроде польского и чешского, которые взяли под контроль учёные в конце средневековья и навсегда заперли в жестких грамматических структурах, основанных на латыни. Меня восхитило, что, к примеру, слово «рубить» без изменений могло быть использовано и как существительное «еда», и как глагол «есть». Или тем, как условное наклонение образовывалось с помощью слова «какбе» в начале предложения, а родительный падеж — отглагольной частицей, обозначающей «принадлежать».

Гребцы кру, поднимающиеся на борт «Виндишгреца», являли собой определенно дружелюбную и жизнерадостную группу людей; намного более оживленную, чем довольно-таки угрюмые негры из Фритауна, и постоянно сочиняли импровизированные стихи на крио. Особенно притягивающий меня обычай состоял в том, что, когда бы они ни гребли на лодках (даже в самый страшный шторм), всегда пели, чтобы соблюсти ритм, погружая и поднимая весла в такт напева, очевидно созданного под влиянием момента и обычно сатирической натуры. Я хорошо помню один, который они затянули в тот день, когда транспортировали Славеца фон Лёвенхаузена и меня в Фредериксбург для инспекции.

«Капитан щедрый, брось мы десять шиллингов. Какбе он бросить мы, мы не намочим его. Капитан богатый, кру бедный. Четыре, пять полкрон брось бедный негр. Гип-гип-урраа! Благослови тебя Бог!»

Пожалуй, хорошо, что эти негры находились у нас на службе, как и то, что капитан был слегка глуховат на одно ухо.

Тот факт, что они были гражданскими, не спасал кру от упрощенного военного трибунала на борту. Как тем памятным утром, когда вахтенный офицер, линиеншиффслейтенант Микулич, поймал — или посчитал, что поймал — Джимми Правого Борты, стянувшего молоток, собственность военного ведомства ценой в две кроны. Микулич считал, что африканские туземцы на борту европейского корабля, когда не работают, должны содержаться в загоне из колючей проволоки, и решительно возражал против того, что им позволяют свободно разгуливать по палубам. У него были твёрдые убеждения по этому вопросу, полученные в значительной мере из книг Джека Лондона и других аналогичных авторов, и он всегда на повышенных тонах рассуждал о «негроидной расе», «желтой опасности» и прочих подобных идеях, популярных на смене веков. Он рыскал несколько дней, пытаясь поймать одного из кру на воровстве, и вот, наконец,

преуспел.

— Положи молоток, вороватый черномазый!

Джимми Правый Борт положил молоток, встал лицом к обвинителю — и получил удар в лицо, от которого пошатнулся. Но это явно был только пролог к спектаклю. Когда Микулич снял китель, собралась толпа. Негр не принадлежал к морскому персоналу, но так даже лучше: если он не подпадал под военно-морской устав, то устав не мог и защитить его от образцовой трёпки от рук эксперта в избиениях. Микулич приступил к действию и нанес несколько почти игривых предварительных ударов в голову и грудь Джимми Правого Борта. Кру почти не пытался защититься или хотя бы уклониться от ударов.

— Давай, ты, черная обезьяна, защищайся, чтобы я смог вздуть тебя как следует. Из чего вы, обезьяны, сделаны? — лейтенант приблизился и нанес еще несколько ударов, насмехаясь над жертвой, прежде чем избить ее до полусмерти.

Но дразнить кру — не самая мудрая затея: примерно, как стоять позади дикого осла и стегать его ивовым прутом или прижимать подбородок к казённой части крупнокалиберной морской пушки перед выстрелом. Джимми Правый Борт довольно долго терпел провокации, но когда он ударил, то второй удар уже не потребовался.

Удар сбил Микулича с ног и послал в полёт к носовой переборке, где он и рухнул без сознания, а кру, окруженный пораженными зрителями, заботливо склонился над ним и вытер лицо влажной тряпкой — как раз в то время, когда боцман Негошич подошел объяснить, что он одолжил Джимми Правому Борту молоток, чтобы прибить заплатку поверх дыры в лодке. Микулич пришел в сознание в лазарете и не появлялся на палубе почти три дня. Вернувшись к исполнению своих обязанностей, он избегал кру, как будто не замечая их. Инцидент никогда больше не вспоминали, но я почему-то сомневался, что его полностью забыли.

Глава восьмая

АВСТРАУСЫ

На седьмой день нашего пребывания дождь ослаб достаточно для того, чтобы мы погрузились в шлюпки и эффектно высадились в Бунсвилле: все в белых парадных мундирах, с винтовками и полной выкладкой — лежащими пока что на дне, на случай если лодка завалится на прибое.

Капитан и офицеры сопровождали нас на паровом катере, великолепное зрелище: двууголки, золотые эполеты. Граф Минателло присутствовал, но профессор Сковронек был не с нами, поскольку сошел на берег за день до этого — один, с охотничьей винтовкой Маннлихера. Выбор оружия нас удивил, ведь эта часть Африки довольно плотно населена и в те дни была уже лишена какой-либо добычи крупнее речной свиньи и небольших антилоп. Но сегодня мы обойдемся и без него. Судя по размеру нашего десантного отряда — больше ста человек — наша цель на берегу исключительно дипломатическая, а не научная.

При ближнем знакомстве Бунсвилль оказался не настолько живописным, как мне казалось, когда я видел его с неустойчивой пристани. Мы высадились и построились за корабельным оркестром и императорско-королевским флагом, затем выступили маршем по главной улице. Офицеров и графа Минателло несли впереди местные на носилках. Что касается остальных — мы шлёпали за ними, стараясь идти в ногу и пытаясь не испачкать краги и безупречные белые мундиры в громадных грязно-бурых лужах. Казалось, вся округа собралась посмотреть, как мы маршируем с винтовками на плече. Оркестр затих, чтобы перевернуть ноты, и из толпы раздалось приветствие: «Слава Австралии!» Мы переглянулись, а толпа подхватила приветствие. Должен ли кто-то поправить недоразумение?

Мы пожали плечами и продолжили маршировать. Для этих простых людей одна толпа белых моряков неотличима от другой, так что на этот раз мы решили оставить всё как есть.

Бунсвилль выглядел скорее грязной деревней: некая промежуточная стадия между традиционной архитектурой крытых пальмовыми листьями

домов этого уголка Африки (которые хотя бы изящно ветшали в дождливом климате) и европейским миром ржавого железа, фанеры и кирпичей из красной глины, как во Фритауне. Это место было более африканским, но не сильно. Вообще-то оно напоминало мне фотографии городков южных штатов США — вероятно, признак того, что презируемые американо-либерийцы Монровии на самом деле имели некоторое влияние на побережье.

Но надо всем этим висел довольно приятный, характерный для западноафриканской деревни запах древесного дыма, перца и пальмового масла. А в центре самым большим строением был навес с крышей из пальмовых листьев и с утоптаным земляным полом. Это оказался дом для собраний, и значимые люди округа ожидали нас там, чтобы начать переговоры: местный король, Мэтью Немытый III, его премьер-министр со звучным именем Джордж Содомия, ряд менее значимых вождей и их сторонников, и наш бывший пассажир — доктор Бенджамин Солтфиш, министр иностранных дел Федерации побережья Кру, элегантный и внимательный как всегда, сидящий на помосте рядом с королём. Должен сказать, он напоминал мне ящерицу — совершенно спокойную, но всегда настороже и время от времени выбрасывающую язык, чтобы поймать пролетающую муху.

Последовал обмен любезностями, офицеры и граф Минателло заняли места на помосте рядом с королем Мэтью. Тем временем нас проводили в дом собраний и посадили по-турецки на покрытый циновками пол — и вовремя, поскольку опять пошел дождь. В этих местах авторитет измерялся количеством слуг, так что нас взяли с собой просто как ходячие символы значимости капитана и графа Минателло. Как только мы сложили винтовки и абордажные сабли, на всякий случай в зоне досягаемости, то на этом наше участие в переговорах и закончилось. Но это Африка, и перед любыми дипломатическими переговорами следует подкрепиться.

Когда мы все расселись и замолкли, король хлопнул в ладоши над головой и выкрикнул:

— Подать отбивные!

Немедленно вошли тридцать или сорок человек obsługi с дымящимися блюдами с рисом и клейким, жирным варевом под названием «отбивная на пальмовом масле», которая кажется, была курицей, тушеной в смеси из пальмового масла, перца и острого соуса. Жгучая штука — даже наши закалённые гуляшом мадьяры подавились этим блюдом, и было очень сложно есть его руками, не запачкав мундиры. Но мы сделали всё, что смогли, пока нас не одолели несварение желудка и жжение в глотках.

Нас обеспечили джином для переваривания пищи — «если отбивная слишком острая, грог положит его спать внутри живот» — как нам объяснили. Джин подали, как я заметил, в бокалах с маркировкой «Судоходная компания «Элдер-Демпстер», Ливерпуль». Полагаю, добыча в какой-нибудь морской спасательной операции.

Пока мы ели и пили, наше начальство переговаривалось с королем Мэтью и его министрами. Определенно, весьма необычное собрание. Я ожидал, что они будут замотаны в какие-нибудь длинные одеяния, как племенные вожди, которых я видел во Фритауне, но вместо этого они облачились в гротескную коллекцию брошенной европейской одежды — кажется, это было престижно в этих местах. Во Фритауне одежда местной знати, хоть и вычурная, и несомненно слишком тёплая в этом климате, была хотя бы более или менее аккуратной копией лондонской моды пятнадцатилетней давности.

Но здесь одежду, похоже, собрали, разграбив магазины распродаж и склады торговцев вторсырьем по всей Европе. Полагаю, большую часть расхитили с кораблей, разбившихся на побережье. В любом случае, здесь имелась целая коллекция матросских курток наряду с твидовыми норфолкскими пиджаками, вместе с бусами, вечерними брюками без обуви, а также соломенными и войлочными шляпами, высоко сидящими на пучках густых и курчавых волос.

Однако самой популярной среди свиты короля Мэтью была старая военная форма, как будто двор и кабинет министров обеспечили свой гардероб, раздевая мёртвых после сражения. Мистер Йоргенсен рассказал нам позже, что одним из самых выгодных товаров на продажу была старая военная форма, купленная дешево в Европе и ввозимая сюда целыми кораблями. Лучшими временами, по его словам, было начало 1870-х, когда французская республика распродала цветастые мундиры недавно почившей в бозе Второй империи. Король носил старый зуавский китель с неряшливой золотой тесьмой, а его премьер-министр Джордж Содомия — затейливо обшитый галунами и золотыми пуговицами гусарский ментик, дополненный сильно поношенным шёлковым оперным цилиндром и твидовыми брюками для гольфа. Неудивительно, что министр иностранных дел Солтфиш, как всегда безукоризненно одетый, вел себя как человек, который предпочитает держаться в сторонке от такой вульгарной толпы.

Предварительные переговоры шли на протяжении добрых двух часов, в течение которых мы одеревенели от сидения по-турецки. Непрерывный, равномерный шелест дождя о пальмовые листья и плеск водостока в грязь

вокруг дома собраний усложняли задачу услышать переговоры на помосте, которые, казалось, свелись к трехстороннему торгу между графом Минателло, Джорджем Содомией и доктором Солтфишем. Продолжительный торг вращался вокруг вопроса, заданного премьер-министром: «Если кру продадут страну вам, сколько вы нам дадите?» Надо полагать, именно к этому в конечном счете сводится всякая дипломатия, если убрать предварительные совещания и демарши.

Наконец, после полудня стало ясно, что достигнуто приемлемое для обеих высоких договаривающихся сторон соглашение. Граф дал знак капитану, а тот дал знак линиеншиффлейтенанту Залески, а тот дал знак унтер-офицеру, а тот дал знак группе матросов, которая, слава богу, встала и прошла в заднюю часть дома собраний. Наступила кульминация переговоров: обмен дарами.

За предыдущую неделю я многое узнал о сложном этикете даров. На вершине шкалы щедрости находился «высокопоставленный дар»: он был уместен между правителями. За ним следовал «джентльменский дар»: щедрый, но поскромнее, например, хозяин мог бы одарить им слугу в знак особенного расположения. Затем «мужской дар» — обычные будничные подарки. «Мальчишеский дар» считался еще приличным, но довольно-таки скупым, и в конце шкалы стоял «детский дар», считающийся оскорбительным при предложении взрослому, он вполне вероятно мог привести к убийству. Подарки, которыми сейчас будет произведен обмен, были из категории «высокопоставленный дар», чтобы обозначить достигнутое соглашение.

Матросы принесли к помосту отделанный медью деревянный сундук и открыли его. Это был красивый образец заводного граммофона венской граммофонной компании. Матросы установили раструб, завели аппарат, поместили блестящую черную пластинку на диск проигрывателя и аккуратно опустили иголку на его вращающуюся поверхность. Несколько мгновений раздавалось шипение, потом заиграла музыка. Военный ансамбль исполнял марш братьев Шраммелей «Вена остается Веной». Нестерпимо живое легкомыслие заполнило дом собраний, король и министры уставились на граммофон в изумлении. Наконец запись кончилась, и музыка перешла в шипение. Пластинка остановилось, и меланхолический барабанный бой западноафриканского дождя ворвался обратно как временно отброшенное море. Король наконец заговорил.

— Австраус белый человек записс довольно хорошо. Но совершенно не так хороший как Эдисон барабанный фонограф.

По видимому, король Мэтью был хорошо знаком с подобными

европейскими чудесами и после находки фонографа на потерпевшем кораблекрушение судна у мыса Пальмас собрал немалую коллекцию записей (Карузо, Нелли Мельба и другие). Он считал, что в качестве звука граммофону сильно отстаёт. Кстати, что «Австраус белый человек» — это интерпретация Джорджем Содомией марки изготовителя на граммофоне. Он довольно неплохо читал, поскольку в свободное от работы премьер-министром время исполнял обязанности проповедника в методистской церкви, но не знал, что немецкий отличается от английского.

Остальные дары состояли из различных пустяков вроде кивера австрийского штабного офицера из лакированной кожи с золотой кокардой, портрета императора, суконной куртки и прочих аналогичных побрякушек. Их вежливо приняли. Дар со стороны короля Мэтью представлял собой специально построенную прибойную лодку со словами «Ура франку жосифу», намалеванными на обоих бортах желтыми и синими буквами. После обмена дарами дело дошло до существа договора. В обмен на ежегодную субсидию в пятьдесят тысяч золотых австрийских крон, двадцать ящиков джина и лечение его гонореи («членообмана», как он ее называл) король Мэтью Немытый III побережья Гребос милостиво согласился навечно вверить свои земли и народ заботе и защите Франца Иосифа Первого и его наследников, императоров Австрии и апостольских королей Венгрии. Договор будет составлен в тот же вечер и подписан на следующий день.

Я входил в команду гребцов, которым доверили доставку прибойной лодки на корабль. Определенно очень своевременный подарок, потому что нам теперь не хватало лодки. Восьмиметровый катер, который опрокинулся на бурунах в первый день, позже выбросило на берег около Фредериксбурга. Но его сильно разбило о прибрежные скалы, и потому его в итоге списали как не подлежащий ремонту. Прибойная лодка была примерно такого же размера, и плотник сказал, что сумеет сделать из неё пристойную гребную шлюпку, установив банки.

Но сейчас планширь распирался съемными бимсами, как в большом каноэ, а в середине оставили много свободного места, чтобы лодка могла перевозить бочки с пальмовым маслом. Восемь или десять гребцов стояли на коленях вдоль бортов, привязав ноги веревками, а на корме стоял рулевой с веслом. У лодки был мощный корпус красного дерева, чтобы выдерживать жесткие швартовки на берегу, и расширенные нос и корма, чтобы плыть в бурунах: довольно странная посуда с морской точки зрения, но без сомнения допускающая превращение во что-то полезное.

Большую часть ночи мы провели, пытаясь привести в порядок

мундиры после брызг морской пены и уличной грязи. Завтра наступит великий день в истории императорской и королевской монархии: официальное объявление о первой заморской колонии. Мы остро осознавали торжественность момента и построились на следующий день на поле перед домом собраний в Бунсвилле. По этому случаю установили флагшток, а сам дом и лачуги вокруг украсили красно-белой и черно-жёлтой материей. Это начало важнейшей главы в анналах нашей почтенной империи, мы все это понимали.

Даже наши профессиональные перспективы в будущей карьере морских офицеров внезапно показались намного более яркими, ведь все мы знали, несмотря на молодость, что обладание колониями вынудит Австрию построить наконец настоящий флот вместо жалкого берегового флота, с которым мы застряли еще в 1870-х. Граф Минателло уже помпезно говорил вчера на ужине об углублении дна через отмель к Бунсвиллю и превращении этого места, которое скоро переименуют в Леопольдстадт, в главный порт Западной Африки. В конце концов, сказал он, разве не были Сингапур и Гонконг просто рыбацкими деревушками, до того как за них взялась просвещенная и энергичная колониальная власть?

Договор подписали (король поставил отпечаток пальца), и высокопоставленные лица вышли наружу. Граф Минателло и фрегаттенкапитан Лёвенхаузен забрались на деревянный помост. Следовало сделать официальное заявление об учреждении колонии Австро-Венгерская Западная Африка. Предыдущим вечером речь вчерне набросали на немецком, но поскольку лишь немногие новые подданные императора хоть чуть-чуть знали немецкий, доктор Солтфиш любезно перевел её на крио. Поскольку капитан выглядел более представительно, чем граф Минателло — даже более представительно, чем кто-либо — ему досталась задача озвучить декларацию. Для этой цели отлично подходил его звонкий, рокочущий голос морского капитана. Никаких «меня слышно в задних рядах?». Всё началось очень внушительно.

— Именем Франца Иосифа Первого, божьей милостью императора Австрии и апостольского короля Венгрии; короля Богемии, Далмации, Хорватии, Славонии, Галиции, Лодомерии и Иллирии; эрцгерцога Австрии и великого герцога Кракова; герцога Штирии, Карниолы, Крайны, Верхней и Нижней Силезии и Буковины; принца Зибенбурга; маркграфа Моравии, графа Зальцбургского и Тирольского; короля Иерусалима и святого римского императора немецких наций, будет предписано... — Он остановился и поправил очки для чтения. — Герр граф, ради бога, я не могу огласить эту тарабарщину...

— Вы должны, герр капитан, — прошипел в ответ граф, — должны.

— Ох, ну ладно... гм... Будь что будет... э-э-э... Все парни этого места, вы соображайте. Большой господина Франц Иосиф пришел. Он сильный парень, много солдат принадлежит ему. Он берет всё его места. Он хорошо смотреть за вами парни. Ему нравиться вы парни очень много. Если вы работаете хорошо на новый господин парень, он хорошо смотреть за вами. Он даст вам джентльмен дар и много хороший отбивной. Вы не деретесь другой черный парень с других мест. Вы не рубите больше людей. Вы не воруете больше мамми у других парень. Иначе новый парень господин пошлет пароход полный солдат, он сделает черный парень все виды плохо, он мошенникам плохо. Теперь вы дать три больших одобрения новому парню хозяину...

Он снял свою двууголку и помахал ею в воздухе.

— Ура императору и королю! Ура императору и королю! Ура императору и королю!

Мы взяли «на караул» под крики толпы. Оркестр заиграл марш империи, а красно-бело-красный флаг императорской Австрии взвился на флагштоке и вяло повис в прохладном бризе. Аборигены Бунсвилля энергично заулюлюкали — хотя, судя по тому, что я слышал, они по-прежнему считали нас австралийцами. Затрещали фейерверки, гешутцмайстер почти опустошил ящик с пиротехникой ради подходящего представления. Сигнальные ракеты со свистом уносились в небо, а горожане палили из датских ружей, выпуская клубы белого дыма. Стаи попугаев с криками взметнулись с деревьев посреди поляны, а стервятники тяжело захлопали крыльями, поднимаясь с крыш хижин, грубо потревоженные посреди дневной сиесты и несомненно удивляясь, к чему вся эта суета. Откуда птицам было знать, что австро-венгерское великое колониальное приключение только что началось?

На протяжении следующей пары часов, до того, как опять зарядил дождь и положил конец празднику, толпа перед домом собраний поглотила огромное количество джина, пальмового вина и отбивных. Оркестр играл марш «Эрцгерцог Альбрехт», а отец Земмельвайс изо всех сил пытался на корявом английском обратить короля Мэтью в католичество. Предполагаю, что как местный представитель европейской католической монархии он чувствовал себя обязанным попытаться, но судя по тому, как это звучало, он не многого добился. Местные были в основном адептами той или иной ветви методизма, плюс немного поклонников человеческих жертвоприношений, а отец Земмельвайс не смог бы даже убедить команду тонущего корабля надеть спасательные жилеты. В итоге он добился лишь

обещания, что замок Фредериксбург передадут австрийским иезуитам для семинарии.

К концу праздника доктор Бенджамин Солтфиш, окосевший и смешливый от джина, украдкой подошел ко мне. Он знал, что я говорю на английском заметно лучше большинства остальных кадетов и, похоже, желал мне довериться. Бенджамин хорошо говорил на английском с лёгким американским акцентом и идиомами, которые, видимо, появились благодаря обучению в колледже Монровии и Гарвардском университете.

— Ты мне нравишься, парень. Юнион Джек говорит, что ты довольно сметливый парень с любой точки зрения.

— Благодарю, ваше превосходительство, я польщен вашим мнением обо мне.

Он ненадолго задумался.

— Да, определенно умнее, чем остальные тупые белые тараканы, это точно...

— Извините, ваше превосходительство, я не совсем понимаю...

Он засмеялся и обнял меня за плечи, отводя в сторонку от остальной толпы, а его голос понизился до шепота.

— Вы, австрийцы, видимо, думаете, что мы, черные, довольно тупы, продавая свою страну за несколько бутылок джина, граммофон, генеральскую шляпу и прочий подобный мусор. Но мы далеко не так тупы, как вы думаете. Скажи мне, парень, почему, по-твоему, мы вас пригласили? Отвечай.

Я счёл вопрос затруднительным. Но австрийский офицер должен быть послом своей страны за границей, так что я попытался сформулировать ответ, который, по моему мнению, от меня ждали.

— Я думаю, ваше превосходительство, что ваш король и народ Федерации побережья Кру слышали о непревзойденной репутации двуединой монархии в соблюдении гармонии и терпимости среди разных народов и приняли во внимание, что как подданные нашего императора вы будете в равном положении со всеми остальными народами, которые составляют великую семью, собравшуюся под скипетром Габсбургов.

Он громко расхохотался.

— Нет, парень, не совсем. Мы выбрали Австрию после долгих размышлений, это точно. Мы подумывали о британцах, но затем вспомнили налог на жилье в Сьерра-Леоне — там они заставили черных платить, так что местным пришлось работать на белых хозяев, чтобы заработать. Мы подумывали о французах — но нам не очень нравится идея, что нас станут пичкать Мольером и Расином и ежегодно призывать

молодёжь в Сенегальские стрелки. Мы не слишком высокого мнения о немцах с их кнутами, итальянцах и бельгийцах, отрубавших негритятам руки, если те не собрали достаточно каучука. Мы спросили у датчан, но они сказали, что пытаются распродать существующие колонии, а не заполучить новые. Так что в итоге мы остановились на старушке Австрии. И знаешь почему? Я скажу. Потому что из всех ваших драгоценных великих держав Австрия — слабейшая. Достаточно сильная, чтобы удерживать остальных белых тараканов подальше от наших хибар, но недостаточно сильная, чтобы надуть нас всякими налогами, призывом и прочим подобным дерьмом.

Я был глубоко потрясен, до такой степени, что на миг потерял дар речи.

— Но, ваше превосходительство, вы и ваши соотечественники только что приветствовали императорский флаг, когда его поднимали... Я не понимаю...

— Естественно, когда монровские негры посылают солдат вдоль побережья, чтобы жечь наши деревни и насиловать наших женщин, мы будем рады видеть любой флаг реющим над нами, лишь бы не их. Но все же не сказать, что вы нам не нравитесь, ребята. Ваша музыка довольно хороша, и мы, может, даже когда-нибудь начнем учить немецкий, если захочется; может, у нас даже будет губернатор и несколько полицейских, если ваш старый император сможет себе это позволить. Но представьте себе...

Он уставился прямо на меня. Белки его глаз были слегка желтоваты.

— Никто не заставит кру работать. Видишь вот это? — Он указал на тройной шрам на переносице. — Это знак свободы. Мы, кру, работаем усердно на белого хозяина — но только за деньги и еду, а не потому что он хлещет нас или обманывает. Ни один человек в мире не заставит кру работать. — Он улыбнулся и радушно шлёпнул меня по плечу. — Смотри на это как на партнерство, если тебе так нравится: мы даем вам колонию, чтобы придать вам веса в Европе, а вы держите остальных европейцев подальше от нашей страны.

— Извините, ваше превосходительство, но как я понимаю, все народы в Африке так думали — пока не стало слишком поздно. Что помешает нам послать корабли и солдат через несколько лет, чтобы заставить вас поступать, как мы велим? Австро-Венгрия намного сильнее, чем Либерия, могу заверить.

— Заставить нас поступать, как вы велите? Ну, это чересчур. Как мне рассказывали, ваш старый император не может заставить поступать, как он

велит, даже людей в часе езды на поезде от Вены. Нет, сэр, если белые хозяева из Вены попробуют нас надуть, мы просто пожалуемся другим белым хозяевам в Будапешт. Это заставит их призадуматься, можешь быть уверен.

Я был глубоко потрясён крайней двуличностью со стороны одного из самых образованных представителей народа, который только что по своей собственной воле выбрал защиту под крыльями двуглавого орла Габсбургов. Но должен признаться, что я всё же тайно восхищался молодым человеком из такой отсталой и отдалённой страны, который настолько хладнокровно и точно измерил политические реальности далёкой империи, где никогда не бывал.

— Ваше превосходительство, — наконец сказал я, — а что помешает мне доложить о том, что вы мне сейчас рассказали, графу Минателло и капитану? Они будут глубоко обеспокоены подобными словами в такой день, как сегодняшний.

Он обнял меня за плечи.

— Парень, никто тебе не поверит. Никто не верит детям и черным. Но не сердись, ты мне нравишься. Многие белые люди хорошо ко мне относились, и мы еще можем быть хорошими друзьями. Просто не ходите с таким видом, будто вы умнее, потому что это не так. Наш король Мэтью и ваш император Франц Иосиф — оба короли; просто один из немножко темнее, вот и всё.

Мы болтались на якоре у Фредериксбурга до шестого августа, когда «летний сухой сезон» разыгрался настолько, что дождь лил всего полдня — хотя всегда во время моей вахты на палубе. Мы могли бы сняться с якоря и отправиться в путь сразу после подъема флага над нашей новой колонией. Здесь больше нечего было делать, оставалось только уведомить Вену об аннексии. На следующий день графа Минателло довели до идущего к Золотому берегу парохода компании «Элдер-Демпстер». С собой он взял дипломатический пакет с зашифрованной телеграммой, которую отправят в императорское и королевское Министерство иностранных дел, как только граф доберется до Акры. Я помогал линиеншиффслейтенанту Свободе закодировать её накануне вечером.

Там говорилось:

«сообщаю вам зпт протекторат а-в над побережьем кру установлен зпт бунсвилль 1 августа назван леопольдштадт тчк скоро отправляемся тчк шлите войска и администрацию тчк да здравствует император и король вскл фргткптн славец фон лёвенхаузен виндишгрец из фредериксбурга 2/8/02»

После исполнения этого задания ничто более не удерживало нас от продолжения чисто научной части вояжа и отплытия в Бразилию — только вот одна из наших исследовательских групп не вышла на связь в назначенный день. Геологи доктора Пюрклера вернулись без происшествий, нагруженные тяжелыми ящиками с образцами, лишь одного человека ужалил скорпион, у другого воспалился порез на руке (в этом болезнетворном климате малейшая царапина через пару часов воспалялась).

Из чего бы ни состоял противомалаярийный коктейль профессора Скворонека, он сработал очень хорошо. Никто не заболел, хотя мы работали в густом тропическом лесу, которого избегали даже местные, считая его заразным. Но о группе фрегаттенлейтенанта Грабовского не было никаких известий. Мы ждали и ждали. В конце концов отправили из Бунсвилля каноэ вверх по реке, чтобы выяснить, что с ними случилось, но не нашли ничего, кроме восьмиметрового катера экспедиции, брошенного ниже первого порога на реке, примерно в сорока километрах выше по течению. И никаких следов пятнадцати человек.

В итоге, чтобы не задерживать всю экспедицию, капитан решил плыть без них. Он оставил отставшим распоряжение сесть на пароход до немецкой колонии Тоголенд, а оттуда отправиться домой. Советники короля Мэтью считали, что группа вряд ли могла попасть в неприятности. Материковые гребо — христиане, но один из их вождей славился недоброжелательным отношением к французам, посягающим на его владения, и мог задержать Грабовского и его команду, посчитав их исследовательской экспедицией из Сенегала.

Исчезновение отряда Грабовского легло тенью на всех нас. Утром шестого августа мы начали выхаживать вокруг шпиля, поднимая якорь, чтобы отправиться в плавание. Мы не сожалели, что покидаем побережье Кру. Мы устали от бесконечной качки, особенно мучительной на парусном корабле, стоящем на якоре, потому что мачты усиливают колебания, когда на них нет парусов, обычно действующих как амортизатор. Надоела обессиливающая атмосфера жаркой прачечной и нескончаемый дождь. Я открыл свой рундук, и меня поприветствовал мощный запах плесени.

Грибы росли под палубой, несмотря на виндзели, протянутые для вентиляции, а корабль моментально захватили насекомые. Особенно раздражали огромные тараканы с побережья Западной Африки — гигантские наглые скоты размером с финик облепили все фонари и сматывались с невероятной скоростью, когда кто-нибудь пытался

раздавить их каблуком. Эти твари пожирали все, но, кажется, особенно наслаждались бумагой — книги, письма, карты и всем остальным, до чего они могли добраться. А также любили мозоли с ног моряков, так что вскоре вахте внизу приходилось спать в носках, иначе бы их ступни быстро обглодали. Вскоре тараканов на нижней палубе начали называть «штаатсбеамтен», «чиновники», из-за способности к размножению, единообразной внешности и любви к бумаге.

Линиеншифслейтенант Залески, больше всего ненавидевший заполнение документов, выделил один вечер, чтобы мы с помощью свечных фонарей наловили так много этих тварей, как только сможем. После того как накопилось несколько сотен, мы выпустили их в канцелярии корабля и закрыли дверь в надежде, что к утру тараканы пробьют себе дорогу через весь запас корабельных формуляров и освободят нас от писанины на все оставшееся путешествие. Хорошая идея, но, к сожалению, что-то пришлось им не по вкусу в австрийских бланках в двух экземплярах. Так что тварюги вместо них насладились формулярами заявок на мелкие расходы.

Пока мы устанавливали протекторат над новыми территориями для благородного дома Габсбургов, профессор Сковронек занимался научными исследованиями на берегу, перемещаясь по континенту с ассистентом и парой туземных носильщиков с его оружием. Только в последний день нашей стоянки профессор поднялся на борт с большой сумкой из дерюги, при этом он выглядел очень довольным собой и тут же скрылся в каюте. Некоторые из нас уже с подозрением относились к методам профессора по сбору образцов, особенно после того, как с британского парохода, забравшего графа Минателло, любезно прислали сверток со старыми газетами, как было принято между кораблями в те дни. Среди них и экземпляр «Фритаунского горна» от девятнадцатого июля, через два дня после нашего отплытия. Статья называлась:

БЕСПОРЯДКИ ИЗ-ЗА КОЛДОВСТВА

«Как сообщает сегодня комиссар полиции Протектората, 16 июля около Моямбы произошли вооруженные стычки между соперничающими отрядами из племен менде и фаркина, после того как стало известно, что могилы на кладбище миссии англиканской церкви в Моямбе осквернили неизвестные под покровом ночи. Говорят, что от нескольких тел были отделены черепа, притом основную часть останков, по-видимому, не тронули. Жители деревни обвинили в содеянном соседнее племя, и между отрядами, вооруженными копьями и мачете, немедленно вспыхнули

столкновения, в которых погибли семь человек и многие получили ранения. Порядок был восстановлен силами полиции Протектората под руководства майора Вильямсона. Ведется расследование возможного колдовства. Сообщается, что несколько местных медиков оказывают полиции помощь в дознании».

В то утро, когда мы покидали Фредериксбург, прямо перед отплытием вахтенный офицер послал меня вниз с сообщением для профессора Сковронека. Я постучал в дверь его каюты, услышал «битте», открыл дверь, и меня тут же окутало облако зловонного пара. Когда туман немного рассеялся, я увидел, что профессор в одной рубашке что-то варит в котле на плитке. В каюте было неимоверно жарко, несмотря на открытый люк, но он этого не замечал, с головой погрузившись в работу. Я увидел то, о чем многие подозревали: шесть человеческих черепов ухмылялись мне с полки, а седьмой сушился на лавке, сияющий, светло-бежевый, в отличие от грязно-коричневых остальных, судя по виду, многие годы пролежавших в земле.

— А, заходите, заходите, молодой человек. Как ваши дела? Записка от лейтенанта Свободы? Спасибо. Скажите, молодой человек, как вас зовут?

Он пристально смотрел на меня. Не в глаза, как я скоро понял, а на макушку.

— Прохазка, герр профессор, Оттокар Прохазка. Кадет второкурсник императорской и королевской Военно-морской академии.

— Я так и думал. Прохазка. Чех, я полагаю?

— Мой отец чех, герр профессор, а мама полячка.

Профессор понимающе улыбнулся.

— Так я и думал: обычно чешский череп имеет тенденцию к более мезакефальному типу, как результат альпийско-динарского влияния, в то время как типичный поляк имеет черепной индекс около восьмидесяти трех из-за Балтийской примеси. Вот этот наш дружок... — он взял со скамейки чистый белый череп. — Этот наш дружок — типичный низший негроидный тип, видите? — Профессор взял со скамейки что-то типа большого штангенциркуля из самшита и стиснул им череп. — Ну вот, лицевой угол около шести градусов, вместо клиновидно-решетчатого угла почти прямая линия, форамино-базальные тоже чрезвычайно маленькие, индекс порядка шестидесяти восьми в среднем и низок как... дайте взглянуть... да, я бы сказал, низок на уровне пятидесяти пяти по височной оси. При жизни вряд ли можно было ожидать от этого человека многого на пути творческого интеллекта. Тем не менее, некоторые из этих, — он

показал на ряд черепов на полке, — приблизились к европейцам низшего уровня, вероятно, это мандинго или другие берберские племена. Когда они были живы, я бы ожидал от них немногого, они могли бы носить одежду и показывать некоторые проблески творческих способностей в ремеслах, таких как гончарное дело и ткачество. Вот этот кру — совершенно бессмысленное существо с точки зрения евгеники, способное только грести, сидя в каноэ, словно человекообразный мотор. Я ничуть не удивился, увидев, как они пытаются собезьянничать — и я использую это слово намеренно — европейскую моду в своей отвратительной дыре, Бунсвилль или как там его. Эти люди явно неспособны к любому творчеству или оригинальности. Без искупительного влияния белой расы они были бы погружены в убожество столь зверское, что его вряд ли можно даже вообразить.

— Со всем уважением, герр профессор, но мы с кадетом Гауссом работали с лодочниками кру несколько последних недель, и они зарекомендовали себя дружелюбными, остроумными и сообразительными людьми.

Он нахмурился. Очевидно, профессор не привык, чтобы ему возражали, тем более шестнадцатилетние юнцы.

— Попугайничают, молодой человек. Обезьянки в красных жилетках и модных шляпах дурачатся под шарманку белого человека. Без европейцев в качестве примера для подражания они бы стали еще более мрачными, угрюмыми и бестолковыми, чем остальная негритянская раса. Подозреваю, что эта общая неспособность может быть вызвана ранним закрытием черепных швов у негритянских младенцев, останавливая дальнейшее развитие мозга после трех лет, но пока что я не накопил достаточного количества доказательств, подтверждающих эту гипотезу. Впрочем, мне нужно работать. Кстати, захватите с собой вот это и выплесните за борт, ладно?

Он потянулся в дымящийся котел деревянными щипцами и выловил еще один череп, дымящийся и мокрый, как вареный пудинг. Положил его в раковину сушиться, взял котел с плиты и сунул его мне. Я заглянул внутрь и почувствовал непреодолимую тошноту. Котел был наполнен массой вываренной плоти. Оба черепа всего несколько дней назад явно принадлежали живым людям. Я с трудом поднялся на палубу и метнул содержимое посуды за борт на корм акулам, а следом за ним и содержимое своего желудка. Невероятным образом вареная свинина на обед показалась еще отвратительнее, чем обычно.

Глава девятая

ПЕРЕСЕКАЯ ЭКВАТОР

Переход через Атлантику к берегам Бразилии занял у нас большую часть месяца, хотя расстояние едва превышало две тысячи миль. Проблема в том, что плавание из Фредериксбурга в Пернамбуку обязательно проходит через пояс спокойствия, экваториальную штилевую зону, раскинувшуюся на десять градусов по обе стороны экватора.

Единственный способ пересечь Атлантику для нас состоял в том, чтобы плыть на юг как можно дальше, пока не мы окажемся ниже экватора, а затем надеяться на то, что удастся прихватить самый северный край юго-восточных пассатов, которые перенесут нас к Южной Америке, а потом мы повернем к северо-западу, на Пернамбуку. Если бы мы попробовали пройти севернее штилевой зоны, то у нас появлялся бы неплохой шанс застрять за мысом Рока, самой северо-восточной точкой Бразилии, и несколько месяцев бороться против течения и ветра, чтобы добраться до пункта назначения. Так что мы ползли, шли галсами и дрейфовали на юго-запад восемнадцать дней, пока не поймали ветер. Это было невеселое времечко. Большинство записей в моем дневнике гласили: «Пройденная дистанция за 24 ч.: 2 мили», а, например, одиннадцатого августа я записал: «Пройденная дистанция: минус 1 миля» — похоже, что по ночам нас относило назад.

Это еще и очень тяжелая работа. Я знаю, что в наши дни люди представляют, будто моряки тех лет трудились как проклятые, огибая мыс Горн, а затем валялись до конца плавания, сходя с ума от скуки. Но это не совсем так. Работать на корабле в ревущих сороковых и правда очень трудно, но это, во всяком случае, бодрящая тяжелая работа. Корабль сутками несется на скорости в двенадцать узлов, а экипаж занимается только парусами. Во время штиля работа тоже тяжела, нужно брасовать реи и пытаться поймать каждое дуновение ветра.

И зачастую без видимого результата с точки зрения пройденного расстояния. Вахта должна быть всегда наготове, неважно, что солнце расплавало смолу и она пузырится из палубных швов, или тропической дождь падает ливнем из облаков, которые как будто получали злобное

удовольствие от того, что парили точно над кораблем, от скуки пытаюсь утопить всех нас. Раздражение нарастало, пока солнце сверкало с бесстыдного неба, отражаясь от зеркальной поверхности моря; пока паруса безвольно свисали, словно чайные полотенца, а мусор, выброшенный за борт после завтрака, все еще плавал под ютовым поручнем в полдень.

Для нас, кадетов, не было никаких передышек. После периода в Фредериксбурге, где мы работали по трехвахтенной схеме (одну работаешь, две отдыхаешь), мы вернулись к двухвахтенному расписанию. Если мы были не на палубе, лавируя парусами или ожидая лавирования, то проходили полную ежедневную норму обучения. И поскольку мы были в разных вахтах, то только на инструктаже мы Гауссом видели наших сослуживцев Тарабочча и Гумпольдсдорфера.

Тарабочча, как мы оба чувствовали, далеко шагнул от своей довольно неприятной юности, с которой он покончил, поступив в Морскую академию. Возможно, смерть закадычного друга Каттаринича в прошлом году отрезвила парня. Хотя мне он никогда особенно не нравился, но с ним можно было общаться, тем более теперь, когда наше понимание морского дела и проворство в воздухе почти сравнялись с его собственными. Дела же у бедного Тони Гумпольдсдорфера шли не очень хорошо и становились все печальней с каждой неделей.

Сам по себе он был очень милым юношей — добродушным, вежливым и не обидчивым, при этом несомненно красивым. Серьезный, медлительный голубоглазый блондин из окрестностей Клагенfurта в Каринтии, где его отец работал доктором. Однако его дружелюбие каким-то образом ухудшало ситуацию. По мере продвижения экспедиции мы все чаще задавались вопросом, как вообще «Дер Гумперль» сумел попасть в Морскую Академию в целом и в эту экспедицию в частности. Макс Гаусс считал, что этот случай напоминает ему «математических идиотов», о которых он читал однажды. Люди могут мгновенно посчитать квадратный корень из двухсот девяноста семи до четвертого знака после запятой или вспомнить, что 19 февраля 1437 года была среда, но неспособны завязать шнурки или самостоятельно дойти до почты и отправить письмо.

Гумпольдсдорфер хорошо проявлял себя в навигационных классах, по крайней мере, его решение задачек линиеншиффслейтенанта Залески не было заметно хуже, чем у других. Просто казалось, что он абсолютно, мучительно не мог установить связь между теорией и практикой. Бедный парень оказался лишен здравого смысла как никто, кого я встречал в своей жизни. По сути, я бы описал здравый смысл как нечто противоположное тому, что делал Тони Гумпольдсдорфер при любых обстоятельствах.

Я хорошо помню первую морскую вахту, которую он стоял после того, как мы вышли из Полы. Ему доверили получасовые песочные часы и разъяснили самые простые инструкции: в течение четырехчасовой вахты каждый раз, как часы наполнятся, нужно их перевернуть, затем ударить в рынду один раз на полчаса, прошедшие с начала вахты, два раза после часа, три раза через девяносто минут и так до восьми ударов в конце дежурства, что составит (это добавил боцман Негошич, чтобы внести полную ясность) тридцать пять ударов за четыре часа. Гумпольдсдорфер кивком дал понять, что все понял, и мы пошли вниз в свои гамаки. Стоило только заснуть, как вся нижняя вахта выпрыгнула из гамаков, разбуженная звоном колокола.

Ошарашенные матросы в нижнем белье ринулись по трапам хватать ведра, решив, что корабль охвачен огнем, а затем увидели Гумпольдсдорфера, который, высунув от усердия язык, отсчитывал тридцать пять ударов, сигналивая нам о завершении первого получаса ночной вахты.

Короче говоря, если и существовала возможность сделать работу через задницу, Гумпольдсдорфер эту возможность однозначно нашел бы, а его телячье смущение только ухудшало ситуацию, потому как никто не мог по-настоящему на него разозлиться.

Фраза «Ach so: dürft'ich nicht so machen?» («Ох! Значит, я не должен был так делать?») стала девизом кадетов вахты правого борта. При этом, как я уже говорил, он был очень приятным юношей, всем нравился, и мы покрывали его как только могли, проявляли снисхождение и относились к парню как к слегка придурковатому родственнику, но всякий раз держаться подальше, если он работал на палубе.

Одним душным безветренным утром в двадцатых числах августа посередине Атлантики, где-то к северу от экватора, нас, кадетов, собрали, чтобы научить работе с сорокасантиметровой торпедой Уайтхеда под руководством боцмана торпедомайстера Кайнделя. «Виндишгрец» был вооружен восемью подобными устройствами с двумя поворотными тубами на нижней палубе для их разрядки. Все собрались у носового торпедного аппарата и изучали спусковой механизм. Мы уже изучили торпеду на предыдущем уроке, используя разрезанный вдоль образец с рабочими деталями, окрашенными в яркие цвета для большей наглядности. Но сегодня торпеды были настоящие, и мы собирались выстрелить одной из них.

По идее, это следовало бы делать в гавани, чтобы не потерять торпеду, но в тот день мы ничем не рисковали: с восхода солнца корабль не

проплыл и сотни метров, кроме того, у борта наготове стояла шлюпка, чтобы подобрать торпеду в конце установленной четырехсотметровой дистанции. Гаусса назначили командиром операции, меня — наводчиком, крутить бронзовое колесо, чтобы навести торпедный аппарат через одно из бесчисленных полукруглых прорезей, а Гумпольдсдорфер отвечал за зарядку. Тарабочча и еще один кадет затолкают торпеду со специальной тележки в аппарат, а Гумпольдсдорфер захлопнет и закроет крышку, а затем сообщит, что мы готовы поджечь небольшой заряд черного пороха, который вытолкнет торпеду из аппарата, как пробку из бутылки.

— Хорошо! — крикнул Кайндель. — Зарядить торпеду!

Тарабочча с помощником закричали от усилий, перекладывая натертую маслом бронзовую торпеду весом в четыреста килограмм с тележки в трубу.

— Торпеда заряжена! — прокричал Гумпольдсдорфер.

После паузы громкий металлический лязг дал понять, что крышка закрыта и заперта.

— Крышка закрыта, к пуску готов!

Я подумал, что раз слышал щелканье замка, то хотя бы в этот раз он сделал все правильно.

Гаусс прищурился, прицелившись в мишень — пустую бочку, качающуюся на волнах метрах в трехстах по левому борту.

— Установить угол сорок градусов!

Я поворачивал колесо, перемещая аппарат. Тридцать градусов...

Тридцать пять градусов...

— Аппарат повернут на сорок градусов!

Я дернул рычаг стопора, чтобы зафиксировать аппарат, хотя особой необходимости в этом не было — в мёртвый штиль корабль держался устойчиво, как собор. После паузы Гаусс дернул шнур, последовал толчок, потом приглушённое «бум!» воспламенившегося пороха. Мы бросились к левому борту и, когда рассеялся белый дым, увидели, что торпеда плавает в десяти метрах перед носом корабля, покачиваясь на волнах, как спящий дельфин. Команда с шлюпки обвязала торпеду тросом и вытащила на борт, а мы побежали на палубу — узнать, что же пошло не так.

— Может, мотор забарахлил, — предположил Кайндель. — Знаете, эти штуки капризны, как женские часики. Даже не знаю, чего мы с ними возимся... — он умолк, изумлённо глядя на торпеду. Потом взревел: — Кадет Гумпольдсдорфер, сейчас же иди сюда, недоумок!

— Что случилось, торпедомайстер?

— Смотри сюда, кретин... — Кайндель ткнул в торпеду пальцем, дрожащим от гнева, как тростинка лозоходца.

Мы всмотрелись. Фанерные зажимы, защищающие оба винта торпеды во время транспортировки, всё ещё оставались на месте. Их надлежало удалить, как только боеприпас извлекли из минного погреба, перед тем как положить в загрузочную тележку — и сделать это должен был Гумпольдсдорфер. Он залился краской, но все остальные не смеялись, а только смущённо отводили глаза. В наказание Гумпольдсдорфера отправили на четыре часа на топ мачты, а после того как он спустился — велели заново накачивать сжатым воздухом бак торпеды, который до этого пришлось опорожнить, поскольку раз рычаг запуска торпеды засбоил при зажигании, торпеду просто невозможно деактивировать как-то иначе. Огромный резервуар закачивался ручным насосом и имел рабочее давление в восемьдесят атмосфер, так что бедняга Гумпольдсдорфер возился с ним до следующего утра.

Мы пересекли экватор двадцатого августа, спустя две недели и пять сотен миль после того, как вышли из Фредериксбурга, примерно на двадцати градусах западной долготы — поскольку наш капитан, долгое время изучавший карту ветров, был уверен, что в это время года здесь самый узкий пояс штиля. Как оказалось, он не ошибся. На следующий день лёгкий бриз отнёс нас к югу, так что мы подхватили устойчивый юго-восточный пассат. Однако экватор мы еще не пересекли, поэтому во второй половине дня предполагалась традиционная морская вакханалия — «Экватортауфе», или крещение экватором.

С самого утра мы с Гауссом устроили розыгрыш. Я нашёл Гаусса на палубе, откручивающим линзу с объектива подзорной трубы.

— Гляди, — он проложил посередине линзы волос, потом аккуратно винтил её на место. — А теперь пошли со мной.

Он сунул за пазуху джемпера подзорную трубу, прыгнул на ванты грот-мачты и стал взбираться наверх, к Тони Гумпольдсдорферу, торчавшему на марсовой площадке. Тони отправили туда примерно час назад, выискивать дымы проходящих пароходов. Уже две недели мы не встречали в море ни единого судна и начинали чувствовать себя одиноко, а кроме того, хотели отправить письма домой и пополнить запас чтива, особенно теперь, когда кают-компанейский экземпляр «Жозефины Мутценбахер» ^[20] — произведения «классической» литературы для левой руки — вконец рассыпался в результате совместного воздействия тараканов и жаркого юношеского дыхания. Гумпольдсдорфер таращился на безжизненно-гладкое море, вцепившись в ванты и ошалев от солнца.

Дул лёгкий бриз, но корабль шёл со скоростью всего один-два узла. Гаусс подтолкнул Тони.

— Вижу экватор, Гумперль!

— А? Чего?...

— Я сказал, виден экватор, болван. Вон, гляди, — Гаусс аккуратно протянул ему подстроенную подзорную трубу, так, чтобы волос в линзе оказался параллелен горизонту. Гумпольдсдорфер посмотрел в трубу, и тут же, прежде чем мы успели его остановить, обернулся и завопил на всю палубу:

— Вижу экватор, прямо по курсу!

Крошечная фигурка вахтенного офицера на палубе возле дымовой трубы — линиеншиффслейтенант Свобода — посмотрела вверх, на нас.

— Что ты сказал? — крикнул он.

— Осмелюсь доложить, герр лейтенант, вижу экватор, прямо по курсу!

Последовала зловещая пауза, потом ответ:

— Кадет Гумпольдсдорфер, спускайтесь на палубу. На пару слов.

Мы с ужасом смотрели, как Гумпольдсдорфер спустился и отдал честь. Свобода что-то у него спросил, и Гумпольдсдорфер протянул подзорную трубу. Свобода выхватил трубу, отошёл в сторону, посмотрел в неё. А потом вернулся и ударил Гумпольдсдорфера подзорной трубой по голове. Мы с Гауссом молчали — сказать было нечего, оба чувствовали себя мерзавцами. Хуже всего оказалось то, что Гумпольдсдорфер отнёсся к этому как к прекрасной шутке и даже поздравил нас с такой изобретательностью. Лучшее, что мы смогли сделать — тем же вечером вытащили из сундучка Гаусса одну из драгоценных банок сливового джема и разделили его с нашей жертвой.

Истинный экватор, по крайней мере, так утверждал секстант, мы пересекли в полдень. Об этом объявили с мостика, и точно в четыре склянки король Нептун и его свита взошли на борт: помощник боцмана Йосипович и еще более скользкие личности.

Например, жена Нептуна — помощник старшего канонира с париком из шкимушки [\[21\]](#) на голове и макияжем шлюхи из Спалато. Духовник Нептуна — плотник в епископской митре и с приборником в качестве епископского жезла.

Дочка Нептуна — рулевой Кралик с грудями из окрашенной в розовый цвет парусины, личный лекарь Нептуна — санитар со зловещего вида шприцем, выпускающим мыльные пузыри, личный кассир Нептуна — помощник корабельного кассира с ящиком для денег и щипцами для

взыскивания штрафов.

Они прошлись парадным маршем по палубе под грохот барабана, свист горна и визг аккордеона, а потом началась потеха. Все, кто не мог предъявить сертификат, что уже пересекал экватор, подвергались всяческим унижениям в корытах с водой, их брили гигантскими деревянными бритвами на стульях, которые внезапно складывались, а под конец мазали лица разными красками.

Пассажиров не трогали, если только она сами не хотели присоединиться, но не офицеров. Но так уж случилось, что только незадачливый фрегаттенлейтенант О'Каллахан еще не пересекал экватор, и потому его единственного из кают-компаний в этот полдень окунули, намылили, выскоблили и покрасили. К этим пыткам, следует отметить, он отнесся с юмором.

Непонятно было только, что делать с капелланом. Он еще не пересекал экватор, но его не вполне можно считать членом экипажа, да и кроме того, даже самые твердолобые скептики нижней палубы сомневались в уместности мазюкания рукоположенного священника красной краской. Кто знает, какие неудачи могут за этим последовать.

В итоге отец Земмельвайс сидел на носовом срезе полуюта, наблюдая за богохульными ритуалами, что разворачивались ниже. Наверное, так пугливый миссионер из Рима наблюдал, как отряд викингов приносит в жертву лошадей и пленников — нервно улыбаясь и всё время оглядываясь на ворота, ведущие из укрепленного лагеря.

В конце церемонии нам всем вручили сертификаты, заполненные красивым каллиграфическим почерком (свой я хранил потом еще долгие годы), и на этом все. Теперь мы, кадеты, официально превратились в настоящих морских волков.

Единственное, что нам осталось до полного посвящения — обогнуть мыс Горн с востока на запад, и тогда мы сможем плевать против ветра и пить за здоровье императора, положив ноги на стол в кают-компаний. Может, в следующем году или через год, думали мы...

Двадцать третьего августа, в четырех градусах южнее экватора и примерно на полпути между Африкой и Бразилией, паруса внезапно наполнились ветром. Мы попали в зону юго-восточных пассатов.

Два дня мы плыли строго на юг, пока ветер не установился и не посвежел, а затем повернули на запад, в сторону Пернамбуку, и помчались с устойчивой скоростью восемь-девять узлов. Африку мы уже видели, а теперь намеревались взглянуть (хотя бы и мельком) на Южную Америку.

Но для меня, хоть я никак тогда не мог этого знать, пребывание в

Пернамбуку станет жизненной вехой. Намного важнее, чем пересекать воображаемые линии в океане или ступать на новые континенты.

Но название Пернамбуку — не совсем правильное: это самая северо-восточная провинция Бразилии, а порт, в который мы зайдем на пять дней, местные знали под именем Ресифи, и он располагался на острове, соединенном с материком мостами.

Я не вполне уверен, как случилось, что название провинции перешло на столицу, но так уж повелось в моряцкой среде тех дней.

Хотя вряд ли это что-то меняло: до Первой мировой войны по всему миру берега усеивали города, целиком зависевшие от парусников и их команд, а местоположение определяли ветра и теперь уже давно исчезнувшие торговые маршруты, которые они раньше обслуживали: Хобарт и Кантон, Икике и Порт Виктория — теперь уже давно позабытые имена, и пустынные ветра шумят посреди обветшалых верфей и проржавевших лачуг там, где когда-то тысячи матросов сходили на берег в увольнительную, чтобы просадить накопившееся жалованье на выпивку, карты и шлюх.

Пернамбуку в 1902 году не входил в первую десятку портовых городов, но уж точно входил во вторую, поскольку обслуживал большую часть северо-бразильской торговли кофе, сахаром и хлопком.

Прибыв туда тем сентябрьским утром, мы насчитали в гавани пятьдесят восемь кораблей — парусников и пароходов. С невероятными трудностями, раздавая взятки направо и налево, мы все же нашли место в дальнем углу гавани между двумя другими военными кораблями — зашедшим с протокольным визитом французским броненосным крейсером «Данфер-Рошро» и американским шлюпом, взыскивающим долги с непокорных.

Мы бросили якорь, безупречно свернули паруса, спустили верхние реи и стены на палубу.

Назначили портовую вахту, извели месячный запас карболки, чтобы привести корабль в состояние, пристойное для приема делегаций, а когда закончили — спустили шлюпки для моряков, отправляющихся в увольнительную, а те пока суетились на нижней палубе, бреясь и наглаживая белую парадную форму.

В начале первой собачьей вахты удостоенные увольнительной построились на палубе для инспекции боцманом и вахтенными офицерами, а когда их признали пригодными, то приказали получить у казначея накопленное жалованье и премии, выдаваемые золотыми монетами в двадцать крон.

Процедура закончилась, последовала команда погрузиться в шлюпки и грести на берег, где матросы уже приготовились разбрасывать накопленные за два месяца в море деньги и энергию.

Судя по всему, найти развлечения в Пернамбуку можно было без проблем. До сих пор мы посетили только два заметных города — Гибралтар и Фритаун. Богобоязненные, степенные и несколько неряшливые места под властью Британской короны.

Пернамбуку никак не подходил ни под одно из этих чопорных определений. На самом деле, он считался чем-то типа морского пограничного городка, слишком необузданного и развращенного, чтобы выпускать в него группу юных морских кадетов без присмотра. Так что нас оставили на борту и нагрузили работами по чистке и покраске под руководством линиеншифслейтенанта Микулича, который пребывал в более отвратительном, чем обычно, настроении, поскольку нес дневные вахты.

Нас, четверых кадетов-второкурсников, послали в трюм, в еле освещенный канатный ящик, дав убийственную задачу очистить ржавчину и старую краску с якорной цепи. Звено за звеном, используя только песок и куски старой парусины. Непередаваемо отупляющее занятие.

В полдень следующего дня начали прибывать шлюпки с моряками, возвращающимися из увольнения. Первые партии выживших после ночного кутежа. Мы прокрались, чтобы взглянуть на них через открытый световой люк — сцена напоминала нечто среднее между отступлением под Москвой и картиной Жерико «Плот «Медузы»».

Примерно семидесяти ходячим раненым — результат местного рома и драк — санитары при необходимости оказали первую помощь, а затем сопроводили или перенесли на нижнюю палубу, чтобы те отоспались от одного из самых убийственных похмелий в истории австрийского флота.

Позже нас заставили драить орудийную палубу прямо у них над головами, и мы не уставали развлекаться, слушая их стоны и проклятья, когда кто-то из нас ронял швабру.

На третий день этого визита и для кадетов настала очередь сойти на берег. Нас, одетых в белые парадные мундиры с кортиками на ремне, переправили туда на десятиметровом баркасе. В ушах еще долго звенели прощальные инструкции капитана — вести себя достойно, как будущие австрийские офицеры, представители самого почтенного и самого католического правящего дома Европы.

Впрочем, возможностей вести себя иначе у нас было не много — едва выгрузившись с баркаса, мы оказались в окружении бдительного и

непреклонного эскорта из старшин во главе с линиеншиффслейтенантом Свободой, значение фамилии которого мы вспоминали с сожалением, и фрегаттенлейтенантом Буратовичем, раздраженным тем, что из-за опоздания на вахту его не отпустили в увольнение.

В общем, единственной уступкой тому, что моряки обычно считают увольнением на берег, было лишь то, что нас не заковали лодыжка к лодыжке в кандалы и не приставили охрану с примкнутыми штыками.

Мы строем обошли собор, ботанический сад, здание местного правления, президентский дворец, музей древностей («примечательная коллекция глиняных артефактов доколумбовой эпохи»), а также прочие достопримечательности: колониальный португальский стиль, обваливающиеся фасады, окрашенные охрой, обилие синей и белой керамической плитки.

Несмотря на строгий регламент нашей экскурсии и сильную жару, я решил, что Пернамбуку — или Ресифи, как, я полагаю, следует называть его теперь — мне, пожалуй, нравится. Хотя, должен признать, город это грязный, перенаселённый и довольно убогий.

Но я всегда именно так и представлял себе тропики — испанские колонии из пиратских историй. В сравнении с унылой, сырой и нездоровой серостью Фритауна это место просто звенело жизнью, сверкало кричаще-яркими красками, как крылья попугая.

А что касается его обитателей — мы, выросшие среди розовато-серого однообразия Центральной Европы, оказались просто не готовы к такой обширной цветовой гамме. Казалось, этот город придуман как своего рода палитра пигментации человеческой кожи, наподобие тех раскладок с маленькими блестящими образцами цветов, которые можно взять в мастерской декоратора.

На этих бурлящих улицах были все: от западноафриканского иссиня-черного через шоколадно-коричневый и китайский светло-липовый к индейскому медному, португальской корице и североевропейскому розовому. Разинув рот от изумления, мы рассматривали потрепанное великолепие людей и их костюмов. Цвета, которые под северным небом выглядели бы отвратительно, здесь казались совершенно правильными и предопределенными богом, как оперение ярких птиц, трепещущих в ветвях дерева джакаранда в муниципальном парке.

Если таков мир за пределами Европы, то большинство из нас пришло к выводу о правильности выбора профессии, особенно когда девушки с большими темными глазами, гулявшие с мамами в *jardim botânico*, начали украдкой поглядывать в нашем направлении.

В тот момент и мы, и они находились под строжайшей опекой. Но всего через несколько лет мы могли бы вернуться сюда лейтенантами в черно-желтых портупелях без назойливых унтер-офицеров.

Наступил вечер, и нас загнали на борт. Двое кадетов смогли ускользнуть от эскорта, и теперь их искали пикеты морской полиции. Что касается остальных, то завтра утром мы возобновим работы над такелажем и прочими бесконечными задачами по поддержанию в чистоте и порядке парусного корабля. Прочей же команде дали двухдневное увольнение, и они испарились еще позавчера.

Самые слабые уже вернулись на борт и теперь лежали на нижней палубе как брёвна, но «выздоровливающие» из первой партии, отпущенной на берег, уже потихоньку начинали ковылять по кораблю — бледные, с ввалившимися глазами.

На следующий день меня присоединили ко второй собачьей вахте с шести до восьми вечера: стоять наготове у трапа правого борта для встречи каких-то особых гостей. Казалось, это будут скучные два часа, особенно после того, как все рутинные действия были выполнены. Тотчас после того, как мы встали на якорь, местный медицинский офицер поднялся на борт, чтобы провести необходимый медосмотр — то есть пронестись трусцой вдоль выстроенных в шеренги матросов, прежде чем подписать бумагу, провозглашающую наш корабль свободным от желтой лихорадки, оспы, бубонной чумы, холеры, сибирской язвы и прочих мелочей.

Местный губернатор и его семья посетили «Виндишгрец» в первый же вечер, и их развлекали в капитанской каюте, а епископ, монсеньор Фернандес, нанес визит на следующий день. В тот же день к нам зашли выпить офицеры французского и американского кораблей — это традиция в иностранных портах — и на этом всё, больше никаких посещений до конца нашего пребывания.

Капитан с облегчением переоделся и на следующее же утро на своей гичке уплыл на берег и исчез неизвестно где. Ученые тоже сошли на берег: профессор Сковронек намеревался прочитать лекцию на тему «Опасность межрасовых браков» в местном сообществе евгеники, хотя немного поздно — к такому выводу мы все пришли после тура по Пернамбуку.

Что касается офицеров, то все они растворились, приняв приглашение пару дней погостить в глубине страны. Все, за исключением несчастного фрегаттенлейтенанта Буратовича, еще отбывающего наказание за опоздание на вахту.

Пока что всё затихло, насколько это возможно на паруснике, бросившем якорь в порту. Я стоял у поручней, раздумывая, могу ли

рискнуть и незаметно облокотиться, чтобы понаблюдать за солнцем, садящимся в покрытые лесом холмы. Одолевала скука, хотя, несомненно, вокруг было очень красиво, особенно когда на берегу начали зажигаться первые огоньки. Неожиданно снизу послышался голос, и к кораблю подплыла лодка. Это оказался зеефенрих Коларж на корабельном ялике.

— Эй, на палубе! Это ты, Прохазка?

— Привет, Коларж, — сказал я, выйдя на решетку наверху трапа. — Что случилось? — Я уловил нотки беспокойства в его голосе.

— Это насчет капитана, мы его потеряли.

— Что к чертям значит «потеряли»?

— На набережной ходят слухи, что где-то в городе с капитаном австрийского корабля произошло нечто ужасное. Только я не знаю, что случилось или где. Вернее, все вокруг говорят, будто знают, что и где, но я не понимаю португальский, поэтому не могу ничего разобрать. Позови вахтенного офицера.

Я кинулся вниз и постучал в дверь каюты Буратовича. Он сидел без кителя и читал старый и весьма замусоленный экземпляр венского фривольного журнала «Пшютт».

— Какого черта тебе нужно, Прохазка?

— Разрешите доложить, герр лейтенант, там зеефенрих Коларж, и он говорит, с капитаном что-то случилось. Поднимитесь, на палубу, пожалуйста.

Буратович закричал, надевая китель.

— На самом деле, — проворчал он, — это уже слишком. Может человек получить хотя бы немного покоя вечером? Помяните мое слово, быть офицером этого корабля даже хуже, чем сидеть в тюрьме. Одна чертовщина за другой... — Он проследовал за мной на палубу и послушал объяснения Коларжа.

— Ладно, Коларж, если вы не знаете, может быть, у кого-то еще есть идеи, куда делся старый дурак или что с ним случилось?

— Осмелюсь доложить, герр лейтенант, никто точно не знает, и совершенно точно там никто не говорит по-немецки.

— О господи, это значит, что кто-то должен пойти и поискать его. Ну, я, конечно, пойти не могу, ведь я единственный офицер на борту... Прохазка, вы вроде бы сообразительный человек, идите вниз, возьмите пикет морской полиции и дуйте на берег искать капитана.

— Со всем уважением, но где, герр лейтенант?

— Господь всемогущий! Ты, полудурок, если бы я знал, где его искать, я бы тебя туда не отправлял, не так ли? Ищи по всему городу,

улица за улицей. Ориентируйся на звук, где-то должна подняться суета, если его переехал трамвай или что-то вроде того. Если ничего не выйдет, ищи в местных больницах.

Вот так получилось, что сентябрьским вечером 1902 года, как только короткие тропические сумерки легли на портовый город Пернамбуку, я, шестнадцатилетний морской кадет Австро-Венгерской монархии, обнаружил себя во главе пикета морской полиции, состоящего из восьми крепких усатых далматинских моряков, вооруженных винтовками с примкнутыми штыками.

Перед нами стояла незавидная задача. Никто из нас не говорил по-португальски, а лежащая перед нами часть города состояла из плотной сети улиц и проспектов, пересекающихся под прямыми углами.

Нас было маловато, чтобы стучаться в каждую дверь поочередно и спрашивать, нет ли внутри «капитано аустриако», раненого или иным образом пострадавшего. Так что пришлось пробиваться через толпу на набережной и обыскивать улицу за улицей в надежде, что удача приведет нас к командиру.

Безусловно, на нас косились с удивлением, когда мы вошли в матросский район. Я бы очень не хотел оказаться здесь в одиночестве в сумерках, когда из питейных притонов на улицы вываливаются пьяные драчуны.

На одном перекрестке кольцо подбадривающих моряков окружило ножевую драку, а на другом толпа гуляк смотрела на французского матроса без штанов, танцевавшего хорнпайп. Что касается коренных обитателей этого квартала, даже хорошо воспитанному юноше из Центральной Европы вроде меня не нужно объяснять, какого рода торговля шла на этих улицах, однозначно не имевшая ничего общего с хлопком, кофе или сахаром.

Мы миновали одну такую оживленную улицу, и я начал задумываться, в какой момент мы смогли бы достойно отказаться от поисков незнамо чего в неизвестном городе с неизвестным языком.

Затем впереди я увидел небольшую толпу, собравшуюся у дверей богато украшенного, но довольно обшарпанного двухэтажного дома, своего рода сгусток уличной суеты. Люди стояли довольно мирно, и кто-то держал керосиновую лампу, так что я заключил, что это не очередная драка.

Мы протиснулись сквозь зевак к центру круга. Пять или шесть мужчин с лампой нагнулись над фигурой, лежащей в дверном проеме. Когда я приблизился, один из них встал, нащупывая пульс жертвы. Он заговорил по-английски.

— Н-да, Джим, похоже, ему крышка, это точно.

«Он?» Но у дверей лежала крупная женщина в длинном черном шелковом платье с пышными нижними юбками... Затем все расступились, и я увидел, что у женщины знакомая длинная седая борода. Не может быть... Но это так, глаза фрегаттенкапитана Максимилиана Славеца, барона фон Лёвенхаузена слепо смотрели на нас в свете керосиновой лампы. Человек, названный Джимом, повернулся ко мне.

— А ты кто, молодой сэр?

— Кадет Отто Прохазка, сэр, Австрийский паровой корвет «Виндишгрец», стоящий на якоре во внешней бухте. Боюсь, что этот человек — наш капитан.

— Был вашим капитаном, вы имеете ввиду. Похоже, он умер от апоплексического удара.

Я понял, о чем он говорит — лицо Славеца приобрело грязный сине-пурпурный цвет, а из уголка рта стекала тонкая струя кровавой пены.

— Однако, если я правильно понял, ты сказали, что ты с австралийского корабля? По произношению ты не похож на австралийца, сынок.

— Нет, потому что мы не австралийцы, а австрийцы, понимаете? Австрий-цы.

Он посмотрел на меня с очевидным недоверием.

— Ну, может и так. Всё, что я могу сказать, хорошенькое дельце послать сюда юношу вроде тебя, чтобы забрать своего капитана с порога борделя.

— Мы можем внести его внутрь? Убрать с улицы?

— Никаких шансов, юный сэр: похоже, с ним там плохо обошлись, просто вышвырнули оттуда, чтобы не иметь потом проблем с полицией. А теперь заперли дверь, и мы их не заставим открыться. Они никому не ответят. Если хочешь совет, то лучше забрать его на корабль как можно скорее и надеяться, что никто не станет задавать вопросов.

Итак, с помощью Джима и его товарищей мы взяли старую дверь, положили на неё нашего уважаемого командира, завернутого в позаимствованную простыню, и на плечах отнесли его сначала на пристань, а затем на шлюпке переправили на корабль.

Вот что такое ответственность, подумал я. Четыре часа назад я был сопливым кадетом, соскребающим старую краску с якорной цепи как чернорабочий, а теперь стою у трапа правого борта, желая доложить вахтенному офицеру, что в шлюпке лежит тело нашего капитана, переодетого женщиной и умершего, очевидно, от инсульта, перенесенного

в борделе.

Думаю, именно тогда я понял, что есть преимущества в том, чтобы быть самым младшим в служебной иерархии, особенно если до буквы выполнять свой долг в полной уверенности, что если произойдут какие-то ужасные последствия, то это уже не твоя ответственность и с ней придется разбираться вышестоящим начальникам.

На другой день поднялась ужасная суматоха, это уж точно: шлюпки ракетами летали между кораблем и берегом, офицеры посылали в Вену срочные телеграммы и получали не менее срочные ответы.

А что касается меня, то я нечаянно заслужил такую пирушку на нижней палубе, на какую не мог рассчитывать ни один младший кадет. Меня бесконечно расспрашивали о каждой детали одежды «Старика», когда мы его нашли — стеклянные бусы, как говорят некоторые, или искусственный жемчуг? Я играл роль человека бывалого, для которого обнаружить на пороге бразильского борделя мертвым своего старшего офицера, переодетого женщиной — дело привычное. Слушатели внимали мне открыв рот.

В конце концов, все прошло гладко, как это и бывает в вооруженных силах. Местная полиция оказалась невероятно коррумпированной, так что не возникло какой-либо чепухи, связанной с задержкой отплытия из-за расследования. Корабельный хирург провел поверхностное вскрытие, которое подтвердило причину смерти — внутримозговое кровоизлияние из-за сильного перенапряжения. Тем всё и кончилось. В связи с жарким климатом похороны назначили на следующий полдень.

Осталось только уладить несколько деталей, необходимых для оформления австрийского сертификата о смерти, также требовалось забрать из борделя одежду капитана.

Эту задачу поручили линиеншифслейтенанту Залески, отчасти потому, что он неплохо знал португальский и мог взять показания у хозяйки заведения, отчасти потому, что он успел (как поговаривали) за время своих предыдущих визитов в Пернамбуку стать другом этой дамы.

К моему удивлению, Залески потребовал, чтобы я сопровождал его, дабы вести записи и засвидетельствовать заявление хозяйки. По этому поводу я вопросов не задавал: Залески всех приучил никогда не задавать ему вопросов. Так что я взял блокнот, карандаш, вещевой мешок для капитанской одежды и присоединился к линиеншифслейтенанту, после чего нас на гичке перевезли на берег.

Каса да Рефрескаменто оказалась мрачным местом, как и можно было ожидать, учитывая, чем там торговали. Ближе к полудню учреждение было

закрыто уже несколько часов, после того как последний бледный гражданин пробрался домой после ночного кутежа.

Пара дамочек потягивались и позевывали на балконе, но нам открыла пожилая смуглая служанка, которая проводила нас в выложенный плиткой коридор.

Хозяйка вышла и поприветствовала нас обоих, затем взяла лейтенанта за руку и указала на свой кабинет. Я должен был ждать в коридоре? Прежде чем я понял, что происходит, они подтолкнули меня к каменной лестнице на второй этаж и открыли дверь.

— Так, Прохазка, мне нужно примерно сорок минут, не нужно нас сопровождать, я позже продиктую вам показания. А пока что займитесь чем-нибудь полезным.

Меня охватила внезапная паника.

— Но герр шиффслейтенант...

— Идите туда и получайте удовольствие. Это приказ.

Дверь захлопнулась. Я обернулся. Она стояла спиной к трепыхающимся жалюзи. Темноволосая симпатичная девушка примерно моего возраста, в одной нижней юбке. Я покраснел и неловко вцепился в дверную ручку, пытаясь сбежать.

— Desculpe senhorita... эээ ... Não falo bem portugues...

— Proszę, nie trzeba się przejmować. ^[22] — она улыбнулась.

Я озадаченно замер.

— Но вы говорите по-польски, я не понимаю, как вы узнали?

— Мне сказал лейтенант Залески. Я говорю по-польски потому, что я Стефания Одржуттик из Кржеминики в Галиции, также известная как донна Роза Амелия с улицы Амилькара Карвальо.

— Но что вы здесь делаете?

— Трахаюсь в основном. Люди не ходят в бордели читать газеты.

— Но как вы сюда попали?

Я, конечно, слышал многое о южно-американской торговле белыми рабами, желтая пресса Центральной Европы в те дни была нафарширована сенсационными историями о невинных молодых девушках, усыпленных хлороформом на пути домой с фортепьянных уроков и проснувшихся в борделях на набережной Буэнос-Айреса. Жертвы сутенеров с фамилиями типа Глюкштейн и Апфельбаум, похищенные и вывезенные в Латинскую Америку безо всякой надежды дать знать о своем местонахождении страдающим родителям.

— Просто приплыла из Генуи на пароходе, как и все, — сказала она.

— Ты была одна? Тебя накачали снотворным и заперли в каюте?

— Нет, глупыш, — она рассмеялась, — нас было восемь человек, и мы приехали из Лемберга. И никто нас не запер, мы договорились с нужными людьми.

— Вы знали, зачем едете сюда?

— Конечно знали, герр Грюнбаум все с нами обсудил. Мы могли бы делать это триста раз в день по две кроны за раз в военном борделе или восемь раз в день по пятьдесят крон в доме повыше классом в Лемберге. Или мы могли приехать сюда, но только самые красивые из нас, на двадцать пять раз за пятьсот эскудо плюс питание и жилье бесплатно, что составляет прибавку в пятнадцать процентов. Также мы получаем пособие на одежду и бесплатное медицинское обследование каждую неделю, выходной в среду после обеда и отдых по воскресеньям после мессы и в дни святых. Так что всё вместе — в общем-то неплохая сделка.

— Как по мне, это ужасная сделка.

— Это потому что ты мужчина, ну, почти, и притом шикарный. Для девушки типа меня это единственный способ вырваться. Если честно, жизнь в Кржеминиках была бы гораздо хуже, какой-нибудь вонючий крестьянин пользовал бы меня как корову и брюхатил детьми каждый год, а затем, через девять месяцев, ожидал, что я буду таскать воду ведрами из деревенской водокачки по грязи.

— А как же деградация, риск заболевания...

— Заболевания? Половина жителей нашей деревни умерла в прошлом году от тифа, и они так же мертвы, как если бы умерли от сифилиса, но при этом еще и заработав немного денег.

— И неопределенность...

— Не говори мне о неопределенности, единственная определенность, которую я имела в Галиции — судьба дерьмового бедняка до конца жизни. Нет, здесь мне не нужно ходить с сосульками, полгода свисающими с задницы, здесь есть вино и симпатичные платья, а некоторые клиенты весьма неплохи, иногда они делают мне подарки... — Она захихикала. — Есть один кофейный плантатор, на которого я положила глаз. Кажется, я ему нравлюсь, в любом случае, он продолжает заходить. Я думаю, что могла бы выйти за него замуж и стать уважаемой дамой, ходить на мессу в черной мантилье и открыть благотворительное общество для падших женщин. Я могла бы даже разбогатеть и вернуться однажды в Вену как графиня. Короче... — она повернулась ко мне, — не думаю, что ты пришел сюда говорить о деловой части, так что давай перейдем к действиям...

Она легла на кушетку и задрала юбку. Я в отчаянии оглянулся на

дверь. Она заметила это и улыбнулась.

— Первый раз?

Я мрачно кивнул.

— Ну что же ты не сказал, глупыш, дай я тебе помогу.

Штефка Одржутик из деревни Кржеминики в восточной Галиции была по-деловому любезна.

Как и можно было ожидать от шестнадцатилетнего юноши в первый раз, процесс закончился чуть ли не раньше, чем начался, и я лежал, задыхающийся и смущенный рядом с ней, как выброшенная на берег рыба, пока она гладила меня по голове.

Стояло утро, клиентов еще мало, и она смогла выделить чуть больше времени, чем обычно в своем напряженном рабочем графике. Затем помогла мне одеться, вытолкнула на лестничную площадку, пожелала удачи и поцеловала на прощание.

Линиеншиффслейтенант Залески ждал, прислонившись к балюстраде. Сложив руки на груди, он вопросительно смотрел на меня полуприкрытыми черными глазами. Я покраснел, щеки залила пунцовая краска. Будучи выходцем из приличной буржуазной семьи, проведя детство в маленьком провинциальном городке, я, откровенно говоря, не привык к такому практичному отношению к внебрачным половым связям.

— Ну, как она, хороша?

— Я... эээ... разрешите доложить, герр шиффслейтенант, да.

Он слегка улыбнулся.

— Хорошая девочка Штефка, я знал, что она вам понравится. Ладно, нам нужно идти.

Я застыл. Руки в карманах. Внезапно меня настигла страшная мысль: у меня с собой нет и медного фартинга. Ужасные видения пронеслись перед моими глазами, ссора на иностранном языке с мадам внизу, вызвана морская полиция, меня под конвоем выводят и бросают в корабельную тюрьму, рапорт капитана и пожизненная отметка в моем служебном деле, возможно даже сообщение моим родителям, «приговорен к четырем дням заключения после ссоры в местном борделе. Арестован после того, как пытался уйти, не заплатив за услуги».

— Герр шиффслейтенант, разрешите доложить, что...

Залески снисходительно улыбнулся. Казалось, он точно знал, что у меня на уме.

— О, не беспокойтесь об этом, Прохазка. Я уже заплатил.

— Но герр шиффслейтенант... Как я могу возместить вам?..

— Не берите в голову. Это подарок на день рождения.

— Герр шиффслейтенант, разрешите доложить, что мой день рождения в апреле.

— Я знаю, но так уж случилось, что сегодня мой день рождения. Так или иначе, смотрите на это с точки зрения заботы о здоровье. Накопление семенной жидкости в течение долгого времени заставляет ее подниматься в мозг и затмевает человеческие способности к мышлению. Это научно доказанный факт.

Мы вернулись обратно на корабль: одно заявление получено, один комплект одежды возвращен, одна девственность потеряна. Я чувствовал себя странно еще некоторое время. К страху подхватить что-нибудь неприятное примешивалось смутное ощущение, что все прошло как-то неправильно, небеса должны были распахнуться и заиграть фанфары. Но я полагаю, все ощущают такое. Что касается Штефки Орджутик, то не имею ни малейшего понятия, что с ней стало.

Надеюсь, она вышла замуж за своего кофейного плантатора. Думаю, скорее всего ее ждала нищенская могила, куда она попала, измученная болезнями и тяжким трудом, но в Бразилии ей хотя бы не пришлось пережить две мировые войны, прокатившиеся по Польше безумным паровым катком.

Я знал ее всего пятнадцать минут, но память о ней до сих пор со мной, ее смелость и энергичность, и то как она сумела привнести чуть больше человечности в свою не слишком аппетитную профессию.

Похороны состоялись после обеда и стали, по общему мнению, одним из грандиознейших зрелищ, случившихся в городе Пернамбуку. Все население наблюдало за движением кортежа от причала к кладбищу аббатства на материке.

Мы позаимствовали орудийный лафет в местном гарнизоне, но всё остальные сделали сами: корабельный оркестр, безукоризненный отряд моряков, медленно марширующих за лафетом с перевернутыми винтовками, бархатная подушка с пришпиленными наградами Славеца поверх накрытого флагом гроба, его двууголка и сабля, покоящиеся рядом.

Получилось то, что венцы называют *ein schone Leiche*, «прекрасные похороны», и местные высоко оценили их, даже не являясь знатоками похоронной пышности.

Погода подпортила эффект на обратном пути с кладбища, когда небеса лопнули и низвергли проливной дождь. Когда мы достигли набережной, дренажная система нижнего города не выдержала и фонтаны сточных вод хлынули из колодцев и люков, мягко испаряясь на солнышке после того, как небо очистилось.

Судовой врач объявил тревогу и приказал всем срочно вернуться на борт, опасаясь вспышки тифа или даже холеры. Линиеншиффслейтенант Залески, Гаусс и я стояли на набережной, наблюдая за тем, чтобы никто не остался на берегу. Нам пришлось ждать отдельную гичку, потому что последняя лодка была перегружена и не могла взять нас на борт.

— Лучше выпить и перекусить, пока мы ждем,— сказал Залески, — завтра мы отплываем в Кейптаун, так что впереди у нас месяц на солонине и сухарях. Давайте, молодежь, поешьте чего-нибудь приличного, пока есть возможность.

Мы вняли его совету и составили ему компанию в баре на набережной, где он знал хозяина.

Там мы с Гауссом вкушали охлажденный кофе и напиток из рома и кокоса, который нам рекомендовали, а я попробовал восхитительные маленькие канапе с рыбой, предложенные хозяином, «сальгадиньос» или типа того. Наконец, прибыла гичка, и мы вернулись на борт, попрощавшись с Пернамбуку.

По возвращении мы нашли команду корабля в расстроенных чувствах. Не только из-за того, что мы похоронили капитана, а для корабля это сродни смерти монарха, но и из-за телеграмм, пришедших в наше отсутствие.

В одной из них корветтенкапитан Фештетич назначался на пост капитана до конца плавания. И как будто эта новость была недостаточно тревожна, другая телеграмма сообщала о судьбе десантного отряда Грабовского, отправившегося в джунгли Западной Африки полтора месяца назад.

Оказалось, что он в конце концов объявился в Бунсвилле. Скорее то, что осталось от отряда, всего два истощенных человека на носилках в жару и бреде — малярия, болотная лихорадка, желтая лихорадка, денге и все остальные лихорадки. Отряд начал болеть на четвертый день похода, и один за одним все умерли.

Что же пошло не так? Почему антилихорадочный коктейль профессора Сковронека так хорошо помог одному отряду и совсем не помог другому? Почему он не сработал даже против обычной малярии, хотя содержал суточную дозу хинина? Таинственная история, и даже профессор, что было для него нехарактерно, не мог никак это объяснить.

Глава десятая

НА ЮГ

Не то чтобы я был склонен размышлять о назначении нового капитана или грустной судьбе нашего исследовательского отряда. Вообще-то, к восьми часам вечера перед выходом из Пернамбуку стало похоже, что я могу вскоре разделить участь несчастного отряда Грабовского. Началось с тошноты, за ней последовали желудочные колики и рвота, затем потливость и озноб и, наконец, частичный паралич. Когда меня несли в лазарет, все встревожились.

Может, это быть холера, подхваченная из переполненной канализации на берегу? Но, определенно, даже холере нужна пара дней инкубационного периода. К этому времени, я сам, однако, не участвовал в дискуссии, поскольку температура у меня поднялась до уровня громоотвода главной мачты, и бессвязно бредил, а доктор Лучиени прикладывал мне на лоб лед и прилеплял на ноги горчичный пластырь. Только на следующее утро после того как мы подняли якорь и покинули Пернамбуку, стало ясно, что у меня острое пищевое отравление, вероятно, от рыбных канапе в прибрежном баре.

Это, однако, послужило для меня небольшим утешением, потому как первые десять дней путешествия по Южной Атлантике я чувствовал себя отвратительно и официально находился в списке выздоравливающих, сидел в плетеном кресле на полуюте с замотанными в плед ногами и потягивал мясной бульон. Даже после того как болезнь прошла, я опасался, что она сделала с моей морской карьерой, поскольку затронула лицевые нервы и оставила меня с постоянным, легким, но раздражающим тиком левого века, который окончательно пропал только через несколько месяцев. Во время выздоровления я корпел в лазарете над книгами по медицине и изучал себя как минимум раз в час в поисках опухолей или выделений, означающих, что я приобрел иной, более зловеющий по сравнению с моим дрожащим веком, сувенир из Пернамбуку. Но мне повезло, похоже, на этом всё и закончилось до следующей исповеди, а она случится не раньше Рождества.

Тем не менее, я радовался, что избежал вахт, по крайней мере, первые

десять дней южно-атлантического вояжа, поскольку работа оказалась действительно тяжелой. Проблема в том, что, пересекая океан по диагонали между Пернамбуку и Кейптауном ради научных исследований, мы двигались в неправильном направлении, в противоход преобладающим ветрам и течениям. Обычным маршрутом для парусника было бы плавание вдоль побережья Южной Америки с юго-восточным ветром на левом траверзе, примерно до 40 градусов южной широты, затем поворот резко на восток, чтобы поймать сильные западные ветра «ревущих сороковых» и нестись через Южный океан с наполненными ветром парусами, а потом повернуть на северо-восток, чтобы попасть в Кейптаун на Бенгельском течении.

Но это противоречило бы цели нашей экспедиции в эти воды. Академия наук и Гидрологический институт Полы хотели получить детальный профиль южно-атлантического морского дна вдоль прямой линии между Пернамбуку и Капской провинцией, так что кораблю пришлось неделю за неделей лавировать против ветра, бросая реи как можно круче к ветру так, что они ложились на ванты. В начале каждой вахты мы ложились на другой галс, останавливаясь каждые пару часов, чтобы сделать еще один промер глубины. Теперь главными на корабле стали патентованный эхолот доктора Салаи, а также его бутылки для сбора морской воды, барометр-анероид и золифон. Мы провели важную работу, как я предполагаю: по меньшей мере, нанесли на карту мира подводную гряду Лёвенхаузен и впадину Виндишгрец (5684 метра); где, насколько я знаю, они и остаются по сей день наряду с Землей Франца-Иосифа и озерами Рудольф и Стефани, последними свидетельствами существования давно исчезнувшей империи.

Тем не менее, это была тяжелая и изматывающая работа даже для такой большой команды, как у нас. «Виндишгрец» никак не годился для плавания против ветра: максимум он мог справиться с шестью с половиной румбами к ветру, и даже тогда имел склонность дрейфовать как бумажный пакет. К тому же он не желал приводиться к ветру для поворота оверштаг, когда мы пытались его заставить, из-за чего мы всегда предпочитали поворачивать через фордевинд; класть руль на ветер и разворачиваться по ветру, чтобы корабль описал почти полную окружность и лег на другой галс вместо того, чтобы идти острее к ветру.

Расстояние по прямой от Пернамбуку до Кейптауна — около трех тысяч трехсот миль; к нашему прибытию пройденная дистанция по записям составила пять тысяч семьсот миль. Утомительное, монотонное путешествие с постоянным раздражающим чувством, что мы тяжело

трудились, просто чтобы оставаться на одном месте, как человек, бегущий вверх по эскалатору, едущему вниз. Вахта за вахтой весь в пене корабль шел в крутой бейдевинд со скоростью около четырёх узлов, с развернутыми до предела реями, он дрожал, вздымался и опускался, вздымался и опускался по большим длинным волнам открытого океана, порой с гребнями в километре друг от друга.

Даже в подпалубных помещениях было не легче. Корпус корабля, не слишком надёжный даже в лучшие времена, серьезно пострадал от нескольких месяцев попеременной влажности и жары тропиков. Шпангоуты и обшивка теперь приобрели довольно-таки заметный люфт. Тем не менее, это имело и свои преимущества, как мы обнаружили через неделю после выхода из Пернамбуку, когда взялись за мешок бразильских орехов, купленных Гумпольдсдорфером на местном рынке. Это были не те бразильские орехи, которые можно купить в лавках зеленщиков перед Рождеством, унылые серо-коричневые, напоминающие дольки окаменевших апельсинов.

Это были бразильские орехи в том состоянии, в котором они падают с лесных деревьев, все ещё в круглой скорлупе такой несокрушимой крепости, что ни один молоток или слесарное зубило, позаимствованное из столярной мастерской не оставляли следа на её каменной поверхности. Сидя душной каморке на палубе, мы в отчаянии смотрели на мешок орехов, пока Тарабочча внезапно не указал на дубовую кницу, открывающуюся и закрывающуюся с качкой корабля весь путь от Пола. Одна и та же идея пришла нам в голову одновременно. Мы подождали, пока щель не открылась максимально, и быстро сунули в нее орех. Корабль качнулся в обратную сторону.

Кница тихо закрипела и начала сходиться. Раздался треск, напоминающий ружейный выстрел, и книга сомкнулась с массивным дубовым бимсом. Когда она снова отошла при новом цикле качки, там обнаружилась маслянистая, круглая, ароматная лепёшка из раздробленного бразильского ореха, перемешанного с кусками скорлупы. В итоге мы решили проблему, сунув под кницу кусок деревяшки, чтобы ограничить ее движение до необходимого интервала и раскалывать скорлупу ореха, не дробя его. Несколько последующих дней мы насыщались бразильскими орехами — до тех пор, пока как-то вечером в проходе не появился провост в сопровождении плотника и его помощника. Обитатели кают-компаний унтер-офицеров, расположенной двумя палубами выше, сообщили, что у них начал расходиться корпус.

Не так уж много можно рассказать об этих тридцати пяти днях в море.

Большую часть времени мы находились довольно далеко от судоходных трасс, так что только пару раз заметили хотя бы парус или дым парохода на горизонте. Остальной мир мог с тем же успехом прекратить своё существование: ничего кроме солнца, неба, ветра и волн. Впервые я начал замечать на борту некоторое недовольство.

Брюзжание так же естественно для моряков, как молитвы для монахов, и если команда перестаёт брюзжать — это обычно ясный признак, что на борту что-то не так. Но теперь, под гнетом тяжелой работы на довольно-таки плохо сконструированном корабле, идущего день за днём против ветра и волн, брюзжание приняло ядовитый, обиженный оттенок. К нему добавлялось беспокойство из-за смерти капитана, к которому и офицеры, и команда относились с почти религиозным благоговением, и новостей о потере исследовательского отряда Грабовского. Такое чувство, что корабль покинула удача, и, возможно, (как говорили некоторые) это может быть связано с черепами профессора Сковронека, скалившими зубы на полке в лаборатории. В конце концов, это черепа африканцев, а все слышали рассказы о магической силе амулета джу-джу...

Что касается нового капитана, чувства были смешанными. Все соглашались, что он кажется вполне приличным человеком. Но мало кто видел его где-то помимо воскресных построений, и на команду он не оказывал сильного влияния — если вообще оказывал хоть какое-то. Ежедневное управление кораблем лежало на линииеншиффслейтенанте Микуличе, теперь и.о. старшего офицера, и других старших офицерах. Что касается Микулича, он не оставил никаких сомнений в том, что пока он занимает пост старшего офицера, то будет вести себя активно, не скатываясь к роли корабельного писаря, какой была эта должность при Славеце. Микулич намеревался управлять кораблём по-своему, и его подход, очевидно, немало позаимствовал у пресловутых американских любителей рукоприкладства, о которых он читал, и с которыми, по его словам, плавал.

Результатом стало частое использование линька, чтобы вдохновить брасоющих реи матросов, когда мы разворачивали корабль через фордевинд. Корабельная жизнь — определенно суровая штука, но на дворе 1900-е, а не 1700-е, а команда состояла из умелых профессиональных моряков — большинство на сверхсрочной службе, а не из сборища портовых отбросов из Сан-Франциско, загруженных вербовщиками прямо перед отплытием. Пока что моряки это терпели, ограничиваясь лишь письмами в венские газеты и депутатам-социалистам в Рейхсрате, которые собирались отправить, когда мы достигнем Кейптауна. Тем не менее,

враждебность росла и разрасталась, как сухая гниль в древесине.

Если бы все офицеры были столь же суровы как Микулич, дела обстояли бы не так плохо. Но в отсутствие твёрдой руки на мостике, каждый управлял своей частью корабля, как ему нравилось: Микулич деспотически и требовательно, Свобода — довольно небрежно (по мнению большинства), только Залески и фрегаттенлейтенант Берталотти (теперь ставший четвёртым офицером) считались хорошими, твёрдыми и полностью компетентными вахтенными офицерами.

Одним из следствий устранения Славеца фон Лёвенхаузена из капитанской каюты стало то, что профессор Сковронек теперь начал действовать как затычка к каждой бочке и постоянная всезнайка. Через две недели после отбытия из Пернамбуку дело дошло до того, что боцман Негошич вежливо предложил ему убираться и заняться собственными делами, когда поймал на попытке руководить матросами, поднимающими шлюпку на шлюпбалку.

Сковронек попытался добиться ареста Негошича на том основании, что он, Сковронек, армейский капитан резерва и не позволит так разговаривать с собой какому-то неуклюжему, неотесанному сербу. Дошло до капитана, и ко всеобщему отвращению, боцмана заставили извиниться перед профессором. Сковронек после этого мудро решил не вмешиваться в управление кораблём напрямую, но, тем не менее, ему удалось усугубить всеобщее раздражение, разгуливая по палубам в любое время дня и ночи и высказывая своё мнение по поводу того, как лучше выровнять паруса и тому подобным вопросам.

Столовая гора появилась в поле зрения двенадцатого октября 1902 года, к невыразимому облегчению всех на борту. Мы пересекли океан за тридцать пять дней, но они показались долгими месяцами. Появился буксир, чтобы оттащить нас в Кейптаунские доки.

Всего несколько месяцев назад закончилась Англо-бурская война, и теперь, когда Бурских республик больше не существовало и богатства недр открылись для добычи, экономика Южной Африки переживала быстрый подъём. Корабли у причалов стояли тесно, как сигары в коробке. Мы никак не смогли бы пришвартоваться своими силами, и буксир втиснул корабль носом вперёд на свободное место, как книгу на библиотечную полку.

Как только мы пришвартовались к причалу в доке Виктория, капитан отдал распоряжение о порядке увольнений на берег, несмотря на пророческие бормотания линиеншифслейтенанта Микулича, что во многих случаях увольнение на берег может затянуться. Он выступал за то, чтобы удерживать матросов на борту всё время пребывания, с часовыми на

баке, готовыми пристрелить любого, пытающегося сойти на берег.

Но от этой идеи отказались как от неосуществимой в начале двадцатого века — кроме того, во время визита вежливости это создало бы неблагоприятное впечатление. Так что отпущенные в увольнение матросы сошли на берег, а мы, кадеты, отправились совершать обычную череду визитов: резиденция губернатора, Столовая гора, улица Аддерли, старый голландский замок, зоологический сад, виноградник и так далее.

Для нас эти дни на берегу определенно оказались весьма приятными. Кейптаун был привлекательным городом с климатом как в Неаполе, обитатели — само гостеприимство — обеспечивали нас бесконечными приглашениями и прогулками безо всяких затрат для нас. Предполагаю, что в те времена, еще до появления радио, застряв на самом краю Африки — что-то вроде Полы в континентальном масштабе — они, должно быть, радовались, развлекая большую группу воспитанных и часто довольно привлекательных кадетов военно-морских сил одной из крупных европейских держав.

Со своей стороны, как послы нашей далёкой империи, мы сделали всё, что смогли: издавали правильные звуки восхищения, когда нам показывали достопримечательности, были безупречно вежливы, и если и зевали время от времени, то умудрялись это делать, не открывая рот.

И мы смогли хоть немного отплатить им за доброту тем, что превосходный корабельный оркестр дал в городских парках серию горячо воспринятых концертов. От этого действия на глазах аудитории наворачивались слёзы (значительную часть коммерсантов Кейптауна составляли австрийские евреи, которые начинали здесь как мелкие торговцы и добились успеха).

Люди подходили к нам и на немецком (с сильным еврейским акцентом) сообщали, что, хотя они и уехали из Брно в 1858-м, но всё еще считают себя верными подданными дома Габсбургов и лелеют надежду когда-нибудь вернуться в «старую добрую Австрию». Как показало дальнейшее (если это вообще требовалось), то как в старой поговорке, единственные настоящие австрийские патриоты — это евреи, поскольку только у них из всего населения монархии не имелось другого гражданства.

К моменту нашего отплытия семнадцатого октября стало ясно, что линиеншиффслейтенант Микулич не сильно ошибся в своих прогнозах относительно увольнений. На корабль не вернулись семьдесят три человека.

Капитан брызгал слюной и ругался, Залески и Свободу отправили на

берег с отрядами морской полиции, чтобы попытаться вернуть беглецов. А пока Фештетич, захватив меня в качестве переводчика, поспешил в ратушу, чтобы убедить местные власти выставить посты на дорогах, обыскивать поезда, уходящие из Кейптауна, а также выслать следом конную полицию и готтентотов-следопытов с собаками-ищейками, чтобы вдоль и поперек прочесать холмы.

Но всё бесполезно: власти симпатизировали нам, но заявили, что после окончания войны жалование в алмазных копиях и золотых рудниках настолько высоко, что они сомневаются, добьёмся ли мы успеха — агенты добывающих компаний так и ошиваются в доках Кейптауна, убеждая моряков дезертировать.

Наши люди, скорее всего, уже в Кимберли или Йоханнесбурге. Власти обещали сделать всё, что в их силах, но уточнили, что главы местных администраций в глубине континента обычно ещё и управляющие шахт и потому вряд ли помогут.

Это означало, что мы отплывём, когда у нас не хватает почти целого дивизиона, поскольку в дополнение к семидесяти трем морякам, потерянным в Кейптауне, ещё четверо утонули в Фредериксбурге, пятнадцать сгинуло в тропических лесах побережья кру, а один не явился на борт в Пернамбуку.

В те дни на парусных кораблях, отправляющихся в долгие вояжи, ожидалась потеря вследствие смерти и дезертирства, но это выходило за всякие рамки.

Плыть на паруснике с командой в двести пятьдесят человек вместо трехсот пятидесяти? Шкипер торгового судна фыркнул бы от возмущения: суда нашего тоннажа плавали с экипажем в сорок с чем-то человек и при этом управлялись с большим количеством парусов. Но флотская дисциплина — штука громоздкая и медленно адаптируется к меняющимся обстоятельствам, и кораблём, потерявшем почти треть экипажа, тяжело управлять, даже если когда-то он был укомплектован сверх штата.

За тридцать с лишним лет «Виндишгрец» привык всё исполнять во свойственной ему манере и не был готов быстро изменить свои привычки, как миллионер, которому внезапно пришлось перебиваться на полмиллиона в год, чувствующий себя бедняком. Всё окончилось тем, что работы всем прибавилось, и в равной мере упало и настроение.

В то утро, когда мы уже готовились к выходу в море, в гавани Кейптауна произошло ещё одно событие, изменившее мою жизнь. Я наблюдал, как поднимают один из наших восьмиметровых катеров — тот самый, на котором отправилась вверх по реке Бунс группа Храбовского и

который нашли потом брошенным. Большая часть экипажа теперь избегала его как могла, как будто катер поразило проклятье неудачи. У противоположного конца сходней появился рассыльный с телеграфа.

— Телеграмма господину Прохазке!

Должно быть, это мне — еще один по фамилии Прохазка (умелый моряк), входил в число тех, кто не вернулся из увольнения. Я схватил коричневый конверт и разорвал его. Телеграмма от отца.

*«кадету отто прохазке виндишгрец кейптаун
сожалением сообщаю твоя мать умерла после непродолжительной
болезни тчк
прохазка хиршендорф».*

Какое-то время я растерянно смотрел на клочок бумаги. Моя мать уже давно не отличалась добрым здоровьем, но всё равно новость застала меня врасплох. Но я не испытывал особой печали, разве что печаль из-за отсутствия печали. Мы давным-давно уже отдалились друг от друга, но всё же... Я мысленно отметил, что нужно поговорить с капитаном, когда сменюсь с вахты, и попросить разрешения сойти на берег на час до отплытия, чтобы отправить телеграмму с соболезнованиями и, может, заказать мессу в католическом соборе.

Но обязанности на палубе заставили меня позабыть о своих добрых намерениях, я вспомнил об этом, лишь когда засунул руку в карман и нащупал телеграмму — к этому времени покрытая облаками вершина Столовой горы уже таяла позади за кормой.

От мыслей о смерти матери меня отвлекла прибойная шлюпка, подаренная королем Мэтью Немытым III в тот день, когда в Бунсвилле подписали соглашение. Она причиняла нам бесконечные неудобства, пока мы обдумывали, как заменить ею утраченный восьмиметровый катер.

Поначалу она казалась подходящей заменой, за исключением только заостренной кормы, но после тщательного осмотра плотник печально покачал головой. По его мнению, единственный способ превратить штурковину в приемлемую гребную шлюпку — разобрать её на части и построить заново.

— Проблема в том, боцман, — объяснял он Негошичу, — что эта штурковина и не шлюпка вовсе, а просто большое гребное каноэ. Да, сделана довольно крепко: древесина хорошего качества и неплохо скреплена, все крепежи деревянные — ни единого гвоздя. Но встроить в неё банки для гребцов — это другая история. Набор слишком лёгкий, она

все время изгибается, центр тяжести слишком высоко. Для гребцов, стоящих на коленях, все нормально, но для сидящих по двое на банках — другое дело. Эта штуковина — гребное каноэ, и если вы попытаетесь сделать из неё что-то другое, то попросту испортите, а взамен ничего путного не получите.

Так что прибойная шлюпка бесполезно лежала вверх дном. Оборотистый линиеншиффслейтенант Залески попробовал укомплектовать её гребцами, стоящими на коленях, и проплыть по гавани Кейптауна, но поступили жалобы от капитана порта, что военные моряки, «гребущие как какие-то там туземцы», подрывают престиж белой расы, поэтому эксперимент прекратили. В конце концов мы решили взять эту штуковину в Полу и подарить Этнографическому музею в Вене, и пусть распорядится ей по своему усмотрению.

Нашим следующим портом будет Луанда, столица португальской Анголы, хотя мы и сделаем короткую остановку в Свакопмунде, чтобы обменяться любезностями с немецким губернатором юго-западной Африки.

После тягот трансатлантического плавания это казалось легким переходом вдоль западного побережья Африки. В основном дули ветра с зюйда и зюйд-оста, а мощное Бенгельское течение донесет нас до Конго за месяц.

К северу от Свакопмунда наш курс проляжет вдоль жуткого, молчаливого побережья намибийской пустыни, «Берега скелетов», или «Берега мертвеца Неда», под этим названием он был известен среди моряков тех дней — полоса побережья с особенно мрачной репутацией, поскольку просто проглатывала корабли и моряков в постоянно перемещающихся песчаных отмелях, туманах и бурных течениях.

Опасения за нашу безопасность (поскольку наши ученые намеревались там высадиться) привели к тому, что губернатор Свакопмунда выделил канонерку «Эльстер» сопровождать нас аж до Мосамедиса на португальской территории.

Когда мы проплывали в паре миль от берега, он выглядел как один из самых заброшенных уголков мира. В бинокль с марсов виднелась однообразная линия песчаных дюн цвета хаки с белой полосой прибой внизу.

Через каждые пару километров можно было увидеть полупогребённые останки бесчисленных (чаще всего неизвестных) кораблей, скопившихся на этом пустынном побережье за долгие века. Командам оставалось только умирать от голода и жажды среди безжалостных дюн.

Капитан немецкой канонерки рассказал, что много лет назад, примерно в 1880-м году, португальский шлюп вошел в мелкую бухту на побережье Каоковельда к северу от Кейп-Кросса, чтобы очистить днище от наростов, и застрял из-за того, что внезапное изменившееся течение намыло песчаный остров на входе в лагуну. Капитан сказал, что судно все еще видно в нескольких километрах от побережья, уже на суше, среди песчаных дюн, и большая часть команды все еще на борту. Нескольким членам экипажа удалось дойти до Мосамедиса, но, когда они вернулись через несколько месяцев, остальной команде было уже не помочь. По его словам, он плавает здесь уже пять лет, пытаясь картографировать побережье, и чем лучше его узнает, тем больше боится.

Под впечатлением от этих историй мы с некоторым трепетом готовились высадить экспедицию на побережье жутковатой пустыни в пяти днях пути от Кейптауна и в нескольких милях к северу от устья реки Хотерб, хотя правильнее будет сказать сухого русла реки Хотерб. Корабль встанет на якорь в нескольких милях от берега, а мы, найдя путь через прибой, двинемся к побережью на двух катерах. Это будет недолгий визит, главная цель — ботаник герр Ленарт соберет образцы пустынных кустарников, если повезет, то ему попадется образец невероятного растения вельвичии, которое цветет один раз в сто лет.

Профессор Сковронек объявил, что тоже намерен высадиться на берег, хотя никто не мог понять зачем, хоть убей. С точки зрения антропологии Каоковельд несомненно столь же неинтересен, как обратная сторона Луны. Тем не менее, в сопровождении нас с Гауссом, выделенных в качестве оруженосцев, профессор спустился по штормтрапу в качающийся на волнах катер. Он взял с собой тяжелый Маннлихер с телескопическим прицелом и мощный дробовик. Это нас взволновало. Намибийская пустыня возможно самое засушливое место на планете — дождь, по словам немецкого капитана, идет в этих местах раз в двенадцать лет, однако здесь водится необычайное количество диких животных: шакалы, львы, гну, мигрирующие время от времени огромными стадами по побережью. Иногда встречаются слоны. Я смотрел на тяжелую винтовку и думал, что для моей тети в Вене нога или даже бивень слона окажутся приятным сюрпризом.

Утром мы без особых сложностей высадились под прикрытием песчаной косы, благодаря тому, что ветер дул с побережья и немного укротил буруны. Мы вытащили шлюпки, проинструктировали матросов охранять их и вызвать нас горном, если изменится ветер — нам не хотелось рисковать в этом ужасном месте. Мы разделились на две группы, основная

часть пошла с герром Ленартом, который хотел обыскать квадратный километр дюн в поисках растений, а мы двое — с профессором Скворонеком. Мы взяли фляжки с водой, ружья и двинулись за ним в прибрежные дюны, на север.

Идти было тяжело. Горячий ветер из пустыни — как жар из открытой печной дверцы, к тому же наполнен слюдяной пылью. Солнце отражалось от песка, кристаллы слюды резали глаза и скрипели на зубах, ноги постоянно проваливались, поскольку морская соль из-за недостатка дождей, чтобы ее смывать, образовала на поверхности песка тонкую хрустящую корку подобно сахарной, притом недостаточно прочную, чтобы выдержать вес человека. Ветер в дюнах стонал с грустным гулким звуком, как будто кто-то дул в бутылочное горлышко. Прежде чем мы одолели хотя бы километр, в глотках уже пересохло от сильного ветра и солнца, а у каждого с собой была только пол-литровая фляга воды.

Представьте, что этот невыносимый всезнайка заблудился в дюнах? Да мы бы умерли от жажды за день. Многие потерпели неудачу у этих берегов, о чем свидетельствовало множество выбеленных солнцем обломков со стороны моря: плавник, обрывки такелажа и все прочие осколки многовековой истории кораблекрушений. На одной доске виднелось клеймо «VOC» Голландской Ост-Индской компании, которая (как я помнил из уроков морской истории) обанкротилась еще в 1798 году. Вскоре мы наткнулись на обломки корабля, выброшенного выше линии прилива и вросшего в песок.

Мы с Гауссом поспешили вперед, чтобы осмотреть их, и застыли в молчании, увидев, что рядом лежат останки одного из членов экипажа. Мертвый Нед собственной персоной, сейчас уже не более чем полузасыпанная кучка отполированных песком костей и высушенная пара кожаных ботинок. Профессор со смехом откопал ногой череп и пинком отправил его в сторону, отметив, что его обладатель был, очевидно, белым, значит не представляет интереса, поскольку образцов представителей этого типа имелось более чем достаточно.

Мы двинулись дальше в дюны, погруженные в задумчивость после только что увиденной сцены. Через полчаса профессор внезапно остановился и указал вниз. Следы на песке, на вид совсем свежие, однозначно козлапаые и скорее всего босые, но, несомненно, человеческие. Нам показалось, что их было четверо. Но кто это мог быть в этом забытом богом месте? Выжившие в кораблекрушении,двигающиеся на север в поисках помощи? Алмазные контрабандисты? Капитан «Эльстера» говорил, что здесь довольно развита добыча алмазов, которая

ведется людьми безрассудными или достаточно жадными, чтобы не думать об ужасах этого берега.

Мы с Гауссом склонялись к теории кораблекрушения, исходя из которой нужно их срочно догнать, потому что рука Провидения послала нас сюда в качестве средства спасения. Профессор не согласился с нами и считал, что это алмазные старатели, скорее всего вооруженные и опасные. В общем, нас вдруг охватила страсть к погоне, жажда и кости были забыты за секунду. Четыре с половиной месяца — долгий срок для двух подростков, запертых на корабле. Мы вышли в море в поисках приключений? Не важно, жертвы кораблекрушения или контрабандисты, но это приключения. Мы бросились в погоню.

Когда мы наконец увидели их среди дюн, оказалось, что они остановились на отдых. Их было четверо: мужчина, женщина и двое детей. Но они не были ни контрабандистами, ни потерпевшими кораблекрушение. Почти полностью голые, с курчавыми волосами, плосколицые и медно-желтые, как потускневшие латунные духовые инструменты, женщина с отвислыми грудями и гипертрофированными ягодицами. Они что-то ели, мертвого детеныша тюленя, как мы потом выяснили. Профессор велел нам ждать и пополз через дюны, взяв с собой винтовку. И зачем? Очевидно, эти люди не представляли угрозы, даже с нашего места было видно, что у них нет оружия, не считая единственного копья...

В горячем сухом воздухе грянули два выстрел, затем еще один. Мы побежали искать Сковронека, а когда добежали, он стоял на коленях у тела мужчины и орудовал охотничьим ножом. Тело женщины уже лежало без головы, темная полоса крови натекла на песок.

— Проклятие! Оба щенка убежали в дюны, хотелось добыть хотя бы одного, чтобы я мог проверить свою теорию формирования черепа. Так, готово. Он бросил отрезанную голову в холщовую сумку, к женской голове.

Гаусс мертвенно побледнел, я и сам чувствовал себя скверно, но профессор находился в отличном настроении.

— Страндлоперы — самая примитивная раса в Африке, в эволюционном развитии даже ниже калахарских бушменов. Я годами пытался получить эти образцы, и все без толку. Один бур в Кейптауне пытался продать мне пару черепов, но я уверен, что это были готтентоты. А сегодня я прошел всего пару километров и наткнулся сразу на пару, мужчина и женщина, одного возраста. На этом материале я смогу вывести полный индекс этого расового типа. На мой взгляд, одного образца недостаточно для верных выводов. — Он заметил выражения наших лиц.

— Слабоват желудок для полевой работы? Да ладно, мои юные друзья... — Он похлопал меня по плечу. — Для ученого нет ничего отвратительного даже в отрезании головы, быстро привыкаешь.

— Но герр профессор, — пробормотал Гаусс, — это же люди.

— Люди? Ничего подобного. Это как охота, все равно что подстрелить пару павианов и отделить им головы, чтобы повесить на стену. Я даже попрошу герра Кнедлика набить эту пару и сделать чучела. Думаю, возможно отделить кожу, не повредив череп. Да, я уверен, что так и сделаю.

Он засмеялся.

— Жалко, что я не смог достать их потомство, а то, ребята, у вас были бы чучела страндлоперов, и вы могли бы отправить их домой родителям в качестве подарка. Прекрасный сувенир с Черного континента, не правда ли?

Мы с Гауссом доложили о случившемся линиеншиффслейтенанту Залески, как только оказались на борту, а тот доложил капитану, наш капитан — капитану «Эльстера», который по возвращении в Свакомпунд доложил губернатору. Разгорелся скандал, стрельба в Германской Юго-Западной Африке без охотничьей лицензии — серьезное нарушение, караемое штрафом в двести пятьдесят марок или тремя месяцами тюрьмы. Дело дошло, как мы слышали, до самого верха в Берлине, но с учетом личного восхищения работами профессора Сковронека германский кайзер закрыл вопрос, заплатив штраф из своего кармана.

Мы провели два дня в Луанде, о которой в общем-то нечего рассказать. Сонный, захудалый португальский городок, африканская версия Пернамбуку — те же иезуитские церкви, та же плитка и та же атмосфера захолустного благородства. Мы смеялись над португальской империей, довольные, что нашли имперскую структуру еще более дряхлую, чем наша собственная. Совершенно очевидно даже для тупых (все с этим согласились), что португальская империя в Африке находится на последнем издыхании и скоро непременно будет разделена между более энергичными государствами.

Утром в день отплытия мы с Гауссом на несколько часов отправились в увольнительную на берег после того, как сопровождали капитана с визитом в резиденцию губернатора. Поскольку заняться было нечем заняться, мы прогулялись по ботаническому саду и восхитились местными девушками, но делали это с приличного расстояния — казалось, что тут их опекают еще сильнее, чем в Бразилии. Еще нам было интересно выяснить источник любопытных звуков, повторявшихся в городе с тех пор, как мы в

него попали — духовой оркестр безжалостно играл повторяющуюся мелодию уумп-уумп-па-уумп-па, одни и те же такты раз за разом без остановки.

Разве могли они играть так плохо, что им приходилось два полных дня разучивать один музыкальный фрагмент? Мы нашли человека, знавшего немецкий в достаточной степени, чтобы он мог объяснить это явление. По его словам, Луанда была каторжной колонией Португалии и половина населения здесь — заключенные, а другой половине следовало бы ими быть. Но мягкие условия содержания позволяли каторжникам покидать тюрьму в течение дня и зарабатывать мелочь на табак и вино, выполняя случайную работу в городке, например, играя на инструментах в парке, чтобы развлечь народ. Духовой оркестр заключенных недавно взбунтовался, что здесь часто случалось, и начальник тюрьмы решил наказать их, заставив стоять во дворе тюрьмы и играть три дня подряд одну и ту же мелодию.

Пока мы разговаривали, появились другие заключенные, подметавшие дорожки в ботаническом саду. Видимо, это были более опасные нарушители, поскольку их сковали попарно лодыжка к лодыжке. Мы с Гауссом прошли мимо пары преступников в грубой хлопчатобумажной одежде, едва заметив, что это африканцы, пока нас не окликнул знакомый голос:

— Масса Оттокар, масса Макс, что вы здесь делаете?

Мы остановились и уставились на них, не веря своим глазам — эти двое оказались нашими лодочниками кру из Фредериксбурга — Юнионом Джеком и Джимми Старбордом. Истощенные и измученные, они все равно улыбались. Как только мы сумели побороть удивление от внезапной встречи, они рассказали, как попали в Луанду.

В августе, вскоре после того, как мы покинули Фредериксбург, они в компании еще восьми человек нанялись на работу лодочниками в Людериц в Юго-Западной Африке. К несчастью, по пути туда на немецком пароходе они налетели на песчаную косу у Кабинды. Всех спасли, но только европейцев отправили дальше по пути следования, а африканцев в Луанду, где бросили в тюрьму, как незаконных иммигрантов, пока кто-нибудь не отвезет их домой.

Что такое ангольская тюрьма для черных (официально она называлась «assistência pública»), показал Старборд, расстегнув куртку и продемонстрировав проглядывающие ребра, обтянутые кожей, уже потерявшей здоровый блеск.

Они жаловались на скудную еду, да и та малость, что им давали,

состояла из маниоки, вредной и даже немного ядовитой для людей, привыкших к рисовой диете. Один из них уже умер, а другой настолько плох, что больше не мог ходить. По словам Юниона Джека, только подачки прохожих поддерживали в них жизнь.

Что-то нужно было делать. Мы с Гауссом рванули на борт «Виндишгреца» и доложили вахтенному офицеру, которым, по счастью, оказался Залески. Он немедленно отправился поговорить с капитаном. В конце концов, эти люди теперь стали австрийскими подданными.

Кто бы что ни говорил о корветтенкапитане фон Фештетиче, но своих он в беде не бросал. Он отправился на берег переговорить с начальником тюрьмы и в результате на момент отплытия у нас появились девять новых членов экипажа взамен тех, что мы потеряли в Кейптауне.

Это была неплохая сделка, кру были опытными моряками, а португальские власти взяли с нас небольшую взятку за их освобождение. И в любом случае, африканцы могли оплатить свое пребывание на борту, управляясь со своей никудышной лодкой, пока мы не доберемся до Фредериксбурга.

Их временно занесли в списки в качестве местных наёмных моряков и переодели в австрийскую морскую форму, которая им очень шла, не считая того, что бескозырки держались на холме их кудрявой шевелюры только с помощью шпилек.

Но в этом плавании мы не вернемся в Фредериксбург — пока капитан на берегу договаривался об освобождении кру, прибыла срочная телеграмма. Капитан примчался на корвет, даже не задержавшись, чтобы поприветствовать встречающий его караул. Фештетич проследовал прямо в свою каюту и немедленно созвал на срочное совещание всех офицеров.

На редкость приятно наблюдать, как офицеров охватывает военная паника: экстренные послания, срочные совещания, хлопают двери. Только вечером начали просачиваться новости от конклава из капитанской каюты: мы не пойдем вдоль побережья Африки, а пересечем Атлантику, обогнём мыс Горн и вернемся домой через Тихий и Индийский океаны.

Эти новости вызвали неистовое оживление в кают-компании младших офицеров. Как на это отреагировала нижняя палуба, можно только догадываться, поскольку теперь мы вернемся домой в Полу не к Новому году, как планировалось, а в июне. Но у нас, кадетов, это вызвало неистовый восторг. Настоящая удача — мы отправились в полугодовое плавание в южную Атлантику, а теперь совершим кругосветное путешествие.

Мы уже повидали Африку и Южную Америку, а теперь добавим к

своему маршруту атоллы Тихого океана и острова пряностей Ост-Индии. Мы пропустим целый семестр в Морской академии, но нам его засчитают. Всё это слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Перед тем как мы подняли якорь, капитан Фештетич собрал экипаж на шкафуте и обратился к нему с мостика. У его императорского и королевского апостолического величества появились срочные задачи в южноамериканских водах, а поскольку другой ближайший австрийский корабль находится только в Вест-Индии, то его величество продлил наш вояж, дабы исполнить эти поручения.

Фештетич был человеком справедливым, поэтому после своей речи вызвал девятерых кру, только что поднявшихся на борт, и спросил, желают ли они плыть на корабле до Полы, откуда их потом репатрируют после оплаты службы, или предпочтут сейчас вернуться в Западную Африку на пароходе?

Кру ответили, что им всё равно: они уже поставили отпечатки своих пальцев в корабельной ведомости, и для кру вопрос чести остаться на корабле до конца плавания. Они точно не знают, где находится Европа, но полагают, что увидят её, когда придет время.

Переход от Луанды до Фолклендских островов прошёл как сон — девятнадцать дней великолепного океанского плавания весной южного полушария с устойчивым юго-восточным ветром, дующим с неизменной силой в шесть баллов по шкале Бофорта с наилучшего для нашего корабля направления — два румба позади траверза.

Мы шпарили день за днем на постоянных восьми-деяти узлах, как горячий нож сквозь масло рассекая атлантическую зыбь, словно нас толкали двигатели, только без шума, дыма, вибраций и кочегаров, стоящих внизу у раскаленных печных заслонок.

Чудесно было смениться с вахты в сухой одежде и упасть в гамак, зная, что, когда вернешься на вахту через четыре часа, корабль будет мчаться на той же скорости с раздутыми парусами, точно так же, как на предыдущей вахте и вахте перед ней. Настоящий попутный ветер, тот, что требует минимального труда на палубе для преодоления максимального расстояния.

Мы, кадеты, не занимались ничем особенным, кроме навигационных уроков и рутинных занятий типа опускания лага в начале каждой вахты. Довольно важное и интересное задание, с тех пор как мы заинтересовались, насколько быстро может идти «Виндишгрец», и начали делать на это ставки.

Я не назвал бы эти измерения точными, единственным средством

измерения скорости вне видимости берега являлось то же самое устройство, что триста лет назад, треугольная деревяшка размером с четвертинку швейцарского сыра и свинцовым грузиком на закругленной стороне.

Все это привязано к катушке тонкого линя, и один кадет бросает конструкцию через поручни полуюта, второй держит катушку, а третий стоит с маленькими песочными часами.

Вахтенный офицер считал количество узлов на лине, на которые он размотался через поручень за то время, пока не закончится песок, и из этого вычислял нашу скорость. Это грубое средство измерения, поэтому не могу сказать, насколько точно мы измерили скорость во время дневной вахты четвертого ноября. В тот день корабль достиг одиннадцати с половиной узлов — лучшей скорости только под парусами.

Не могу также сказать, сколько такая скорость продержалась, поскольку в начале следующей вахты кадет Гумпольдсдорфер кинул лаг через поручень, не убедившись, держит ли кадет Тарабочча катушку с линем. Измерения скорости прекратились примерно на сутки, пока плотник не сделал новый лаг.

Южно-атлантический поход, славные деньки... Я бездельничал на палубе на ночной вахте, отчасти загипнотизированный звуками огромного корабля, быстро плывущего с сильным устойчивым ветром в открытом океане: медленный, ритмичный скрип и стон мачт и рангоута надо мной, сопровождающий подъемы и спуски корабля по высоким, длинным волнам; шелест пены, отбрасываемой носом рассекающего воду корабля; пронзительный хор ветра в паутине такелажа — я заметил, что звук стальной проволоки сильно отличается от звука пеньковых канатов, — и ниже всех звуков, будто рокот самой большой трубы в кафедральном органе, такой низкий, что его скорее чувствуешь, чем слышишь — неуклонное гудение баса ветра в парусах. Я стоял и фантазировал, что исчез, слился с ветром, океаном и безбрежными небесами.

Когда мы приближались к судоходным путям, то замечали случайный парус или два на горизонте и однажды встретились с норвежским пароходом, чтобы обменяться приветствиями и почтой, а также сверить часы — постоянная забота парусников в дальних походах до изобретения беспроводного способа передачи сигнала времени. Меж тем, заняться было нечем, кроме как готовиться к суровому испытанию, ждущему впереди.

Несмотря на приятное волнение от перспективы кругосветного путешествия, все мы втайне боялись огибать мыс Горн даже в середине южного лета. Мы знали его мрачную репутацию кладбища кораблей, и те,

кто уже огибал его раньше, как Тарабочча на отцовском судне и какое-то число парней с полубака, не жалели красок, рассказывая о предстоящих испытаниях — бушующих месяцами штормах, снеге и льдах посреди лета, седобородых волнах размером с гору, катящихся вокруг и не находящих берега, способного сломать их ярость, поджидающих антарктических льдах с одной стороны и диких темных скалах Огненной Земли с другой.

Мы ничего им не отвечали, а принялись за работу с желанием подготовить корабль к тому, что его ждет. Сотни блоков в такелаже проверены и смазаны. Каждый сплесень осмотрен и каждый перт заменен. Все выбленки обновлены, обслужены и просмолены.

Паруса истончились за месяцы, проведенные на тропическом солнце, их спустили, и заменили новыми штормовыми полотнами. Рулевое управление отремонтировали и смазали, доски палубы переконопатили, а содержимое трюма перебрали и проложили амортизирующим материалом.

К тому времени, когда мы приблизились к Фолклендам и пятидесяти градусам южной широты, каждый элемент снаряжения под палубой был закреплен. Последним и бесповоротным шагом, после того как мы покинули порт Стэнли, залогом нашей решимости добиться или умереть, было закрепление всех шлюпок на палубе. Нет никакого смысла делать иначе: если корабль затонет или перевернется в водах мыса Горн, а такое частенько случалось до нас и будет происходить после, то времени спускать шлюпки не будет.

Да и какие шансы на то, что открытая шлюпка, полная выживших, устоит против волн столь ужасных, что с ними не справился подготовленный корабль? Вот почему так мало обломков поднято от сотен кораблей, затонувших в Южном океане, — весь их скарб был так крепко связан, что ничего не всплывало на поверхность.

Глава одиннадцатая

В БЕЛИЧЬЕМ КОЛЕСЕ

Мы могли бы закрепить шлюпки еще до прибытия в Порт-Стэнли, потому что там не нашлось почти ничего интересного и достойного того, чтобы спускать их на воду и плыть к берегу. Шлюпка с отпущенными в увольнение на берег матросами отправилась в город утром пятнадцатого ноября, как только мы встали на якорь среди тумана и дождя раннего лета Фолклендских островов.

Когда через час она возвратилась, большинство матросов вернулось вместе с ней: угрюмые, промокшие и сытые островами по горло. Ничего, сообщили они, пустота, мерзость запустения, Сибирь без развлечений и даже без утешительной водки, поскольку это строгая протестантская территория и на выпивку здесь смотрят неодобрительно.

В итоге на берег сошли только капитан и старший офицер, они нанесли визит на телеграф — проверить, нет ли для нас сообщений. Сообщения отсутствовали, и на следующий день мы отправились к мысу Горн. Скоро мы спустились ниже пятидесяти градусов южной широты, и дневные работы на палубе теперь велись только половину времени, по традиции кораблей, огибающих южную оконечность Южной Америки.

Да и делать-то было особо нечего, откровенно говоря. Всё, что можно сделать на корабле — уже сделано, оставалось только подготовиться самим. Штормовки не доставали еще с Пола, теперь их откапывали на дне рундуков, и обнаружилось, что они слиплись — такое с ними не редкость.

Теперь их заново покрыли смесью из льняного масла и полировки для ботинок и развесили по всему кораблю, просунув швабры через рукава, чтобы отпугивать парящих за кормой альбатросов. Эдакие желто-бурые латы, в которых мы помчимся вперед, сражаться со стихией.

Мы попытались как-то подготовиться внутренне, и как только вышли из гавани Порты-Стэнли и направились на юго-запад, капеллан отслужил воскресную службу — для этого на шкафуте натянули парусиновый тент.

Я заметил, что на этот раз паства вела себя серьезнее обычного, а накануне вечером обратил внимание на необычайно длинную очередь грешников перед каморкой исповедальни.

Бедняга Гумпольдсдорфер воспринимал всё это очень серьёзно — он написал завещание и запечатал в бутылку вместе с последним письмом родителям и еще одним — своей возлюбленной в Клагенфурте.

Мы все изо всех сил высмеивали его похоронное настроение, но Гумпольдсдорфер заявил, что предчувствует беду и намерен оставить эту бутылку на палубе, чтобы она всплыла, когда корабль пойдёт ко дну. Он был очень подавлен после инцидента с лагом и, казалось, совершенно не реагировал ни на какие наши с Гауссом попытки его подбодрить.

Учитывая все обстоятельства, для нас стало скорее разочарованием, когда утром семнадцатого ноября мы обогнули восточную оконечность острова Барневельт, уменьшив паруса до фока и двух рифов на марселях, с полной вахтой на палубе — все упакованы в штормовки, привязаны веревками к лодыжкам и запястьям — и обнаружили, что корабль скользит по спокойному, солнечному морю при тихом северо-западном ветре с Андских Кордильер.

Не обращать внимания, объявил Фештетич с мостика, его голос прорывался из щели между полями зюйдвестки и воротником штормовки, не обращать внимания, Горн обманчив, как зыбучие пески.

Сейчас может быть все спокойно, но подождите пару часов, и посмотрим, какую чертовщину он нам приготовил. Для пущей безопасности лучше возьмём еще один риф на марселях.

Мы взобрались на мачты, страшно потя в штормовках на припекающем солнце, и взяли еще один риф на марселях, затянув риф-сезни так, даже самый свирепый ураган не мог бы их сорвать. Скорость упала до трех узлов.

А погода и не думала портиться: светило солнце, волны не крупнее, чем весной на Адриатике, ветер устойчиво дул с норд-веста, иногда даже заходил с норд-норд-веста, альбатросы все также лениво парили за кормой, иногда ныряя в воду, и с любопытством посматривали на нас яркими глазами-бусинками.

Обещанный шторм так и не налетел: барометр оставался неподвижен и к полудню даже немного подрос. Мы всё также плелись к пятьдесят второму градусу южной широты, приближаясь к мысу Горн и печально известным островам Диего-Рамирес, а затем повернули в сторону Тихого океана и пошли в крутой бейдевинд — скорость упала вообще до двух узлов.

И тут впередсмотрящий заметил гору парусов, быстро приближающуюся с севера — от Фолклендских островов. Примерно через полчаса корабль поравнялся с нами.

Это оказался «Падерборн» — один из огромных пятимачтовых гамбургских клиперов компании «Фердинанд Ляйс» с грузом селитры. Величественное зрелище — корабль неся на всех парусах (даже с бомбрамселями) и делал не менее восьми или девяти узлов. Когда он проплывал мимо, мы увидели развевающиеся на гафель-гарделе сигнальные флаги.

— Гаусс, — окликнул капитан, — что там они сообщают?

Гаусс посмотрел в подзорную трубу, затем полистал сигнальную книгу.

— Разрешите доложить, герр капитан, они спрашивают, не взять ли нас на буксир.

Фештетич побагровел и как истинный австриец что-то прошипел о мошенниках-немцах и отвратительном прусском высокомерии, но как истинный австриец ничего не ответил, и мы продолжили тащиться на скорости в пару узлов под штормовыми парусами, пока не наступил долгий антарктический закат — к этому времени паруса «Падерборна» давно уже растворились за южным горизонтом.

Мы продолжали плестись так и на следующие утро, когда барометр начал резко падать. На западном горизонте начали сгущаться иссиня-черные облака, а ветер поменялся и задул прямо в лоб. Скоро накинется шторм, а мы все еще прилично восточнее мыса Горн.

Свой шанс мы упустили. Когда капитан ушел вниз, я увидел, как линиеншиффслейтенант Микулич сорвал зюйдвестку, швырнул её на палубу и яростно растоптал, матерясь на немецком, хорватском, итальянском и английском и понося пустоголовых венских аристократов, которым следовало стать горничными, а не капитанами корабля.

Хотя вслух никто не высказывался, большинство на борту разделяли его мнение. Флотская дисциплина есть флотская дисциплина, но на нижней палубе (по словам моряков) мозги-то еще остались, а не как у вояк, давно заменивших мозги вареной капустой.

Вскоре весь корабль твердил, будто они давно знали, что огибать мыс Горн нужно было как тот большой немецкий парусник: распустить все паруса и нестись на юго-запад на правом галсе до самой кромки паковых льдов, а затем лечь на левый галс и проследовать в Тихий океан.

К полудню все эти разговоры стали больше теоретическими. Мы попали в западные шторма, а точнее в один затяжной шторм, и на следующие пять с половиной недель попрощались с дискуссиями, спекуляциями и даже мыслями об этом, пока «Виндишгрец» боролся, выцарапывая себе путь вокруг мыса Горн против ветра. Море не прощает

дураков и после одного упущенного шанса не дает второго.

В мире Южного океана, южнее пятидесяти градусов, понятия «зима» и «лето» относительные. В проливе Дрейка, между мысом Горн и Антарктическим льдом, погода всегда отвратительная и единственная заметная разница между сезонами в том, что летом идет мокрый снег, а зимой он намерзает на снастях сосульками и превращает паруса в фанеру.

По прошествии лет я слышал от бывалых экипажей, что они предпочитали огибать мыс Горн именно зимой, потому что край пакового льда расширялся на север и становится более крепким, а еще иногда случались порывы южного или даже восточного ветра из Антарктики.

Но после первой недели сражения с западным штормовым ветром и неизменными пятнадцатиметровыми волнами, прокатывающимися под и над нами на своём пути вокруг земли, это ничего не значило. Пронзающий ветер срывал соленую пену с вершушек волн и швырял в замерзшие лица как осколки разбитого стекла, когда мы пытались забраться на мачты, чтобы управиться с парусами: иногда распускали их, когда капитан считал, что ветер немного притих, но чаще, чтобы убрать их до самого минимума, необходимого для удержания носа перпендикулярно волнам, пока мы дрейфуем на восток, теряя те крохи пути, что уже выиграли в западном направлении.

Мы встречали каждую угрожающе вздымающуюся волну как последнюю, и каждый раз, когда она накатывала на палубу, закрывали глаза и держались изо всех сил в надежде хотя бы на быстрый конец.

Тридцать восемь дней, что нас мотало в проливе Дрейка, я представлял, как эти монстры бьют нас дважды, обогнув за это время планету. Но корвет как-то исхитрился переплыть через них.

Борт военного корабля выше, чем у нагруженных торговых судов, это значило, что палуба, по крайней мере, не была все время залита водой.

Правда, это небольшое преимущество в сухости компенсировалось тем, что из-за высокой посадки и, возможно, нехватки скорости, придаваемой ранее четырьмя сотнями тонн кардиффского угля, «Виндишгрец» становился неустойчивым при попытке сменить курс.

Каждую вахту мы меняли галс, теряя добрую милю продвижения на запад, добытую с таким трудом на предыдущем галсе. Корветтенкапитан граф Ойген Фештетич фон Центкатолна — достойный человек, но ему следовало внимательней слушать капитана Прерадовича на борту «Галатеи», когда тот говорил, что море не признает учебных маневров.

Потому что именно этим мы и занимались в те недели. Стремилась победить волны мыса Горн с помощью служебных инструкций.

После пятидневных попыток пробиться против ветра на парусах мы развели котлы и попробовали использовать двигатели для рывка вперед. Безднадежно. Паре старых двухцилиндровых паровых двигателей не хватало сил, чтобы сдвинуть корабль и всю его торчащую массу снастей и рангоута в центр западного шторма, особенно мешало то, что винт выпрыгивал из воды на несколько секунд каждый раз, как мы переваливались через волну.

В лучшем случае они могли удержать корабль на месте, пока котел тоннами сжигал уголь. Но когда мы попробовали помогать двигателем парусам, результат вышел удручающим, корабль не слушался руля и постоянно пытался повернуть к волне бортом.

Помимо пожирания семидесяти тонн угля, два дня попыток обогнуть Горн под парами доказали, что если «Виндишгрец» когда-нибудь и выйдет в Тихий океан, то сделает это только под парусами.

Плавание в этих ужасных водах изматывало команду. Корабль имел большой экипаж по сравнению с торговыми судами, мелькавшими время от времени сквозь штормовой мрак и занятыми тем же, что и мы, успешно или не очень.

Как я уже говорил, мы находились выше и меньше мокли. Но большая команда имела свои недостатки. Например, перенаселенность вместе с холодом, влажностью и вонью человеческих тел в темноте нижней палубы.

С высоким бортом или низким, волны все равно заливали палубу каждые несколько минут и выливались через порты, прорезанные в фальшборте, заставляя нас прыгать на ванты, спасаясь от участи быть смытыми водой, с ревом возвращающейся в океан.

«Влажное и подмерзшее» стало привычным состоянием всего и вся, поскольку вода потоками стекала по трапам, захлестывала в порты оружейной палубы — хотя их закрыли наглухо и проконопатили паклей, по-настоящему водонепроницаемыми они так и не стали.

Вскоре горячая пища стала лишь отдаленным воспоминанием — когда вода в десятый раз залила камбуз и затопила печь, кок наотрез отказался разжигать ее снова.

Что же касается нашей промозглой конуры в грузовом трюме, думаю, что и могила вряд ли выглядит менее привлекательной, чем эта качающаяся, подпрыгивающая, наполненная хлюпающей водой каморка, освещенная единственным фонарем, со стен постоянно сочилась и капала вода, пока корабль со стонами и скрипом прокладывал путь сквозь ревущие волны.

К середине декабря все пришли к единому мнению: мы погибнем и

отправимся в ад, дабы следующий миллион лет провести в попытках обогнуть этот проклятый мыс, мы обречены топтаться на месте, пока не очистимся от коллективного греха блуда и мелкого воровства. Постоянно мокрые, постоянно продрогшие и уставшие, постоянно пытались тянуть брасы на скользкой, бешено прыгающей палубе, чтобы повернуть корабль на другой галс по дороге в никуда, постоянно работали на износ, только чтобы удержаться на одном месте.

Мокрый снег и низкие тучи затрудняли наблюдения. В условиях, когда кусочек солнца или проблеск звезд можно было ухватить только сквозь серый мрак, вычисленные координаты имели удручающую тенденцию болтаться вокруг одной долготы в течение многих недель, иногда 66° западной, иногда 67° , даже 68° , но вернулось к $65^{\circ}40'$, или даже $64^{\circ}30'$, когда нас сильнее снесло в подветренную сторону.

Мы могли бы утешаться тем, что другим кораблям приходилось еще хуже. После трех дней бешеного шторма десятого декабря мы оказались к востоку от острова Эстадос, в относительно спокойных водах, где крайние острова архипелага Огненной Земли образуют своего рода волнорез против ярости океана.

Здесь мы встретили много альбатросов и капских буревестников, отдыхающих на волнах, а также множество потрепанных судов, пытавшихся в течение нескольких недель, как и мы, прорваться в Тихий океан.

Один из них — четырехмачтовый ливерпульский барк «Замок Токстет», протекающий и потерявший фор-стенгу. Похоже, они были недоукомплектованы с самого начала — двадцать пять членов экипажа, из которых восемь — ученики, а неделю назад волна смыла с палубы половину вахты.

Вдобавок, один человек лежал три недели с раздробленной ногой, другой в коме после падения на палубу, а третьему пробило череп падающим блоком в тот момент, когда они потеряли кусок мачты.

При попытках продвинуться западнее их унесло к границе льдов, в результате чего у нескольких номинально здоровых были обморожены пальцы ног и рук. Только восемь человек могли работать, так что они ставили по полпаруса за раз.

Все это мы узнали после того, как «Замок Токстет» просигналил просьбу о докторе, увидев, что наш корабль — военный (в те времена очень немногие торговые суда имели врача на борту).

Фрегаттенарцт Лучиени и я отправились к судну на лодке кру — единственной, которую мы не привязали намертво. Сцену, которую мы

узрели на полубаке, я едва ли наблюдал когда-нибудь за пределами концентрационного лагеря. Здесь воняло как в канализации, наполненной гангренозными немытыми телами.

Все заросло плесенью, а измученный и полуголодный экипаж страдал от цинги, потому что провизия тоже заканчивалась. Они выглядели как отчаявшиеся голодные волки.

Раненых невозможно было перевезти, мы с Лучиени отняли гангренозную ногу прямо на столе полубака под ураганным танцем лампы. Я прижимал маску к носу раненого, а Джимми Старборд капал на нее хлороформ.

Вдобавок доктор ампутировал несколько обмороженных пальцев на руках и ногах, но ничего не мог сделать для двоих тяжелораненых, лишь дать им надежду на то, что они умрут быстро. На обратном пути к трапу он спросил через меня капитана, почему бы ему не вернуться в Порт-Стэнли, чтобы высадить раненых.

— О нет, я не могу, хозяевам не понравится — портовые сборы и тому подобное. Прибыль компании уменьшится, акционеры будут недовольны.

— Но позвольте, капитан. Корабль непригоден к плаванию, осталось всего восемь человек команды, куда вы можете отправиться?

— Снова попробуем обойти мыс Горн, когда поставим временную мачту. Представитель хозяина все равно не даст распоряжения на ремонт, даже если мы вернемся в Порт-Стэнли. И в любом случае, — он выпрямился и выпятил вперед подбородок. — Бульдोजья порода никогда не сдастся!

Я оглянулся на несчастную команду на палубе, по большей части скандинавов и португальцев, и представил, что бы они сказали, будь вопрос самопожертвования на благо дивидендов компании или национальной гордости поставлен на голосование.

На прощание Лучиени отмахнулся от капитанской просьбы выставить счет за услуги, сказав, что это обычный гуманизм и вообще подарок от австрийского правительства.

Когда мы вернулись на борт, он заявил, что вряд ли счет оплатили, даже если бы он его оставил. И оказался прав. Когда мы позднее заглянули в Вальпараисо, где капитан отправил письмо дочери, то узнали, что «Замок Токстет» объявлен пропавшим у мыса Горн примерно в середине декабря и мы видели его последними. Могу только надеяться, что страховые выплаты в какой-то мере осушили слезы владельцев и акционеров компании.

Но мы и сами находились не в лучшем состоянии, когда выплыли из-

за острых вершин острова Эстадос. По нижней палубе расползалась угрюмая безнадежность.

Что у нас за офицеры, если не могут справиться с такими ситуациями? Люди начали в открытую ворчать, что «дер Фештетич» должен либо поднять все возможные паруса и позволить нам прорваться через море к ледяным полям, если это необходимо, либо признать поражение, развернуться и рвануть с западными ветрами в Индийский океан и дальше к Австралии.

Нам было ясно, что лето, какое-никакое, в этих широтах коротко. Уже скоро придет длинная южная осень, и шторма с выюгами зарядят уже всерьез.

Но спустя ещё десять дней бесполезных попыток справиться со встречным ветром, за неделю до Рождества, кризис перешёл в решающую стадию. Линиеншифслейтенант Микулич и делегация офицеров отправились побеседовать с капитаном. Теперь — Тихий океан или смерть.

Ветер немного ослаб и изменил направление на вест-норд-вест, так стоит ли ждать более подходящего времени? Измученные, мы поднялись наверх и развернули все паруса кроме бом-брамселей.

Паруса хлопнули, как пушечный выстрел, когда их наполнил шторм, но выдержали, и корабль начал карабкаться по волнам, носом на юго-запад. Мы направились к Антарктическим льдам.

Это решение едва нас не прикончило. После дня и ночи хода и двух разорванных в клочья брамселей мы оказались в том же воющем, вздымающемся просторе, что и раньше, но в этот раз в компании зловещих обломков пакового льда, громоздящихся среди волн и пробирающего до костей холода.

Мы дошли до подтаявшего за лето края ледяных полей. Сразу после начала утренней вахты в Рождество донесся крик Тарабочча, привязанного на вершине фок-мачты для наблюдения за льдом.

Поначалу, когда мы пытались всматриваться покрасневшими глазами сквозь ледяной шторм в утренней полумгле и видели какую-то неясную форму за снегопадом, нам показалось, что это остров.

Затем стало ясно, что «остров» медленно поднимается и опускается вместе с волнами. Огромный низкий айсберг прямо по курсу и слишком близко, чтобы мы могли изменить курс и обогнуть его!

В панике рулевой положил руль на ветер, и мы встали прямо против ветра с таким диким треском, что на мгновение показалось, будто мы врезались в айсберг. Корабль содрогнулся и застонал, блоки задребезжали, а реи застучали о мачты.

Когда корабль встает во время шторма против ветра — это самое опасное, что может с ним случиться. На кораблях с прямым парусным вооружением мачты могут воспринимать нагрузку от ветра со стороны кормы и бортов, а не с носа.

Думаю, нам удалось не потерять мачты только из-за того, что айсберг немного прикрыл корабль от ветра. В любом случае, нам как-то удалось кинуться к брасам и переложить реи, нос корвета пересек линию ветра, и мы легли на левый галс, прежде чем мачты рухнули за борт. Мы пронеслись мимо ледовой горы так близко, что могли почувствовать ее ледяное дыхание.

Мы проскочили, но с передней мачтой случилось что-то ужасное, ремонтная бригада уже бежала к носу по обледеневшей палубе. Что-то произошло и внизу, судя по гаму, доносящемуся из люков.

Я слетел вниз по трапу на батарейную палубу и застал там человек пятьдесят, как будто участвующих в корриде.

Затем я понял, что с креплений сорвалась пушка, рым-болты, державшие мощный трос, проходящий через боковые стенки лафета, просто вырвало, когда корабль накренился, меняя курс. Теперь она носилась во все стороны по скользкой от воды палубе, пока корабль качался на волнах.

Пушке нужен один хороший разгон, чтобы набрать скорость, въехать в борт, впустить море внутрь корабля и утопить всех нас. Я мог лишь беспомощно и зачарованно наблюдать, как Негошич и его люди гонятся за трехтонным монстром в отчаянной попытке накинуть на него лить и хотя бы замедлить.

Орудие ударилось о грот-мачту и замедлилось, а корабль в это время застыл в крайней точке наклона, как будто в зловещей задумчивости, а потом пушка покатила задом наперед, когда корабль качнуло в обратную сторону.

Кто-то мучительно закричал, и матросы бросились вперед. К тому моменту как я подскочил помочь с пушкой, ее уже развернули и остановили.

Помощник канонира засунул ганшпуг под колеса, а мы обмотали трос вокруг лафета и привязали к грот-мачте. Теперь я увидел, почему орудие притормозило.

Гумпольдсдорфера зажал под лафетом, его голубые глаза глупо таращились, из уголка рта текла кровь. Пушка прокатилась по нему и раздавила. Белые переломанные ребра торчали сквозь разорванную штормовку, а по палубе широким двухметровым мазком растеклась кровь,

как след улитки.

Он был почти мертв, лишь легкие конвульсии. Некоторые свидетели утверждали после инцидента, что он поскользнулся, упал и не успел вовремя отскочить. Другие — что он добровольно бросился под несущееся орудие, чтобы его остановить. Так или иначе, дер Гумперль погиб.

У нас не было ни времени, ни сил для торжественных похорон. Только капитан, отец Земмельвайс и пара кадетов на обледенелом полуяте прижимались к вантам для равновесия, пока завернутый в парусину сверток соскальзывал в серые волны где-то к северу от края Антарктических льдов.

Иногда, спустя годы, я размышлял о том, что море в этих широтах очень холодное и он лежит на глубине, замерзший и вечно молодой, а его большие голубые глаза смотрят вверх на полупрозрачный изменчивый потолок. Наверное, нет.

Но спустя годы он достиг в некотором роде бессмертия, хотя и не под своим настоящим именем, в качестве главного героя в «Утвержденном тексте для чтения в младших школах». Он был озаглавлен как «Смелый кадет, отдавший жизнь за свой корабль» и использовался в австрийских школах до 1918 года в качестве пособия для чтения. Могло быть и хуже.

После этого небольшого инцидента с айсбергом, который мы, по идее, не должны были пережить, мы убрали часть парусов и дрейфовали в подветренную сторону в новом освежающем шторме.

Мы на волосок разошлись со смертью, но видимых повреждений корабль не получил, не считая сильно поврежденной фок-мачты и корпуса, который теперь обильно пропускал воду сквозь щели, открывшиеся после жестокой перегрузки, когда ветер ударил нам в лоб.

Нижние части мачт на «Виндишгреце» представляли собой склепанные из стального листа трубы. Фок-мачта согнулась назад — она приняла на себя большую часть ветра — и один шов на ней лопнул.

Мы кое как заделали его, вырезали деревянную накладку и туго примотали ее к мачте тросами, но это временные меры. Ванты тоже оказались повреждены, некоторые вырвало из стальных вант-путенсов, которыми они крепятся к корпусу, и это можно поправить только в порту.

Но даже в таком состоянии мы провели остаток 1902 года в отчаянных попытках прорваться против ветра и обогнуть мыс Горн. Двадцать восьмого декабря в утреннем свете мы даже видели его в нескольких милях к северо-западу — низкий, безликий двугорбый остров, едва различимый сквозь брызги и дождь милях четырех от нас.

Сам бы я не догадался, но несколько человек, уже проходившие здесь,

покаялись, что это незначительное нагромождение скал и есть самая южная точка обеих Америк. Из-за этого незначительного клочка суши мы перенесли слишком много сложностей. Но через несколько минут нам было отказано даже и в этом достижении — мы развернули корабль на другой галс, прочь от земли, и шторм мгновенно отнес нас назад на восток.

Во время финальной попытки прорваться, утром двадцать девятого декабря, я в роли впередсмотрящего находился на вершине грот-мачты — застрявший в вантах, одревеневший от холода и усталости, а в это время мачта описывала пятнадцатиметровые круги в небе.

Опять начался шторм, но мне было до лампочки. Мне действовал на нервы визг ветра в такелаже: не постоянное «уииииии», а медленное завывание «уииии-воооо-уииии», пока мачты кренятся в наветренную сторону, затем в противоположную и опять в наветренную.

Я попытался смотреть на запад через падающий снег. В двух милях к юго-западу виднелся большой четырехмачтовик, идущий по ветру из Тихого океана в Атлантический — везучие черти. Я повернулся, чтобы крикнуть фрегаттенлейтенанту Кноллеру на палубе.

— Вижу парусник, герр лейтенант, четыре румба по правому борту! В двух милях от нас!

Я обернулся снова посмотреть на четырехмачтовик. Его закрыл снежный шквал, а когда он рассеялся, корабль исчез.

Я потер глаза и посмотрел снова. Нет, сомнений быть не могло. Я соскользнул на палубу, борясь с ветром, почти загнавшим меня обратно на ванты.

— Уверен?

— Уверен, герр лейтенант, он был впереди и вдруг исчез.

Мы повернули туда, где я видел корабль, и заметили перевернутую спасательную шлюпку на волнах, слишком далеко с наветренной стороны, чтобы мы смогли добраться до неё. Нужно спускать шлюпку, воздух внутри промасленной штормовки мог удерживать человека на воде пятьдесят минут.

Но кто пойдет на это? Юнион Джек и его парни на своей лодке вызвались добровольцами. Они ужасно страдали от холода все последние полтора месяца и были, я думаю, рады шансу немного погреться, поработав веслами, пусть даже с вероятностью утонуть.

Капитан запретил, но они настояли, сообщив, что еще никогда кру не боялись волн. Так что мы спустили свою шлюпку на пятно, накапавшее из офицерского гальюна, и стали смотреть, как они гребут, затянув одну из своих песен.

Предполагалось, что мы видим их в последний раз, но через полчаса они снова появились, периодически пропадая за гребнями волн. Прошло еще около часа, пока они подобрались на достаточную дистанцию, чтобы мы скинули им привязанный к пустой бочке линь и вытащили.

Мы подняли их и сразу отвели на нижнюю палубу, где принялись оживлять с помощью шнапса. Кру не сумели спасти ни одного человека. Удалось найти только розово-черного поросенка, плававшего на месте крушения.

И больше ничего. Мы не узнали даже названия корабля. Полагаю, произошла обычная для Южного океана история: корма поднималась недостаточно быстро, чтобы избежать особенно высокой волны, или рулевой дал рулю проскользнуть и корабль, поднявшийся на первую волну, получил удар в бимс от второй, а третья выбила люки на палубе и отправила его на дно.

За долгие годы вот так пропали сотни парусников — ни выживших, ни обломков, только немногословная запись в конторе Ллойда через несколько месяцев: «Последний раз замечен кораблем «Вальдивия» 24 августа 1901 г., 52°41' ю.ш. 69°52' з.д.».

Совершенно непонятно, как свинья, единственный выживший в этой безымянной трагедии, осталась на плаву, когда корабль провалился в пучину.

В те дни, до изобретения холодильников, идущие домой из Австралии парусники обычно перевозили много скота, но в такую погоду все животные должны были быть надежно привязаны на нижней палубе и утонуть вместе с кораблем. Скорее всего, в тот самый миг, когда случилась катастрофа, поросенка подняли на палубу для встречи с мясником.

В сложившихся обстоятельствах мы все решили, что будет крайне возмутительно даже думать о том, чтобы съесть этого поросенка. Так что мы окрестили его Фрэнсисом в честь первооткрывателя пролива Дрейка и разрешили бродить по всему кораблю на манер священной коровы в Варанаси.

Мы старались как могли, но так и не смогли выдрессировать это существо, так что даже линиеншиффслейтенант Микулич вынужден был мириться со свиным пометом на безукоризненно вычищенных палубах.

В предпоследний день 1902 года капитану Фештетичу пришлось признать поражение. Выбора не осталось. Экипаж измучен и недоволен, фок-мачта сильно повреждена, а корпус протекает из-за многодневных нагрузок так сильно, что воду приходилось откачивать каждый час.

Плотник и старший офицер провели осмотр трюма и доложили, что

такими темпами скоро не выдержит какая-нибудь доска ниже ватерлинии и мы пойдем ко дну. Так что в полдень мы повернули руль, перебрасопили реи по ветру и понеслись к Фолклендам.

Прошло шесть недель, как мы отплыли с этих островов, и всё, чего мы добились в борьбе с погодой и ветром — три мертвеца (Гумпольдсдорфер и два моряка, которых просто смыло ночью за борт), потрепанный, протекающий корабль и крайне унылый экипаж, деморализованный не столько работой или погодой, это еще куда ни шло, а скорее потерей веры в командиров.

Стыдно осознавать, что хорошо укомплектованный моряками военный корабль не смог обогнуть Горн, в то время как кое-как оборудованные торговые суда под управлением десятка моряков и юнг делали это каждый день. Мы проиграли и понимали это.

Корабль приполз в Порт-Стэнли вместе с угасающим светом последнего дня 1902 года. Возможно, мы предпримем еще одну попытку, если погода наладится — небо как раз расчистилось, когда мы подходили к Фолклендам — но сейчас нам срочно нужно отремонтировать корабль.

Все выглядело так, будто мы прибыли в правильное место, потому что насколько хватало глаз во время длинного летнего заката, гавань Порта-Стэнли и все бухты вокруг были усыпаны бесхозными кораблями, этими ходячими мертвецами в вечной битве у мыса Горн.

Многие из них, очевидно, находились здесь многие годы, судя по позеленевшим мачтам и темным зарослям водорослей, украшающим борта.

Наутро капитан и старший офицер отправились на берег, чтобы узнать насчет ремонта, и мы выяснили, почему здесь все кишит брошенными судами.

Все работы по ремонту кораблей в Стэнли монопольно выполнялись двумя шотландцами, братьями Гатри, и их расценки были так высоки, что капитаны побитых штормом кораблей, после того как отправляли владельцам телеграмму о требуемой на починку сумме, получали распоряжение сделать временный ремонт своими силами либо оставить судно на побережье в какой-нибудь бухте и вывозить команду пароходом.

Стоит ли говорить, что в ответ на нашу телеграмму с примерными расценками мистера Гатри и его брата пришел ответ, что Казначейство никогда не согласует починку корабля по такой непомерной стоимости.

И это еще не все, следом из Вены пришла вторая телеграмма, зашифрованная и столь длинная, что за стоимость ее отправки мы могли бы сполна оплатить ремонт и даже получить сдачу.

Начали распространяться слухи, в этот раз достоверные, ибо, покинув

Порт-Стэнли второго января, мы больше не пытались обойти мыс Горн. Вместо этого мы направились к чилийскому городу Пунта-Аренас на восточной оконечности Магелланова пролива, чтобы исследовать воды около Огненной земли.

Беглый взгляд на крупномасштабную карту в морском атласе Макса Гаусса показал, что если нам действительно предстоит этим заняться, то у нас будет, как говорится, дел по горло.

Потому что по сравнению с пятисоткилометровой береговой линией между островом Эстадос и мысом Пилльяр на западной оконечности Магелланова пролива даже хождение между замысловатыми островками Далмации кажется простым и незамысловатым занятием.

Думаю, что во всем мире только побережье Норвегии и, пожалуй, Британской Колумбии может сравниться с ней в сложности: дьявольски запутанная неразбериха каналов и фьордов, отделяющих бесчисленные гористые острова.

Но конечно, ни одно из этих побережий не является таким протяженным, как побережье самой южной оконечности Южной Америки, где Анды погружаются на морское дно. Нет рядом с ними и рождающих бури морей Южного океана, разбивающихся о сушу там, где западный ветер сталкивается с Андскими Кордильерами и пытается протолкнуться в узкую щель между горами и антарктическим льдом.

Нет там ни холода, ни свирепых течений — а диапазон приливов в Пунта-Аренасе, например, составляет пятнадцать метров — ни какой-либо помощи или удобств. В те дни побережье было неосвещенным, без каких-либо навигационных знаков, скудно обследованным и безлюдным, не считая горстки кочующих индейцев.

На этом жутком куске суши образовалось такое же кладбище кораблей, как и на берегах Каоковельда. Но там кости годами лежали на виду, погребенные дрейфующими песками.

Здесь жертвы стихии лежали на морском дне под скалами, там, где волны, прокатившиеся по всему южному океану, бьют в каменную стену и выбрасывают фонтан брызг на сотни метров ввысь.

Некоторым кораблям каким-то чудом удавалось прорваться в относительную безопасность фьордов и там сесть на мель. Но и их конец был печален. Экипаж, обреченный умирать от голода и холода. Корабль, гниющий в бухте и помеченный в конторе Ллойда как пропавший без вести.

Каждое лето, если позволяла погода, чилийский флот отправлял вдоль побережья канонерскую лодку, чтобы узнать, какие корабли накопились за

прошедший год, и высылали шлюпку их идентифицировать, если море было спокойным.

Бывало, что удавалось спасти несколько выживших в крушении. Но для большинства крушение означало печальный конец на краю земли. Они были отрезаны от всего человечества столь же надежно, как если бы разбились на далекой планете.

Вплоть до начала Первой мировой войны в лоциях содержалось указание капитанам держаться по возможности близко к берегу и высматривать жертв кораблекрушений.

Даже названия на карте звучали как зловещие предзнаменования: остров Отчаяния, Бесплезный залив, бухта Истощения, Страшный фьорд, порт Голода. Семьдесят лет назад капитан Фицрой и его команда на корабле её величества «Бигль» постарались внести немного мужественного оптимизма, усеяв карту коллекцией краснорожих ганноверских англичан — залив Харди, остров Герцога Йоркского, пролив Коккбурн и полуостров Брансвик.

К сожалению, даже пыл этих поедателей говядины не смог развеять мрачность, как будто парящую над этой местностью. Даже на листке бумаги Огненная земля выглядела угрожающе, как разбитая на осколки бутылка, ожидающая, что кто-нибудь на нее наступит.

Однако утром пятого января, когда мы приблизились к Пунта-Аренасу, Огненная земля не выглядела особенно пугающе. Ночью мы обогнули мыс Десяти тысяч девственниц — линиеншиффслейтенант Залески заявил, что вряд ли их может быть так много — и с приливным течением вошли в Магелланов пролив. Перед нами предстал плоский берег, за ним — линия низких, поросших травой утесов. Немного похоже на склоны Фолклендов, но более голые.

Хотелось подойти к Пунта-Аренасу под парусами, но ветер и отлив заставили использовать двигатель и встать на якорь у Сэнди-Пойнт.

Знаменитый «Самый южный город в мире» ничем другим, кроме этой своей самости похвастать не мог.

Но при этом имел кое-какие интересные возможности для морских кадетов после трех месяцев в открытом море. На вид это был эдакий дикий южноамериканский городок в пампасах из подростковых книжек — лачуги из дерева и гофрированного металла у подножья голых, выгоревших холмов; пыльные, продуваемые всеми ветрами улицы и кладбище, полное помпезных склепов, превосходящих в своей великолепии обиталища живых.

В городе имелась статуя Освободителя Абрисио О`Хиггинса и унылый

бар «Отель Антарктика». Поскольку мы не могли нанести большого ущерба этому месту, особенно после того как бордель взяли под охрану, кадетам любезно разрешили увольнение на несколько часов.

Мы с Гауссом попали на борт самой первой шлюпки к берегу, в четыре склянки утренней вахты, пока город только начинал просыпаться. Поначалу было непривычно стоять на неподвижном деревянном причале после трех месяцев постоянно качающейся палубы. Все казалось странным, как будто снова в первый раз на корабле. Я сделал три или четыре шага и немедленно споткнулся.

Сойдя на причал, мы с Гауссом застегнули воротники, прикрывшись от бушующего, высекающего слезы из глаз антарктического ветра, и направились в центр городка. Выглядел он как страшная дыра. Мне хотелось найти церковь и заказать панихиду за упокой души моей матушки.

Прошло уже четыре месяца, и я хотел все уладить, тем более, что другого шанса могло не представиться. Кто-то должен был подсказать нам дорогу, но ранним утром на площади было пусто, не считая закутанной в пончо фигуры, съездившейся на ступенях Чилийского банка Патагонии.

Мы подошли поближе и заколебались. Похоже, он ждал открытия банка, чтобы его ограбить, по крайней мере, выглядел он как настоящий злодей. Но больше некого спросить, так что Гаусс, считающий себя хорошим полиглотом, с обезоруживающей улыбкой и небольшим запасом испанских выражений, зазубренных накануне вечером по разговорнику линиеншифслейтенанта Залески, приблизился к незнакомцу.

— Perdone, señor, dónde está la iglesia católica más cercana? [\[23\]](#)

Человек шевельнулся и крикнул, затем посмотрел на нас. Настоящий гаучо с плоским, смуглым скуластым лицом и сальными длинными усами, подкрученными вверх — такой типаж из романов, который щелкает пальцем по зубам, выдыхает зловонное чесночное облако и обращается к рассказчику «amigo» или «hombre» в грубой вызывающей манере.

Он устоял на нас в замешательстве, провел пальцем по зубам и выдохнул зловонное чесночное облако.

— Qué, hombre? [\[24\]](#)

Мы почти слышали перевернутый вопросительный знак. В какой момент из складок его пончо появится нож или револьвер?

— Э-э-э... estoy buscando una iglesia católica. Amigo mío quisiera celebrar una misa por madre sua... ммм... recientemente decada [\[25\]](#).

Мужчина смотрел на нас враждебно.

— Extranjeros? Gringos? Breeteesh? Alemanos? [\[26\]](#)

— Нон алеманос... э-э-э... маринос австриакос...

Он уставился на наши кокарды, а затем расплылся в широченной щербатой улыбке.

— Но эта жа замишательно. Миня завут Йово Матачич. Йа приехать ис Риека. Я также быть австрияцкая матроса на боненосе «Дезог Абрек».

Ну и ну, мы всего десять минут как высадились в Южной Америке, на самом дальнем конце земли, и первый человек, которого мы встретили — это хорват из Далмации, бывший моряк, служивший когда-то на броненосце «Эрцгерцог Альбрехт».

Было в этом что-то удручающее, мы таскали за собой Дунайскую монархию по всему миру, как собака привязанную к хвосту жестянку. «Austria Extenditur in Orbem Universum» — Австрия распространяется по всему миру, как справедливо отметил граф Минателло несколько месяцев назад.

В баре «Антарктика», где мы спрятались от ветра, сеньор Матачич рассказал, что вокруг Пунта-Аренаса, как, впрочем, и в самом городе, полно далматинцев, заманил их сюда в лихих 1890-х в качестве золотодобытчиков венский еврей Юлиус Поппер. Несколько лет здесь, в Магеллановом проливе, в поселке Порвенир, было что-то вроде Австро-Далматинской колонии.

Герр Поппер даже выпускал серебряные монеты собственной чеканки, Матачич показал нам одну со словом «поппер» на одной стороне и киркой, скрещенной с лопатой, на другой. Но золотая лихорадка на Огненной Земле сдулась спустя несколько лет после слухов, что герр Поппер лично привез и зарыл небольшое количество золотой пыли для роста стоимости своих акций.

В итоге рассерженный шахтер зашел в палатку Поппера и застрелил его. Компания тут же развалилась, заставив далматинцев зарабатывать себе на жизнь в роли портовых грузчиков или подсобных рабочих на овечьих ранчо в Патагонии.

С помощью сеньора Матачича мы заказали панихиду и отправились немного погулять по Пунта-Аренасу перед возвращением на борт.

Другие кадеты тоже не получили удовольствия от этого места. Женщин здесь почти не было, выпивка чудовищно дорогая, а основным элементом диеты являлась баранина.

Хотя нашлись и те, кто достиг больших успехов в поисках развлечений. В течение дня городок периодически качало от взрывов на склонах. Это работали профессор Сковронек с ассистентом, собирали

антропологические материалы, эксгумируя кости со старого кладбища патагонских индейцев с помощью динамита.

Профессор также установил контакт с местным губернатором и предложил хорошо заплатить за пару черепов чистокровных индейцев фуэгинов, которых Дарвин считал самой низшей и жестокой разновидностью человеческой расы и даже, возможно, недостающим звеном в эволюции между человеком и обезьяной.

Губернатор ответил, что выполнить просьбу профессора будет несложно, ведь колонизация Огненной Земли шла семимильными шагами благодаря мощной поддержке кори и оспы, и индейские черепа были товаром, представленным в изобилии.

Какой образец хочет получить профессор? Свежий или, так сказать, подсушенный? Профессор ответил, что хотел бы иметь черепа из известного и подтвержденного источника.

— Без проблем, — ответил губернатор, — прямо сейчас здесь, в Пунта-Аренасе, два чистокровных индейца-фуэгина сидят в тюрьме за пьянство, мужчина и женщина. Никто не будет их искать.

Вечером мы готовились к отплытию, а две головы варились на медленном огне в котле профессора, который остался очень признателен губернатору и в благодарность пожертвовал двести крон золотом местному музею естественной истории.

Глава двенадцатая

ПРОПАВШИЕ

Когда на рассвете шестого января мы отправились в путешествие через Магелланов пролив, то двигались только под парами, с опущенными брам-стенгами и реями, чтобы уменьшить парусность.

На борту также присутствовал сверхштатный офицер — лейтенант чилийского военно-морского флота Родригес-Крайтон, исполняя роль лоцмана. Извилистый Магелланов пролив был в своём роде столь же коварен, как и проход вокруг мыса Горн — что ясно следовало из количества обломков, усеявших его берега.

Чилийское правительство, сытое по горло необходимостью спасать экипажи кораблей, недавно издало предписание, что все корабли, идущие через пролив, должны иметь лоцмана. В придачу ко всему остальному, плата за проводку судов стала неплохим источником дохода для испытывающего денежные затруднения правительства.

Когда мы углубились в широкий и на первый взгляд безобидный проход, то начали понимать, почему необходим лоцман: повсюду под поверхностью извилистого пролива скрывались скалы.

Постоянно перемещающиеся песчаные отмели выползали из-под мысов, а внезапные, сильные встречные течения требовали постоянного наличия четырех человек у штурвала.

Течения при отливах были такими сильными — порой девять или десять узлов — что мы могли лишь бросить якорь и ждать прилива. Идти под парами ночью в таких водах было слишком опасно, даже пробовать не стоит, так что мы продвигались вперед урывками.

Мы проплыли мимо Пуэрто-Амбре — Порта Голода — названного так, потому что первая волна испанских поселенцев умерла здесь от недоедания и холода первой же зимой.

Но когда мы обогнули мыс Фроуард с белым каменным крестом, то наткнулись на новую опасность: завитки бурых водорослей, дрейфующих от скал по течению.

Несколько раз в день водоросли наматывались на гребной винт, и нам приходилось бросать якорь, поднимать раму винта и посылать матросов

вниз в шлюпке, чтобы срубить водоросли топорами.

К этой опасности следовало относиться серьезно: на мелководье вдоль пролива валялись останки пароходов, выброшенных на берег ветром и течением после того, как их винт запутался в бурых водорослях.

Именно с мыса Фроуард мы мельком увидели вдалеке на юге гору Дарвина, бледное солнце отражалось от её вершин, покрытых снегом и ледниками, которые сползают по склонам и обрушиваются во фьорды.

Затем погода снова ухудшилась, зарядили постоянные западные шторма и мелкий ледяной дождь. За мысом мы уже не увидели следов человеческой деятельности, за исключением британского парохода, который проплыл навстречу. Но лейтенант Родригес-Крайтон заметил, что, если мы никого не видим, это не означает, что вокруг никого нет.

Даже в 1902-м индейцы Огненной земли оставались далеко не мирными, поэтому корабли, бросающие якорь в Магеллановом проливе, предупреждали о необходимости держать на палубе многочисленную ночную вахту на случай нападения.

Всего пару лет назад, рассказал нам лейтенант, чилийская канонерка затонула около острова Дарвина, после того как местные индейцы ночью подкрались на каноэ и швырнули динамитную шашку в открытый иллюминатор.

Лучший способ предотвратить проблемы, посоветовал он — поставить двух метких стрелков на бак с приказом стрелять в любого, кого увидят.

Мы думали, чилиец шутит — а затем поняли, что он серьезен. Корветтенкапитан Фештетич был гуманным человеком и слышать не хотел о таком, даже несмотря на то, что профессор Сковронек и линиеншиффслейтенант Микулич выступили в поддержку.

Более того, однажды утром, когда мы стояли на якоре у острова Санта-Инес, из морозящего снега появилось каноэ из древесной коры, капитан даже позволил трем его пассажирам подняться на борт, чтобы обменять шкуры выдр на сигареты.

Эти создания определенно выглядели дикими: низкие, с прямыми засаленными черными волосами и плоскими чертами лица. Несмотря на ветер и ледяной дождь, они были обнажены, не считая лоскута выдровой кожи и короткой накидки из того же материала, которую они носили по очереди.

В любом случае, возможно, за исключением венгерских батраков в 1930-х, я не видел таких унылых и жалко выглядящих созданий.

Пока в кругу пораженных наблюдателей они смолили по три сигареты за раз, я заметил, что профессор Сковронек наблюдает за ними из-за грот-

мачты, пытаюсь определить, совпадают ли пропорции их черепов с теми, что подарил ему губернатор Пунта-Аренаса. В конце концов, нельзя полностью доверять этим латиноамериканцам...

Десятого января мы обогнули мыс Пилар и начали осторожно нащупывать путь на юг вдоль тихоокеанского побережья, с его ужасающим хаосом островов и проливов.

Ну, хотя бы с погодой нам везло: накануне шторм ослаб, и только умеренные волны крутились и бились в лабиринте скал. Но зачем мы здесь?

День за днём мы продвигались на юг по направлению к мысу Горн, исследуя по пути каждую судоходную бухту и пролив, всегда стараясь, чтобы между нами и Тихим океаном оставалась земля, поскольку оказаться выброшенными на подветренный берег в шторм было самой ужасной судьбой, какую только можно себе представить.

Но мы, похоже, не занимались должным картографированием: ни измерений глубин, ни тригонометрических съёмок, просто обследовали все обломки, на которые натыкались на берегу. Обычно бегло изучали их в подозрную трубу с фор-марса.

— Что там, вперёдсмотрящий?

— Разрешите доложить, похоже на обломки деревянного четырехмачтового корабля, герр лейтенант. По виду они тут лет пять: в любом случае, очень мало что виднеется на поверхности воды.

— Деревянного, говоришь? Тогда не интересно. Малый вперёд, убираемся отсюда: мне не нравится вид тех облаков к весту.

Таким образом, следующие две недели мы крались вдоль побережья, скребя о скалы и с риском для жизни заходя в бесчисленные заливы, каждый из которых выглядел точно, как предыдущий. Туда, где не мог пройти корабль, посылали шлюпки, ненадёжно качающиеся на зыби.

Когда разыгрывались шторма, мы искали убежище с подветренной стороны островов и посылали пешие группы через буковые леса и невысокие гранитные холмы на берег Тихого океана. Иногда они натыкались на металлические остовы кораблей, которые по какой-то причине особо интересовали капитана.

Они пытались установить происхождение остовов кораблей, но обычно там мало что оставалось кроме кучи побитых морем обломков, вынесенных выше линии прибою. Неоднократно наши исследовательские группы натыкались на сваленные в кучу кости потерпевших кораблекрушение с подветренной стороны скал, где они безуспешно искали убежище от ветра и брызг.

Наши люди в таких ситуациях обычно проявляли порядочность, и если было время, хоронили их по христианскому обычаю. Почти никогда мы не могли идентифицировать этих несчастных — судя по всему, трупы нашли и разграбили индейцы-кочевники.

Эти скитания, пока мы инвентаризировали громадное морское кладбище, разбросанное в этом загадочном лабиринте фьордов и каналов, навевали невероятную депрессию. Поговаривали, что до того, как в начале девятнадцатого века это место должным образом картографировал капитан Фитцрой и другие, команды затонувших в этих водах кораблей сходили с ума от страха, неделю за неделей рыская по проливам, которые в итоге вели в никуда.

По мере продвижения дальше на юг, в пролив Бигль между островами Гордон и Наварино, можно было очень легко понять причину: ужасающие черные Кордильеры нависали над нами в морозящем дожде и под низкими облаками, а нос корабля трясся, пробиваясь через дрейфующий паковый лед с ледников.

Весь ужасный ландшафт казался совершенно враждебным человеческому роду, а трехмачтовик — не больше чем ухверткой, которую вот-вот раздавит ступня гиганта. Какое безумие привело нас в эти места? Я задумался. Зачем рисковать жизнью, борясь с волнами на этом одиноком полуострове и в зажатых между скалами проливах? Разве могил на берегу недостаточно?

Только на десятый день после выхода из Пунта-Аренаса у меня возникло лёгкое подозрение, чем мы на самом деле занимаемся в этих водах. Я подавал ужин в капитанском салоне, накрытый там впервые со времени отплытия из Порто-Стэнли, поскольку Фештетич всю неделю болел бронхитом и оставался в своей каюте.

Это был очередной утомительный, раздражающий день ветра с мокрым снегом, мы качались на якоре в бухточке на восточной части полуострова Брекнок. Несмотря на печь в салоне было холодно и влажно, и все приуныли.

Единственными членами команды, на которых, похоже, не подействовала смена тропической жары на субантарктический холод, были тараканы, которые присоединились к нам в Фредериксбурге. Всё выглядело так, будто они выселят нас через несколько недель и захватят корабль, несмотря на все формы дезинфекции, которые могли придумать офицеры и учёные.

На нижней палубе широко бытовало мнение, что они разносили эпидемию сыпи, начавшую распространяться по экипажу; но более

вероятно, что это результат шести месяцев на морском рационе: уже на несколько месяцев больше, чем следует, насколько можно было судить по странному вкусу части засоленного мяса и неизбежных долгоносиках в муке и сухарях.

Еженедельная порция квашеной капусты держала цингу в узде, но, судя по некоторому металлическому привкусу, которым начал отдавать этот овощ — ненадолго. Только красное вино «Далматинская Пати́на» оставалось в том же состоянии, в котором покинуло Полу — теперь уже почти позабытый мир солнца, тепла и спокойных голубых волн.

Как обычно, профессор Сковронек находился в отвратительно хорошем настроении, совершенно не подвергшемуся воздействию недель унылой погоды и плохой еды.

— Итак, герр командир, и сегодня, кажется, безрезультатно?

— Как видите, герр профессор, безуспешно.

— А не лучше ли нам иметь какое-то представление, что же мы ищем? Как учёный я могу сказать, что последние две недели были совершенно пустой тратой времени с научной точки зрения. Герр лейтенант собрал несколько интересных ботанических образцов, как я понимаю, но что касается всех остальных, мы нам оставалось лишь сидеть в каютах и вести записи. Мы не получали из Вены каких-либо указаний в части морской археологии, и ни у кого из нас нет квалификации в этой области, с чего вдруг такой внезапный интерес к недавним кораблекрушениям? Может, мы проводим проверки в интересах Ллойда?

— Согласен, герр профессор, что господ ученых, должно быть, раздражает приостановка научной части нашего вояжа в пользу дипломатической миссии. Но прошу, потерпите еще немного: правительство весьма заинтересовано еще какое-то время продолжать эти поиски, и ближе нас к Огненной Земле нет ни одного австрийского военного корабля. Приказы поступили из очень высоких кругов.

Профессор Сковронек фыркнул.

— Понятно — высшие круги. Полагаю, это означает, что снова начаты поиски пропавшего эрцгерцога? Когда, наконец, Хофбург устанет от этих бесполезных поисков и оставит его венской бульварной прессе?

Фештетич стиснул губы и заколебался, ковыряясь в своей тарелке, но Сковронек настаивал:

— Ох, да ладно, герр командир, мы не дураки, даже матросы на нижней палубе давно поняли, в чём, на самом деле, цель этого «поиска». Это опять эрцгерцог Иоганн Сальватор, он же Иоганн Орт, не так ли? Какой смысл это отрицать?

Фештетич слабо улыбнулся.

— Так и есть, так и есть, герр профессор; вы должны меня простить. На самом деле, в наших задачах в этих водах нет ничего особо секретного. Но вы, без сомнения, понимаете, что после того как я провёл так много лет при дворе, привычка соблюдать осмотрительность, когда дело касается членов императорской семьи, исчезает с трудом.

— С вашего позволения, герр командир, — вмешался фрегаттенлейтенант Берталотти, — возможно, вы сумеете просветить молодежь о деталях истории Иоганна Орта? Я помню её в общих чертах, но поскольку был ребенком, когда это случилось...

— Несомненно, герр лейтенант: вы должны простить нас, седобородых, за то, что мы говорим так запросто о делах далёкого прошлого и предполагаем, что все остальные знают историю. Эрцгерцог Иоганн Сальватор — или Джованни Сальваторе, если называть его именем, данным при крещении — был одним из эрцгерцогов Тосканской ветви дома Габсбургов; рожденный в Италии, но с раннего детства выросший в Австрии. Я знал его довольно-таки хорошо, когда был молодым адъютантом по морским делам при дворе: талантливый, даже блестящий во многих отношениях человек, но... в общем... с артистическим темпераментом, музыкальный и, откровенно говоря, иногда немножко эксцентричный. У него были твердые убеждения — в частности, в отношении организации австро-венгерской армии — и раз он был кадровым офицером, это довольно скоро привело его к столкновению с нашим возлюбленным императором и эрцгерцогом Альбрехтом.

В этот момент Фештетич почти встал на колени и перекрестился: среди офицеров предыдущего поколения покойный эрцгерцог Альбрехт занимал положение, сходное с ролью святого Петра в католической церкви.

— В любом случае, в 1885-м или около того, поднялась суматоха, поскольку он согласился принять болгарский трон без согласия императора. Я сам моряк, а не политик, так что не полностью разбираюсь в деталях, но в Вене также ходили слухи, что несколько лет спустя он был вовлечен в... эээ... в злополучные события в Майерлинге [\[27\]](#). Как бы то ни было, развязкой всего этого стал его отказ в начале 1890-го от титула и превращение в простого герра Иоганна Орта. Затем он покинул страну и изучал морскую навигацию с целью стать капитаном торгового флота. Получив капитанский диплом, он поехал в Англию, где зафрахтовал трехмачтовый железный барк «Святая Маргарита» и отправился в Вальпараисо с грузом цемента. Я так понимаю, он взял с собой штурмана,

капитана Содича и команду далматинских матросов, а также свою спутницу, некую фройляйн Милену Штюбель из Венской оперы. Путешествие оказалось непростым. Часто возникали разногласия между герром Ортом и его штурманом, пока в Монтевидео капитан Содич и половина команды не покинули судно. Бывший эрцгерцог вроде бы нанял новых помощников и отплыл из Ла-Платы двенадцатого июля 1890 года. Тридцать первого июля их заметили мористее мыса Горн в штормовую погоду, но с тех пор ни о «Святой Маргарите», ни о ком-либо из ее команды никогда не слышали. Всё. Конец. Тридцатого ноября 1890 года Ллойд объявил их пропавшими.

— Не считая того, — добавил профессор Сковронек, — что каждые пару лет объявляется человек, утверждающий, будто повстречал эрцгерцога или кого-то из его команды.

— Вот именно, герр профессор; и шлёт очень длинное, бессвязное письмо (по непонятной причине написанное обычно на розовой бумаге) по этому поводу в ведомство императорского канцлера, которое переправляет его в морской отдел Военного министерства с указанием порыться в архивах и еще раз расследовать дело. Боюсь, венские официальные круги до конца не осознают подлинную сущность дальнего морского плавания. Когда я телеграфировал из Порта-Стэнли австро-венгерскому Министерству финансов о смете расходов на ремонт и наших трудностях при огибании мыса Горн, то получил ответ: предлагаем подождать и попробовать обогнуть мыс Горн летом. Я хочу сказать...

— И много было таких исследований, герр командир?

— Боюсь, что несколько, и все совершенно безуспешные. Корвет «Фазан» прибыл сюда для поисков в конце 1890-го, хотя искал он бог знает что — я убеждён, что идиоты в императорской канцелярии думают, будто пролив Дрейка примерно такой же ширины, как Дунай в Флорисдорфе. В 1891-м «Сайда» провёл поиск в проливе Бигль, а «Донау» — пять лет назад. Оба раза с одинаковым результатом. И теперь нас направили сюда в еще одной попытке найти то, что уже определено вне досягаемости человека.

— Но всё это случилось двенадцать лет назад. Откуда такое возрождение интереса?

— Главная причина в том, герр профессор, что матрос-далматинец по фамилии Фабрици стал утверждать, будто спасся с судна «Святая Маргарита». Я сам допрашивал этого человека, когда мы находились в Пунта-Аренасе — хотя тот и отказался подняться на борт из страха, что его арестуют за лжесвидетельство и вернут в Австрию. Лично я считаю этого

человека мошенником. Но его имя совпадает с одним из имён в списке экипажа, и он уверенно излагает немало довольно убедительных подробностей о судне и его владельце, а также весьма позорные истории, которые, могу добавить, угрожает продать европейской прессе, если ему не заплатят значительную сумму за молчание. Короче говоря, он утверждает, что на самом деле «Святая Маргарита» обогнула мыс Горн в начале 1890 года, но так серьёзно пострадала из-за непогоды, что в тумане села на мель в какой-то бухте у побережья — он умышленно не говорит, где именно. Фабрицци утверждает, что герр Орт и экипаж выжили, а он сам и еще несколько человек отправились по проливу в лодке к Пунта-Аренасу, только лодка перевернулась от шквального ветра где-то у острова Досон, и все кроме Фабрицци утонули. Эта история, должно быть, дошла до Вены через нашего консула в Монтевидео, поэтому мы теперь пытаемся ее проверить — прочёсываем это отвратительное пустынное побережье в поисках корабля и человека, который уже двенадцать лет лежит на дне моря.

— Со всем уважением, герр командир, почему бы не доложить об этом в Вену? Должны же там прислушаться к мнению старшего военноморского офицера.

— К несчастью, герр профессор, морские офицеры намного старше меня по чину твердили это при дворе многие годы. Мы повторяли, что плохо оснащенные корабли с неопытными капитанами, пытающиеся переправить неустойчивый груз на ту сторону мыса Горн, имеют гораздо больше шансов утонуть по пути, чем пройти. Но, боюсь, этого просто не хотят слушать — с точки зрения Хофбурга, члены семьи Габсбургов просто не могут утонуть, как какие-то там простолюдины.

— Но, разумеется, после стольких лет даже императорская канцелярия должна уже понять, что герр Орт погиб много лет назад, если уж ни один из членов его команды не объявился живым.

— Должна. Но каждый раз, когда дело кажется закрытым, появляются какой-то новый ясновидец из Мадрида или какая-нибудь глупая американка с заявлением, будто видели герра Орта во сне или встретили его в тёмных очках и с фальшивой бородой на прогулке в Каннах. И боюсь, что в этот раз сказки синьора Фабрицци (и расплывчатые истории чилийских охотников за выдрами), если я не ошибаюсь, достигли ушей крупной венской страховой компании, которая восемь лет назад выплатила весьма значительную сумму по страховке герра Орта. Я так понимаю, они подозревают мошенничество и послали дознавателя пароходом в Буэнос-Айрес. На самом деле он вполне мог уже прибыть и быть на пути к Пунта-

Аренасу. Императорская канцелярия и военное министерство очень беспокоятся, что он что-нибудь обнаружит, и считают, что императорский и королевский флот должен найти это раньше частного детектива.

— Короче говоря, герр капитан, завтра продолжим поиски?

— Боюсь, именно так. Совершенно точно, завтра с первыми лучами солнца продолжим поиски.

Как и было обещано, на следующий день мы продолжили утомительную «охоту», протискиваясь через плавучие льдины пролива Бигль к английской миссионерской станции в Ушуае, самому южному человеческому поселению на Земле, не считая научных аванпостов в Антарктике.

Мы обогнули острова Наварино и Осте, затем вернулись к полуострову Брекнок, от которого стартовали три дня назад. Повидали немало обломков и некоторые детально обследовали, но большинство были слишком разрушены морем, чтобы как-то их идентифицировать.

Лучше всего сохранился лишившийся мачты британский клипер «Империя этрусков», его выбросило на берег острова Осте два года назад. Мы знали об этом, потому что пассажиры и команда (что весьма необычно в таких случаях) пересели в шлюпки и несколько дней спустя сумели добраться до Ушуаи, потеряв всего пару человек погибшими.

Мы послали поисковые партии к месту кораблекрушения, но не для обследования. Мы занялись морским каннибализмом: взорвали деревянный корпус и затем топорами и пилами разрубили обломки на части, чтобы наполнить собственные котлы — после двух недель передвижения на паровой тяге в проливах, у нас оставалось лишь несколько тонн бункерного угля. Дрова же доставят нас обратно в Пунта-Аренас.

«Виндишгрец» снова бросил якорь около Санди-Пойнта днём семнадцатого января. Еще до того, как корабль остановился, спустили гичку, и капитан сошел на берег, чтобы отправить телеграмму в Вену:

«поиск безрезультатен тчк уголь почти кончился тчк сомневаюсь в информации тчк жду инструкций тчк фештетич».

Ответ пришел через час:

«информация очень повторяю очень надёжна тчк упоминается бухта с пирамидой из белых камней тчк загрузитесь углём и продолжите поиск тчк». Он вызывал у Фештетича редкую вспышку гнева.

— Ну как же, бухта с пирамидой из белых камней. Эти кретины, видимо, думают, что побережье Огненной Земли размером с парк Пратер. Да здесь десятки бухт с пирамидами из белых камней!

Погрузка угля заняла следующие два дня — непередаваемо грязная и утомительная работа. Четыреста тонн угля мешками подвозили с причала угольной компании Пунта-Аренаса на шлюпках, а потом вручную поднимали на борт.

Это был не хороший кардиффский уголь, а всего лишь мелкий австралийский, низшего сорта — всё, на что раскошелилось наше казначейство. Предполагалось, что четырёмсот тонн, загруженных на борт в Поле, нам хватит до Кейптауна и обратно, так что Министерство финансов очень неохотно отправило средства для покупки новой партии.

Но всё же теперь у нас был уголь. Мы вывалили последний мешок в бункер, потом, довольные, окатили водой из шланга корабль и самих себя, чтобы смыть въевшуюся пыль, которую ветер забил в каждый уголок. На следующее утро предстояло отплыть и возобновить бессмысленные поиски Иоганна Орта.

Однако до выхода из Пунта-Аренаса нам выпал свободный вечер для общения. Европейские корабли заходили сюда нечасто, и потому этим вечером на борт явились сливки местного общества — развлечься выпивкой и светской болтовней в кают-компании.

Среди наших визитёров оказался и английский миссионер, мистер Лукас-Бриджес из миссии в Ушуае, приехавший в Пунта-Аренас по делам на несколько дней. Он не испытывал восторга от употребления алкоголя, как и от пребывания на борту военного корабля католического государства.

Очевидно, он прочёл в приглашении «австралийский» вместо «австрийский», вследствие чего, поднявшись на борт, пришёл в легкое замешательство. Однако, оправившись от первоначального удивления, миссионер повёл себя вполне дружелюбно и оказался просто кладёзем информации об этом богом забытом уголке мира. Лукас-Бриджес беседовал с капитаном и линиеншиффслейтенантом Залески, а я разносил напитки.

— Дела миссии идут довольно неплохо... Нет, спасибо, мне не надо, молодой человек. Единственная проблема в том, что здесь уже давно не осталось туземцев для обращения.

— Значит, мне следует поздравить вас с успехом, мистер Бриджес. Может быть, в дальнейшем вы посетите Далмацию, чтобы хоть чуть-чуть обратить в христианство моих моряков?

— О нет, капитан, мы вовсе не достигли особых успехов в обращении индейцев к Богу — на самом деле, совсем наоборот. Их не осталось, потому что они теперь так быстро вымирают от кори и пневмонии, что вскоре и проповедовать станет некому. Полагаю, ваши соотечественники

— салезианцы, кажется? — закрывают свою миссию на острове Досон из-за недостатка паствы. Первоначально, как мне известно, они добивались успехов в обучении индейцев носить одежду и работать за деньги, но потом индейцы стали помирать просто сотнями. Если не от болезни, так от джина или многозарядных винтовок. Я слышал, поселенцы в округе Огненная Земля дают награду за связку ушей индейцев, чтобы очистить земли для овец. Однако, полагаю, в этом есть и светлая сторона — они всё равно вымирают после контакта с белыми, и, хотя бы некоторые из них нашими усилиями спасены от вечных мук ада. В конце концов, кто мы такие, чтобы пытаться понять непостижимые пути Божьего провидения?

Последовала небольшая неловкая пауза. Наконец, заговорил Залески.

— Понимаю, мистер Бриджес. И что, индейские племена не оказывают вам никакого сопротивления, как и те несчастные, о которых вы рассказали?

— О нет, ничего подобного. Вот, например, алкалуфы с полуострова Бракнок — совершенно дикие и абсолютно не желают открывать сердца спасительной благодати Христовой. С ними мы ничего не добились, несмотря на многие годы стараний наладить контакт. Они умудрились добыть у белых оружие, а возможно, белые ими даже руководят. Поговаривали, что среди них жил европеец по имени Джон Норт...

В кают-компании внезапно воцарилось гробовое молчание.

— Простите, мистер Бриджес. Какое имя вы только что упомянули?

— Джон Норт. Разумеется, это только слухи, но говорили, что он вроде бы итальянец, хотя по мне — довольно странное имя для итальянца. Хотя, должен сказать, я не слишком верю этим рассказам. Несколько лет назад на овцеводческие фермы Огненной Земли совершал налёты местный полукровка по имени Сквайр Маггинс — так оказалось, что это то ли шесть, то ли семь разных людей.

— Но позвольте спросить, мистер Бриджес, что ещё известно про этого человека, Джона Норта?

— Не слишком много, капитан. Говорили, он был моряком — возможно, потерпел кораблекрушение, возможно — беглый. Точно сказать не могу. Впервые мы услышали о нём примерно в 96-м. Но, насколько я знаю, никто его не встречал, кроме нескольких ваших далматинцев здесь, в Пунте, а они с чужаками не особо разговаривают. Простите, что не могу вам помочь, но больше ничего мне о Джоне Норте неизвестно — если, конечно, он вообще существует.

Едва закончился приём, и последний гость сошёл на берег, капитан и Залески бросились в шлюпку и направились к берегу, чтобы ещё раз

попытаться установить контакт с тем моряком, Фабрицци. После изнурительных поисков они обнаружили его в баре отеля «Антарктика». Однако, когда прозвучало имя Джона Норта, Фабрицци неожиданно стал очень уклончивым.

— Может, я его знаю, а может, и нет — вот и всё, что я скажу. Я слышал рассказы далматинцев, но не могу сообщить вам ничего определённого. Нет, я понятия не имею, где села на мель «Святая Маргарита» — все эти мерзкие бухты похожи одна на другую. Я не могу отвести вас туда — разве что вид золота подстегнёт мою память. Вы, вероятно, помните — три дня назад индейцы выудили меня из воды, когда лодка опрокинулась, я едва насмерть не замёрз. Такие вещи плохо влияют на память.

Когда они вернулись на корабль, всю нижнюю палубу подняли из гамаков и поочерёдно допросили — не видел ли кто за время нашего двухнедельных поисков пирамиду из белых камней у входа в бухту. Наконец, рулевой матрос Крист припомнил, что на пятый день, во время полуденной вахты, на южной стороне полуострова Брекнок он видел в подозрную трубу бухту с пирамидой белых камней и останки разбитого корабля на берегу.

Он доложил об этом вахтенному офицеру, линиеншиффслейтенанту Свободе, но из-за тумана и дождя обследование обломков решили не проводить. Место обнаружения зафиксировали в судовом журнале и в конце концов по карте определили, что речь о входе в небольшой залив под названием бухта Голода, открывающегося из залива Безнадёжности за мысом Отчаяния. Названия выглядели пророчествами для нашего предстоящего визита.

Двухдневный переход обратно к южному побережью полуострова Брекнок едва не добавил ещё одно имя к длинному списку кораблей, сгинувших в водах оконечности Южной Америки. На второе утро, к югу от острова Досона, в проливе Коккбурн, ветер ненадолго сменил направление на северное, поэтому мы смогли поставить марсели, чтобы помочь двигателю справиться со встречным шестиузловым течением.

Несмотря на ветер, воды канала оставались необычайно спокойными, поэтому на корабле открыли для проветривания орудийные порты на батарейной палубе. Мы приближались к тёмной громаде Кордильер Дарвина с двумя вершинами Монте-Сармьенто, где пролив Коккбурн поворачивает к западу, соединяясь с проливом Магдалены.

Даже здесь, на расстоянии многих километров, чувствовалось холодное дыхание ледников. Корабль шёл под парами, внизу непрерывно

стучали и шипели двигатели. Потом вдруг раздался громкой хлопок — в борт ударила огромная струя ледяного воздуха с ледников Сармьенто.

Мы заскользили по палубе, не успев понять, что случилось. Под напором ревущей струи воздуха, сильной, как поток бегущей реки, мачты угрожающе наклонились к воде. С нижней палубы раздались встревоженные крики — через открытые орудийные порты хлынула вода.

Слишком испуганные для размышлений, мы с Гауссом кинулись по наветренным вантам бизань-мачты, чтобы убрать парус, по сути пришлось лезть почти горизонтально. Нам удалось как-то добраться до крюйс-салинга, затем и до рея, и стянуть парус.

Но все без толку, мы висели среди свиста ветра, а нок-реи уже касалась воды. Корабль почти тонул. Мы зажмурились, ожидая, когда нас поглотит ледяная вода. Затем под аккомпанемент хлопающих парусов, рвущих сами себя на кусочки, медленно корабль начал выправляться.

На палубе у кого-то хватило присутствия духа, чтобы бросить шкоты и выпустить ветер, хотя это и привело к тому, что теперь паруса будут трепаться до полного уничтожения. Мы сделали все что могли, чтобы примотать обрывки парусины — на бизань-марселе и контр-бизани вырвало ликтрос — и спустились на палубу, ощущая дрожь в конечностях.

Первым из офицеров мы встретили линиеншиффслейтенанта Микулича, который и отдал приказ бросить шкоты. Его колени заметно тряслись, а лицо приобрело болезненно-белый цвет сырого теста.

— Молодцы, — сказал он, когда мы проходили мимо, спускаясь вниз, прибрать беспорядок. Впоследствии Гаусс заметил, что мы, наверное, были на волосок от смерти, если Микулич нашел в себе силы кого-то похвалить.

Почти весь следующий день стучала помпа, избавляя корвет от тонн воды, которая залилась внутрь, когда корабль накренился. Мы вышли из залива Магдалены в Тихий океан, где нас встретил яростный шторм, обогнули западную оконечность полуострова Брекнок и вошли в спокойные воды под прикрытием острова Стюарт. Все находились в подобии транса, пройдя путь от страха к облегчению.

Мы хорошо понимали, что обречены на смерть, плавая в этих ужасных водах, пока не налетим на скалы и не разобьёмся, или не встретим шквал, ещё более яростный, чем тот, что чуть не опрокинул нас в проливе Коккбурн.

Мы впали в странное бездумное состояние, работали как заведённые, зная, что этот берег станет нашей могилой, а если мы и отыщем капитана Орта и «Святую Маргариту» — так только потому, что сгинем сами и присоединимся к ним на дне моря.

Утром двадцать второго января мы наконец-то нашли бухту Голода, отмеченную на входе кучей грубых белых камней, и спустили шлюпки, чтобы высадить поисковые партии на берег. В их число вошли Гаусс и я. Оказалось, смотреть там особенно не на что. Обломки явно принадлежали трёхмачтовику размером примерно со «Святую Маргариту».

А когда схлынул прилив, мы увидели, что трюм разбитого судна наполняет затвердевший цемент — прогнившие мешки давно смыло море, оставив лишь их окаменевшее содержимое, сложенное штабелями друг на друга. На берегу валялось множество обломков, однако трудно утверждать, что все они принадлежали именно этому кораблю.

На краю бухты среди вечнозелёных буковых деревьев торчали остатки хижины, построенной из рангоута и брезента. Позади неё на галечной отмели виднелись пять обложенных камнями могил, отмеченных крестами из гниющего плавника.

Верх по холму из бухты уходила дорога. Первым её увидел Макс Гаусс. Едва заметная, всё же её проложили европейцы — несколько деревьев, похоже, спилены пилой — и дорогу явно ещё недавно использовали. В грязи оставались даже слабые следы колёс там, где за прошедшие несколько месяцев по ней толкали ручную тележку. Ввиду срочности нашей миссии, было решено, что поисковая группа отправится вглубь берега этим же вечером, несмотря на приближающуюся непогоду.

Меня тоже назначили в десантный отряд, состоявший из десяти человек во главе с линиеншиффслейтенантом Залески и его заместителем, фрегаттенлейтенантом Кноллером. Нам пришлось захватить трёхдневный запас еды, а также, учитывая репутацию местных свирепых индейцев — винтовки, сабли и по три сотни патронов на каждого.

Однако к тому времени, как мы собрали снаряжение на борту корабля и вернулись в бухту, дождь перешёл в мокрый снег и начался сильный шторм. Мы с трудом взбирались вверх по тропе среди потрёпанных ветром промокших буков и гранитных валунов, снег собирался на плечах кителей и осыпался с ранцев.

И зачем мы всё это делали? Чего искали? Любому дураку понятно, что эту тропу много лет назад проложили старатели или охотники, а вовсе не пропавшие эрцгерцоги, чьи кости давно обглодали рыбы за сотни миль отсюда, у мыса Горн. Мы вряд ли отыщем Иоганна Орта, а вот индейцы-алкалуфы скорее всего найдут нас самих, возможно, уже нашли. Мучительно продвигаясь вперёд через лес, мы испытывали странное чувство, что за нами наблюдают, а несколько раз нам казалось, что впереди за деревьями мелькают какие-то фигуры. Может, они ждали только

сумерек, чтобы напасть из засады...

Уже смеркалось, когда мы вышли из букового леса. Местность напоминала субантарктическую тундру, поросшую карликовыми деревьями. Сколько же нам ещё придётся вот так брести — замёрзшим, вымокшим и совершенно несчастным? Когда же, наконец, Залески отдаст приказ разбить лагерь, и мы сможем отдохнуть и согреться у костра? Внезапно мы замерли, прислушиваясь. Я шёл во главе отряда рядом с Залески, а Кноллер замыкал шествие.

Залески поднял руку, подавая знак остановиться, но мы уже застыли по собственной воле. Где-то в полусотне метров впереди, в полумраке за краем утёса, слышались звуки, приглушённые воем ветра в ветвях, но всё же вполне различимые — аккордеон и поющий женский голос.

Нашу команду охватил смутный страх, дрожь нападала на одного за другим, как скачущие по такелажу огни святого Эльма. Голос пел вальс «Fröhlich Pfalz, Gott Erhalt's» из чрезвычайно популярной оперетты Карла Целлера «Продавец птиц».

Мы запаниковали. Думаю, на нас повлиял и угрюмый мрак этой безлюдной местности, и нервное напряжение, накопившееся за долгие месяцы плавания в ужасном море, кладбище кораблей, которое мы три недели исследовали, возвышающиеся над нами тёмные вершины гор и свирепые враги, ведь возможно, они совсем рядом. Так или иначе, у нашего отряда неожиданно сдали нервы. Должно быть, те духи, что привели нас к смерти, на этот берег, в покинутую Богом дикую местность, наконец явили себя и дразнят музыкой далёкой родины. Ветер немного притих. Теперь мы слышали пение совершенно отчётливо и совсем рядом... Мы уже были готовы в ужасе броситься прочь, на корабль. Но Залески нас остановил.

— Стоять, я сказал! Тихо!

— Но герр шиффслейтенант, там призраки! Наверное, это пропавший эрцгерцог, он явился за нами...

— Призраки, как бы не так! Может, прислушаетесь как следует? Вы когда-нибудь слышали, чтобы призрак так отвратительно пел?

Мы затихли и прислушались. Залески не ошибался — аккордеону определённо требовалась настройка, а женский голос из тех, которые в любительском хоре классифицируют как «пограничное контральто», и не за способность брать нижние ноты, а потому что никогда не сумеет достичь высоких. Ведь античные сирены, прежде чем завлекать моряков на смерть к скалам, должны были хотя бы взять уроки пения?

— Кноллер, оставайся здесь, с людьми. Прохазка, разве вы верите в

призраков? Ведь вы, чехи, наверняка все рационалисты.

— Р-разрешите доложить, н-н-нет, герр шиффслейтенант.

— Вот молодец. Тогда следуйте за мной, пойдём разберёмся, в чём там дело.

Мы двинулись через заросли, обогнули утёс и оказались на маленьком плато. Остановившись, Залески крепко сжал мою руку. Вверху, над нашими головами, горел невидимый снизу свет. Там стояла хижина, внутри неё захлёбывалась лаем собака. Музыка замерла. Дверь перед нами распахнулась, и в свете горевшей внутри лампы, мы увидели, как на порог вышел человек с винтовкой.

— Qui va? — он потянулся за керосиновой лампой.

Мы подошли ближе, чтобы засвидетельствовать ему своё почтение.

— Тише, тише ты... — взяв пса за ошейник, хозяин подтащил его назад, к двери. — У нас гости, Милли.

Он опять обернулся к нам. Это был невысокий, крепко сложенный мужчина за пятьдесят, с окладистой бородой, в моряцкой куртке и брюках из флотского сукна.

— Мы имеем честь беседовать с сеньором Джоном Нортон?

Он метнул на нас подозрительный взгляд — явно непривычен к визитёрам.

— Возможно. А кто вы такие?

Залески ответил по-немецки:

— Линиеншиффслейтенант Залески и кадет Прохазка с императорского и королевского парового корвета «Виндишгрец». К вашим услугам.

Незнакомец заговорил по-немецки, но с заметным итальянским акцентом.

— Понятно, значит вы наконец явились за мной. Что ж, могу лишь сказать, что вы не спешили. Но уж лучше поздно, чем никогда. Прошу, входите. Жилище у нас, разумеется, скромное, но для нас оно милее всех дворцов и замков Европы.

Пригнувшись, мы вошли в низкий дверной проём. Лачуга, построенная из брёвен, старых корабельных шпангоутов и брезента, и в самом деле выглядела удручающе. Внутри были свалены разные мелочи — горы ржавых якорных цепей, кучи старых канатов, корабельные скобяные изделия, пара станowych якорей, перевернутая шляпка. Должно быть, кто-то помог ему притащить всё это из бухты.

— Милли? Позволь представить тебе линиеншиффслейтенанта Залески и кадета Прохазку. Герр лейтенант, герр кадет... Могу я

представить вам сеньориту Милли Штюбель?

Милли, полноватая изнурённая женщина средних лет с растрёпанными сухими светлыми волосами и не особенно одухотворёнными тяжёлыми чертами лица, мрачно смотрела на нас. Национальное тирольское платье было мало ей на несколько размеров. Тяжело поднявшись на поражённых варикозом ногах, Милли недоверчиво нас изучала. Очевидно, она тоже не привыкла к посетителям.

— Шани, кто эти люди? Голос выдавал венку низшего сословия, акцент квартала Фаворитен или Оттакринга. Печально известная танцовщица и субретка Милли Штюбель, из-за которой эрцгерцог Иоганн Сальватор отказался от титула — как считалось, она утонула вместе с ним у мыса Горн. Судя по всему, он поступил глупо, отказавшись от титула, а она сглупила, что не утонула.

— Это австрийцы, любовь моя. Спустя все эти годы они отправили за нами корабль, как я всегда тебе и говорил.

Она посмотрела на нас с подозрением.

— Они из полиции? — Она повернулась к нам. — Я не сделала ничего плохого, это все его идея.

— Нет-нет, дорогая. Это морские офицеры, военный корабль ждет нас в бухте.

— Ох, Шани, я боюсь. А вдруг они...

— Тише, любимая, не бойся. Свари кофе для наших гостей.

Все еще что-то бормоча, она повернулась, чтобы поставить почерневший эмалированный кофейник на чугунную печь-тележку из тех, которые используют на полубаках торговых судов и которые обладают особенностью часто гаснуть.

Дымоходом служила железная труба, выходящая наружу сквозь крытую брезентом крышу. Хижина выглядела довольно мрачной норой: продуваемая, темная, из всей мебели только стол из капитанской каюты, парочка стульев, двухъярусная кровать с рванными одеялами и старый потрепанный аккордеон.

Повсюду валялись нотные записи, несколько гравюр в рамках украшали закопченные стены — горные пейзажи и литография «Олень на лесной поляне». Всё указывало на то, что это место — венское домохозяйство столь же явно, как прибитая над дверью мезуза [28] выделяет еврейские дома в польских деревнях. В комнате стояла сальная и затхлая атмосфера горелого жира и мокрой одежды.

— Сеньор Норт, или, скорее, герр Орт? — спросил Залески.

Бывший эрцгерцог улыбнулся.

— Пожалуйста, называйте меня герр Орт, если хотите. Новости, как я понимаю, уже просочились, и в любом случае, это теперь вряд ли имеет значение.

— Герр Орт, мы слышали, как вы играете, пока поднимались по тропинке, а фройляйн Штюбель пела. Это из «Продавца птиц» Целлера?

— О да. Вы знаете эту пьесу?

— Я был на одном из первых представлений, еще кадетом — в Вене в 1891 году, если я правильно помню. Как случилось, что...

— Я понимаю, учитывая, что мы пропали за год до этого. Ладно, герр лейтенант, мы прибыли сюда в 1890-м, как вы уже догадались. Предполагаю, что наш друг Фабрицци рассказывал об этом. Какое-то время во время своих визитов он пытался шантажировать меня, угрожая донести на нас властям. Полагаю, что и сеньор Лопес, охотник за выдрами, побывал в австрийском консульстве в Вальпараисо, как и собирался. Да, мы прибыли сюда... дайте подумать... в августе 1890 года. Наш корабль обогнул мыс Горн после трудного перехода, но сильно пострадал, и пришлось искать убежище в бухте. Там тонущий корабль сел на мель. Все сошли на берег. Фабрицци и старший помощник взяли шлюпку в попытке достичь Пунта-Аренаса. Но пока их не было, команда добралась до бутылок со спиртным и затеяла драку. Это были английские портовые крысы, которых мы набрали в Монтевидео, когда нас покинули Содич и его команда. В итоге пять человек погибли, а остальные на шлюпке последовали за Фабрицци и старшим помощником. Больше мы их не видели. Фабрицци добрался до нас спустя несколько месяцев, чуть не утонул по пути и предложил вернуться в цивилизацию. Но к тому времени мы с Милли передумали и решили остаться здесь.

— Передумали, герр Орт? Могу я спросить, каковы были ваши первоначальные намерения? Я всегда думал, что «Святая Маргарита» направлялась в Вальпараисо.

— Всё так. Мы везли груз только для того, чтобы оплатить дальнейшее плавание в Южные моря, где я надеялся найти подходящий необитаемый остров и обосноваться там. Там я намеревался ждать, пока политическая ситуация в Вене не урегулируется в нашу пользу и герр Иоганн Орт не сможет снова появиться на мировой сцене. Я придумал этот план сразу после того, как в Майерлинге застрелился кронпринц. Но если мы искали временную изоляцию от человечества, то разве могли бы найти место лучше, чем полуостров Брекнок? Вскоре я сделал местных индейцев своими подданными. Используя свои связи, я обеспечил их винтовками, а используя опыт кадрового военного научил индейцев ими пользоваться.

Именно я попытался развивать это место, пригласив отъявленного прохиндея герра Поппера добывать золото. Все эти двенадцать лет маразматические идиоты в Хофбурге были уверены, что я мертв. Но теперь час пробил, и я докажу, что они неправы. Период ожидания окончен. В течение года Вена будет у наших ног.

— Герр Орт, я боюсь, что, возможно, вы неправильно поняли цель нашего визита...

— Глупости! Я прекрасно знаю, зачем вы здесь. Индейцы следили за вашим кораблем у побережья три недели, а мои агенты сообщили мне о вашем прибытии в Пунта-Аренас даже раньше, чем вы бросили якорь. О нет, в этих краях немного происходит без ведома Иоганна Орта, вот что я вам скажу. Вы и ваши люди находились под наблюдением моих сторонников с тех пор, как вы высадились в бухте Голода. Вы бы ни за что не добрались сюда живыми, если бы я не знал, зачем вы прибыли, и не проинструктировал моих верных алкалуфов организовать вам безопасный проход. — Эрцгерцог повернулся к Милли Штюбель: — Ладно, Милли, дорогая, давай покажем им кусочек?

Толстуха самодовольно заулыбалась, а герр Орт тем временем достал из жестяной коробки толстую пачку нот с загнутыми уголками. Он установил эту кипу на пюпитр, продел руки в плечевые ремни аккордеона, захрипевшего, как вол с эмфиземой, улыбнулся, а Милли сделала нам реверанс. Она как раз установила деревянную раму с висящими на ней колокольчиками. Представление вот-вот начнется. Орт повернулся к нам.

— Герр лейтенант, и вы, юноша, сможете рассказывать своим внукам о том, как присутствовали на первом публичном исполнении оперетты, покончившей со всеми опереттами, пьесе музыкального театра, нокаутировавшей Штрауса, Миллэкера, Зуппе и остальных типов в треуголках. Я представляю вам «Тирольскую деву Анд». Начинаю, Милли...

Орт растянул меха и выдал ноту «ля», похожую на печальный гудок автомобиля. Милли Штюбель ответила «ля», скорее граничащей с «соль», и началось...

Полагаю, это длилось почти час. Но казалось, что намного дольше. Там, в угрюмой хибаре на самом краю света, пока в окно стучал мокрый снег, вокруг стонал шторм мыса Горн, а внизу шелестели мокрые буки.

Полагаю, фрегаттенлейтенант Кноллер и его люди не слишком радостно проводили время, ожидая нас внизу, съезжившись под хлопающими парусиновыми плащами и пытаясь поддерживать жизнь в костерке из мокрых буковых веток. Но все равно их судьба казалась нам

гораздо предпочтительнее, пока под стоны аккордеона завывала Милли Штубель, исполняя самое скучное музыкальное произведение из когда-либо написанных.

Я никогда не обладал абсолютным музыкальным слухом, а неумелые музыканты-любители в те годы вечно были тяжелейшим испытанием на борту военных кораблей. Но я никогда не сталкивался с чем-то столь же ужасным, как эта смехотворная смесь скверной мелодии и жалкого либретто. Оперетта повествовала (как мы догадались) о тирольской графине, которую жестокие, но не до конца понятные обстоятельства заставили эмигрировать в Южную Америку и начать в Андах новую жизнь доярки, надеть широкую юбку в сборку и петь йодли, как она делала когда-то дома, но всё это на фоне бурной латиноамериканской музыки, лам, местных принцесс и тому подобного.

И это только первый акт. Во втором венгерский дворянин, также по воле жестоких обстоятельств вынужденный прибыть в Южную Америку и стать гаучо, спасает ее от стаи хищных кондоров, пытавшихся стащить девушку с горного уступа, и немедленно в нее влюбляется. Но после этого, боюсь, мы немного потеряли нить сюжета, пока одна ужасная музыкальная тема наступала на пятки другой такой же, то в стиле Альп или Анд, то венгерской пусты (в зависимости от обстоятельств). История — чушь собачья, настолько ужасная, что даже мастера жанра, такие как Легар или Кальман, с трудом сумели бы что-либо с ней поделать. В руках же герра Орта и его подруги она превратилась в настоящее чистилище, развлечение, сравнимое с послеобеденным отдыхом в кресле косорукого дантиста.

И только прослушав целый час поистине ужасной музыки, можно понять, чем отличается плохая музыка от хорошей. Нудные приземленные мелодии, которым никогда не удастся оторваться от земли, музыкальные темы, что никуда не приводят, а только бесконечно блуждают по кругу, пока не упадут замертво, мерзкие мелкие украшения, прилепленные к тоскливой мелодии в попытке ее оживить, подобно пластиковым завиткам и розочкам, которые начинающий декоратор приклеивает к затрапезной старой мебели, но они лишь подчеркивают её нищенскую неуклюжесть.

В тот вечер в хижине мы, как я понял, слышали только кусочек. Полное трехактное выступление будет длиться около четырех часов, включать в себя тридцать основных исполнителей и сотни второстепенных, а также полноценный оркестр.

То, что получилось бы в итоге, если это вообще поставили на сцене, вряд ли вызвало бы мысль о «Вагнере, прибывающем в Бад-Ишль», хотя и находилось недалеко от цели. А цель произведения, как мы поняли, кроме

того, чтобы сделать герра Орта миллионером и величайшим композитором оперетт, заключалась в том, чтобы фройляйн Штюбель снова вернулась на венскую сцену после двенадцати лет отсутствия.

— Кстати, — поведал он нам, сидящим в полном шоке, — вы знаете, из-за чего начались проблемы в Майерлинге? В 89-м году мы с Рудольфом работали вместе над чем-то типа этой пьесы, и он влюбился в ту девушку, Марию Вечера. Я писал музыку, а он занимался либретто. Опереттой серьезно заинтересовались несколько ведущих венских импресарио. Но, конечно, как только эта кокетка привязалась к нему и прослышала о проекте, то захотела только одного — главную женскую роль, хотя не могла спеть ни одной ноты. В тот вечер в охотничьем домике они поссорились. Она схватила рукопись с его стола и бросила в огонь. Вечера была хорошенькой штучкой, скажу я вам, но избалованной и раздражительной. Рудольф угрожал ей револьвером, она попыталась выхватить у него оружие, прогремел случайный выстрел, который и убил её. Так или иначе, когда дым рассеялся, Рудольф увидел, что она мертва, и предпочел застрелиться, лишь бы не отвечать потом перед отцом.

— Понимаю, герр Орт, всё это очень интересно. Благодарю вас за запоминающееся представление, но кадет Прохазка и я должны вернуться на корабль.

— Рад слышать, что вам понравилось. Неплохо, да? — На мгновение он замолчал. — Ладно, так где мой контракт?

— Хм. Контракт?

— Контракт от герра Карцага из театра «Ан дер Вин». Я слежу за австрийскими газетами, ясно? И в Вене, скажу я вам, не происходит ничего, о чем я не узнал бы здесь, на Огненной Земле. Мои представители показывали герру Карцагу наброски партитуры и либретто. Итак, где же контракт?

Залески бросил обеспокоенный взгляд на стоящую в углу винтовку — наше оружие осталось снаружи.

— Ах да, контракт. Где контракт, Прохазка? Я же приказал взять его с собой.

— Разрешите доложить, на корабле, герр шиффслейтенант.

— Придурок! Теперь нам придётся вернуться на корабль и принести контракт. Герр Орт, фройляйн Штюбель, мы вынуждены вас покинуть. Боюсь, произошло небольшое недоразумение, и этот юный идиот принес не те документы. Мы вернемся на борт и принесем вам завтра нужные бумаги на подпись. Быть может, мы сумеем убедить вас вернуться в Австрию вместе с нами?

— О нет, спасибо. Для того чтобы собрать труппу и провести репетиции оперетты, понадобится не менее полугода, и это не считая декораций. Мы с Милли вернемся на пароходе как раз к началу репетиций. Мы должны быть готовы начать представление к Рождественскому сезону. Но, быть может, вы возьмете вот это, чтобы показать, что я всё-таки жив. — Он засунул руку под свитер и достал золотой медальон на цепочке, снял его и протянул Залески. — Вот, герр лейтенант, примите это от герра Иоганна Орта, на случай, если кто-то усомнится в том, что вы действительно видели меня, или в том, что я на самом деле тот, за кого себя выдаю.

Я взглянул на медальон. Довольно симпатичный жетон в память о первом причастии с витиеватым дизайном. На реверсе выгравировано каллиграфическим шрифтом: «Arciduca Giovanni Salvatore, 12a iuglio 1859». Мы попрощались и ушли, чтобы присоединиться к Кноллеру и его людям, расположившимся среди мокрых буков ниже по склону. Нам будто всё это приснилось.

— Безумная, совершенно съехавшая с катушек парочка, — бормотал себе под нос Залески, пока мы брели вниз по тропинке сквозь бушующий ветер и снег.

Мы увидели моряков, столпившихся вокруг тусклого, мерцающего огонька керосиновой лампы.

— А вы особо не торопились! — заявил Кноллер. — Что там у вас стряслось? По звуку было похоже на кабаре. А мы тут мерзнем. Могли бы и пригласить внутрь. Если и есть где-то в мире место с более ужасной погодой, то я его не встречал. Кто они? Беглые заключенные? Безумцы? Отшельники? Я думал, что здесь живут только индейцы.

— Всего лишь охотники на выдр, старый чилиец и его жена. Он заявляет, что он наполовину швейцарец, потому и играет на аккордеоне. Мы просто не могли вырваться. Надо думать, к ним тут нечасто забредают посетители.

— Совершенно не удивлен. В любом случае, давайте вернемся на корабль, пока мы все схватили пневмонию. Я продрог.

Заблудившись по дороге в лесу, на рассвете следующего дня мы вернулись обратно в бухточку, промокшие и уставшие. Пока мы гребли на корвет, линиеншиффслейтенант Залески сидел необычно тихо, а как только мы добрались, прежде остальных прыгнул на сходни и забрался на палубу, скрывшись внизу в поисках капитана. Их беседа не продлилась недолго, потому что без пятнадцати шесть, как раз, когда я грел окоченевшие руки об оловянную кружку с кофе на батарейной палубе, наверху раздался

воплъ:

— Кадет Прохазка. Старший офицер корабля вызывает вас на палубу.

С такими вызовами не спорят, даже когда ты вымок, устал и продрог до костей. Я поторопился на палубу, где ждал линиеншиффслейтенант Микулич. Он пребывал в плохом настроении.

— Вызывали, герр лейтенант? — отсалютовал я.

— Прохазка, эти черномазые внизу понимают вас, а вы их?

— Разрешите доложить, довольно-таки хорошо, герр лейтенант.

— Отлично. А насколько хорошо они умеют болтать на немецком?

— Разрешите доложить, пока что очень плохо, герр лейтенант.

— Превосходно. Хорошо, немедленно тащите мерзавцев наверх, пусть спускают своё каноэ. Потом ступайте к оружейнику и принесите прочный деревянный ящик. От винтовок вполне подойдет. Еще прихватите парочку кирок и лопат у боцмана. Мы сходим на берег и займемся садоводством.

Иссиня-черные от холода и лишений девять кру вышли на палубу, как было приказано, и отправились занимать места в каноэ. Запрошенные предметы загрузили в лодку, и мы сквозь серые утренние волны отправились к обломкам «Святой Маргариты», оставив собственный корабль на якоре, качаться на волнах. По приказу Микулича мы высадились на галечный пляж около развалившейся хижины и рядка могил около нее.

— Отлично, начнем вот с этой. Прохазка, велите им копать.

Копать пришлось недолго, тела после той пьяной ножевой драки двенадцать лет назад похоронили неглубоко.

Когда мы выкопали первый комплект костей, Микулич произвел измерения.

— Метр восемьдесят два, слишком высокий. Попробуйте еще одну.

В итоге мы выкопали три скелета, прежде чем удовлетворили запрос Микулич касательно роста.

— Метр семьдесят два, этот должен подойти. Ну, чего ждете, собирайте его в ящик.

Собрать удалось не слишком много: жалкий набор костей, пара кожаных моряцких ботинок и ржавый складной нож. Мы также нашли несколько монет, немного аргентинских по десять песо и чуть-чуть английских медных пенни, новейший из которых был датирован 1889 годом. К моему удивлению, Микулич выбросил их в лес. Прежде чем мы сложили в ящик череп, Микулич взял его, смахнул грязь, приложил на место челюсть и критически осмотрел.

— Да, полагаю, при некотором воображении... Давайте, возвращаемся

на борт.

Когда мы отплывали от берега, с края леса слышался крик. Женский голос.

— Герр лейтенант, подождите!

Милли Штюбель хромала по берегу на больных ногах. Мокрые и спутанные волосы облепили голову, всем своим видом она олицетворяла страдание.

— Герр лейтенант, возьмите меня с собой, прошу вас... — она схватила Микулича за руку. — Возьмите меня с собой. Не оставляйте меня умирать здесь, в этом ужасном месте. Я не сделала ничего плохого, клянусь. Это все его идея насчет страховки и корабля и этого всего. Я не увидела и гульдена из тех денег. Пусть меня посадят в тюрьму, если нужно, но только после того, как я еще раз увижу Вену, мамочку и сестренку. Заберите меня с собой, пожаааалуйста.

Ответ Микулича был типично точным и уместным — жесткий удар в лицо, опрокинувший ее ничком в воду. Пока мы отплывали от берега, она истерически рыдала. Последнее, что я видел — как она, заламывая руки в плаче, обращаясь к нам с мольбами, стоя на коленях на мелководье. Я отвернулся и стал смотреть на корабль. Через час мы подняли якорь и покинули берега полуострова Брекнок.

Глава тринадцатая

ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ

Подходила к концу последняя неделя февраля 1903 года. Уже дней десять как мы плыли в полный штиль с обвисшими, как кухонные полотенца, парусами. Корабль медленно покачивался на волнах тихоокеанского течения. Наконец-то самый большой мировой океан по праву удостоился своего имени.

Мы наслаждались попутным ветром от мыса Пилар до Вальдивии, где высадили на берег лейтенанта Родригеса-Крайтона после месяца пребывания на борту. В течение всего этого времени наш счётчик постоянно «тикал», накопив значительную сумму для выплаты в казну Чили в качестве сбора за услуги лоцмана.

Не то чтобы нам было слишком тяжело на пути к Вальпараисо, где пришлось провести два дня, чтобы выполнить срочный текущий ремонт и хоть немного исправить повреждения, полученные в водах мыса Горн. Но когда пятого февраля мы покинули Вальпараисо и направились вверх по побережью в расположенный в двух тысячах миль перуанский порт Кальяо, то в конце лета в южном полушарии наступил такой штиль, что «Виндишгрец» большую часть времени вместо ветра несло на север Перуанское течение.

Невыносимо тоскливо день за днем созерцать одну и ту же зеркальную гладь синего как сапфир моря с серо-коричневой полоской пустыни Атакама вдали, за которой возвышается розово-лиловый оплот Анд с покрытыми снегом вершинами.

Бесконечная протяженность чилийского пустынного побережья — одна из величайших опасностей, что подстерегает корабли при длительном плавании. Если в штиль слишком приблизиться к берегу, то прибрежная волна может вдребезги разбить корабль. Из-за отсутствия ветра уйти обратно в море он уже не сможет. Из-за крутого спуска морского дна невозможно даже бросить якорь.

Чтобы избежать этой угрозы, приходилось держаться по меньшей мере в четырёх милях от берега. Да, у нас имелся паровой двигатель, но требовался по меньшей мере час, чтобы поднять давление пара в котлах, да

и в любом случае, после нашего «тура» по бухтам и протокам Магелланова пролива, угля осталась всего пара тонн.

Пополнить его запасы в Пунта-Аренасе мы не смогли, потому что исчерпали отпущенные на зарубежные закупки угля денежные средства на 1902 год, а казна не одобрила дополнительные расходы.

Но ничего страшного, сообщили нам телеграммой, еще остались лимиты 1902 года на австрийский уголь, так что нам нужно подождать зафрахтованный пароход из Европы, груженный пятьюстами тоннами богемского угля, который обошёлся в итоге четыре или пять раз дороже, чем если бы мы купили его в Пунта-Аренасе.

По условиям фрахта уголь должен был поступить в чилийский порт Консепсьон и дожидаться нас там. Но мы его так там и не увидели, что нас не особо удивило, поскольку нет чилийского порта Консепсьон. Есть одноименный чилийский город, удаленный от моря на несколько километров и обслуживаемый портом Талькауано. Вероятно, ошибке поспособствовало географическое положение: слишком маленькое расстояние между этими точками на мелкомасштабных картах Южной Америки, имеющих в распоряжении Министерства финансов. Мы прибыли в Талькауано в конце января, но там никто не знал ни о каких австрийских пароходах и богемском угле.

Эта тайна так и осталась неразгаданной до 1926 года. Я тогда служил в парагвайском военно-морском флоте (по сути, командовал им) и однажды наткнулся на груды угля, лежащего на причале в местечке под названием Консепсьон на реке Парагвай, что находится в трех тысячах километрах от моря, в центре Гран-Чако [\[29\]](#). Мне рассказали, что этот уголь много лет назад привезли сюда лихтерами из Буэнос-Айреса, куда его завезли на пароходе. Поскольку город круглый год наслаждался тропическим климатом, никто и придумать не мог, что делать с углем. Даже местные жители, которые обычно крадут всё, что можно унести.

Из этого я извлек хоть немного пользы, за несколько месяцев скормив его котлам речных канонерских лодок. При этом я испытывал некоторое удовлетворение, узнав, что даже из могилы австрийская монархия протянула мне костлявую руку помощи.

Другая величайшая опасность, подстерегающая корабли при длительном плавании вдоль западного побережья Южной Америки, — гораздо менее драматичная, чем в штиль налететь на берег. Можно просто пропустить порт назначения и потом не суметь туда вернуться из-за встречного течения и штиля. Ошибиться проще простого: все порты на этом побережье — Икике, Токопила, Кальдера, Антофагаста — даже в

дневное время похожи один на другой, если смотреть на них с моря. Побережье освещено столь слабо, что легко их перепутать друг с другом. Именно это весьма драматично нам продемонстрировал в феврале странный случай, произошедший с «Королевой Клотильдой».

«Королева Клотильда» догнала и обогнала нас в утренний штиль сразу после того, как мы покинули Вальпараисо. «Королева Клотильда» — четырехмачтовый быстроходный цельнометаллический парусник водоизмещением две тысячи триста сорок тонн, перевозящий нитраты клипер, принадлежащий обществу «А.Д. Борде» из Бордо. Едва уловимый ветерок медленно нёс его мимо нас.

Но он все равно нас перегнал: распущенная груда парусов давала ему скорость примерно один узел, в то время как мы почти не двигались. До чего же величественны эти огромные парусники французской постройки с прямым вооружением. По моему мнению, это самые красивые парусники — изящный бледно-серый корпус и чёрный верхний пояс обшивки с рядом фальшивых оружейных портов.

Тем утром «Королева Клотильда» шла в балласте после разгрузки уэльского угля в Вальпараисо. Для военного корабля унижительно, что его обгоняет «торговец». Но нас утешало хотя бы величественное зрелище, когда «Клотильда» скользила мимо на расстоянии оклика. На фоне её элегантных мачт, громады молочно-белых парусов — все идеально выровнено — наша старомодная оснастка и потрепанный такелаж выглядели довольно затрапезно. Однако нас радовала возможность пообщаться с другим кораблем и обменяться новостями после нескольких месяцев скитаний вдали от Европы.

— Доброе утро, «Клотильда»! Позвольте заметить, корабль выглядит просто великолепно.

— Благодарю на добром слове. Не желаете ли французских журнальчиков? Мы шли ходко, так что им всего пара недель. Мы также можем передать какие-нибудь ваши сообщения.

— Вы очень добры. И куда направляетесь?

— В Икике, за нитратами.

— Отлично. Не будете ли вы так любезны по прибытии связаться с австрийским консулом и попросить его отправить телеграмму в Кальяо? Пока мы огибали Горн, нам пришлось весьма несладко, так что нужно зарезервировать сухой док для ремонта.

— Конечно, передадим, с удовольствием.

Итак, на воду спустили шлюпку и передали письмо капитану «Королевы Клотильды», а обратно вернулись со стопкой газет, на которые

мы набросились, как изголодавшиеся звери. Даже те, кто ни слова не знал по-французски. К полудню мачты французского судна скрылись за северным горизонтом.

До конца февраля мы и не вспоминали об этой встрече, пока не приблизились к широте Икике.

— Парус позади, прямо за кормой, — послышался окрик впередсмотрящего.

Когда из-за горизонта показался корпус корабля, мы увидели, что это клипер из Бордо. Торпедомайстер Кайндель прервал занятия на квартердеке и разразился привычными разглагольствованиями о кораблях компании «А.Д. Борде»: мол, все моряки за глаза называют эту компанию «Иезуитский военно-морской флот», и любой мало-мальски осведомленный человек прекрасно знает, что она — фактически ширма для хорошо известного религиозного ордена.

Когда Гаусс и я спросили его, какие интересы могут преследовать иезуиты в оптовой торговле нитратами, Кайндель окинул нас взглядом знатока и отметил, что это лишь доказывает, насколько они хитры. Кайндель был родом из Вены, и как все жители Центральной Европы являлся жадным приверженцем самых фантастических и невероятных конспирологических теорий, он принадлежал к той части общества, которая никогда не принимала простое и очевидное объяснение.

Легкий ветерок приближал нашего преследователя, потом он обогнал нас. И мы с удивлением обнаружили, что это «Королева Клотильда», ее капитан был явно не в настроении.

— Господи Иисусе! Мы не смогли отправить ваше сообщение из-за сумасшедшего течения, которое ночью пронесло нас мимо Икике почти до границы с Перу. Вуаля! Пришлось захватить пассаты и три тысячи миль лавировать на юг, чтобы снова войти в зону западных ветров около острова Пасхи, а потом плыть обратно вдоль побережья. Тьфу! Пять тысяч миль, чтобы вернуться туда, где мы уже были раньше! Вот был бы у нас паровой двигатель!

Несмотря на подобные небольшие неприятности (мы едва не потерпели крушение от прибрежной волны в Тальтале), жизнь на борту «Виндишгреца» в те недели текла чрезвычайно монотонно. В Вальпараисо из-за постоянных волн на рейде мы так и не смогли накренить корвет и, соответственно, получилось устранить только течи рядом с ватерлинией.

Теперь на помпах трудились непрерывно и днём и ночью. Восемь человек непрерывно крутили огромные чугунные колеса, чтобы не допустить повышения уровня воды в льяле. В дополнение к этому и без

того дрянная еда стала еще хуже. Мы покупали свежее продовольствие везде, где только могли, но основной рацион на борту составляли припасы, загруженные в Поле восемь месяцев назад.

По мере того, как мы медленно ползли от полярных широт к тропикам, с каждым днем становилось всё очевиднее, что прошлым летом на императорском и королевском военно-морском продовольственном складе произошло нечто скверное. Может, не так приготовили раствор для засолки, а может, мясо протухло ещё до того, как его положили в бочки.

Во всяком случае, восемнадцатого февраля, когда я сопровождал вахтенного офицера, инспектировавшего бочки с продовольствием в трюме, мы обнаружили, что несколько бочек потрескивают из-за давления газов изнутри. Этот треск походил на мурлыканье спящего кота, которому снятся мыши. Послали за плотником, ему приказали пробурить в бочках отверстия.

Как только плотник пробурил первое, через пять секунд мы уже пулей вылетели на палубу, а за нами вся отдыхающая вахта, гонимая отвратительным зловонием из трюма. Вонь стояла такая, будто все склепы, все помойные ямы и кожевни мира одновременно распахнули двери.

Единственное сравнение (хотя бы отдаленно похожее), что мне приходит на ум — поле битвы на плато Карсо летом 1916 года. Казалось, сам воздух резонировал от этой вонь какой-то почти осязаемой музыкальной нотой, прямо как телеграфные провода на ветру. Через пару минут вся команда, задыхаясь, нашла прибежище на верхней палубе.

В конце концов, единственным способом заставить кого-нибудь спуститься в трюм и достать оттуда зловонную бочку оказалось подкупить Юнион Джека и остальных кру монетой в двадцать гульденов. Они спустились в трюм, обмотав лица пропитанными камфарой носовыми платками, и накинули петлю на бочку, после чего мы подняли ее на палубу и выкинули за борт.

Потом мы приступили к извлечению из трюма остальных подозрительных бочек с солониной и тоже отправили их за борт. Когда бочки оказались на безопасном расстоянии за кормой, мы затопили их из винтовок. Забавно было наблюдать за плавниками наших спутниц-акул, метнувшимися к взрывающимся бочкам в надежде полакомиться, а затем созерцать, как они в ужасе развернулись и рванули обратно, едва почуствовав зловонный запах содержимого.

В течение ближайших дней огромное количество съестных припасов выкинули за борт, включая бочки с квашеной капустой, которая в теории служила единственной преградой между нами и вспышкой цинги. Но

сейчас капуста разложилась до такой степени, что уж лучше цинга, чем эта дрянь.

Ежедневный рацион стал достаточно однообразным и состоял в основном из сухарей, бобов, риса, оливкового масла и мясных консервов, поскольку вяленая рыба и тому подобные продукты заплесневели и отправились за борт ещё до отплытия из Западной Африки.

Напряжение в экипаже росло, все постоянно ворчали, особенно линиеншифслейтенант Микулич, от которого нужно было теперь держаться подальше. Обязанности старшего офицера освободили Микулича от несения вахт (а нас — от его общества), но он по-прежнему при малейшей возможности вмешивался кулаками в процесс ежедневного управления кораблем.

Единственная компенсация для обитателей парусника, попавшего в штиль у чилийского побережья — возможность пополнить съестные припасы рыбалкой. Холодное перуанское течение буквально кишело рыбой, и иногда достаточно было лишь забросить сеть в воду, чтобы обеспечить себя ужином из сардин или анчоусов.

Мы, кадеты, немало рыбачили по поручению герра Ленарта, помогая ему в научных исследованиях жизни фауны восточной части Тихого океана. Это хоть как-то скрадывало монотонность серых будней, особенно когда утром около Токопильи мы закинули удочки в надежде поймать гигантского тунца для таксидермиста.

Как только мы насадили наживку на крючок и закинули удочку за борт, последовал сильный рывок. Но когда мы вчетвером или впятером подтащили улов к бизань-русленям, то с разочарованием увидели, что поймали не тунца, а огромного и очень свирепого кальмара (туша размером с гамак и трех— или четырёхметровые щупальца). Одна из тех свирепых каракатиц, что скользят в этих водах и наводят страх на местных рыбаков.

Тварь извивалась и боролась минут пять, яростно меняя цвет, будто семафор, щупальцами обвивая ванты, как побеги зелёного горошка, и брызгая на нас коричнево-черными чернилами. В конце концов ей удалось перекусить клювом трос и ускользнуть. Герр Ленарт остался крайне недоволен, что упустил столь ценный образец, но все остальные, кому пришлось тащить каракатицу на борт, вовсе не сожалели о случившемся.

С началом марта штили стали настолько постоянными, что мы предприняли отчаянные меры, чтобы приблизить «Виндишгрец» к пункту назначения. Спустили на воду шлюпки и стали буксировать корабль к северу, в надежде поймать юго-восточные пассаты, которые весной

доходят аж до пятнадцати градусов к югу от экватора.

Это безрадостное занятие все ненавидели. Десятиметровый баркас с сорока гребцами (по двое на каждое весло) — сам по себе достаточно неуклюжая и своенравная старая бочка. Но тащить его по сияющей глади летнего моря, да ещё в придачу с двухтысячетонным кораблём за кормой, это такой надрывный и утомительный труд, что даже начальник тюрьмы в Европе не осмелился бы назначить его в качестве наказания. Это как быть галерным рабом, но даже без компенсации в виде быстрого перемещения по волнам, чтобы восстановить ноющие мышцы и залечить мозоли на руках.

Мы надрывались на веслах под полуденным солнцем, когда линиеншифслейтенант Микулич с форкастля в рупор обругал нас и пригрозил разжаловать уорент-офицеров в матросы, если те не выжмут из нас больше. Буксировочный трос то падал в воду, то натягивался, а корабль тащился вперёд по сияющему жидкому серебру моря по метру на гребок. Спустя два дня подобных упражнений старший матрос Байча (один из пожилых старослужащих) во время гребли рухнул замертво от остановки сердца.

Ещё несколько матросов пострадали от солнечного удара. Один из них — юный пухлый и светлокожий чешский паренёк по фамилии Хозка, к которому Микулич испытывал особую неприязнь. На нём гребля сказалась крайне плохо — Хозка только за одно утро уже трижды терял сознание, пока Микулич окончательно не вышел из себя и не огрел его по обнаженной спине плетью из линька с узлами, с которой в последнее время не расставался, но пока что не осмеливался ни на ком применить.

Но для 1903 года это было уже слишком: Хозку оставили без сознания лежать на форкастле, пока хирург смазывал ему йодом рассеченную кожу на спине. В это время боцман и его помощники тактично увели вниз грязно ругающегося Микулича, у которого буквально текла пена изо рта. Плеть тайком выкинули за борт, и всё как-то притихло — на время.

Но среди матросов распространилось общее мнение, что, если бы у капитана было хоть какое-то подобие хребта, он бы никогда не позволил «дер Микуле» расхаживать с подобной штуковиной на виду.

Освобождение от этих мук пришло на следующий день с совершенно неожиданной стороны. На рассвете поднялся слабый ветер с зюйда, и корвет проделал пару миль на север, достигнув широты Арики, где побережье изгибается в направлении перуанской границы.

Теперь мы находились всего в шестистах милях от Кальяо, меньше чем в двух дня пути при попутном ветре. Но тем утром дела обстояли так,

что путешествие могло растянуться и до конца года, поскольку ветер снова пропал и оставил нас без движения.

Вскоре стало ясно, что снова спустят шлюпки и начнется очередной день тяжелого труда: четыре часа на веслах, четыре на помпах и затем снова четыре часа на веслах. Примерно в половину одиннадцатого раздался крик обессилевшего от жары и усталости впередсмотрящего с марсовой площадки.

— Пароход, три румба на левом крамболе!

И правда, пароход. Мы собрались у поручня посмотреть — мы не видели других кораблей уже три дня. Но как только загадочный пароход взял курс на нас, я увидел в подзорную трубу, что это не торговый пароход, а некрупный военный корабль — большая канонерка или маленький крейсер, покрашенный в белый цвет, с желтой трубой и блестящим золоченым орнаментом на носу.

Хорошая новость. Капитан торгового судна, идущий по расписанию, не склонен терять время, общаясь с иностранными военными кораблями, но другой военный корабль обязательно остановится обменяться новостями и газетами. Все бросились к рундукам и начали писать открытки своим семьям.

В двадцать минут загадочный корабль сблизился с нами и шел под парами параллельным курсом на расстоянии метров восьмьсот. Мы видели звезды и полосы, трепетавшие на гафеле, пока он проходил мимо. Почему он не сближается?

Может, они думают, что у нас на борту ветрянка? И почему они изготовились к бою? О боже, они наводят орудия на нас! Затем внезапно ярко полыхнули два оранжевых языка пламени, и корабль на несколько секунд скрылся в клубах белого дыма. Два снаряда и звук выстрелов настигли нас одновременно.

Первый снаряд с ярко-красной вспышкой и оглушительным взрывом попал в фок-мачту чуть ниже салинга. Команда в панике брызнула кто куда, когда горячие осколки осыпали палубы, а брам-стенга и паруса, опутанные обрывками такелажа, рухнули вниз. Второй снаряд пробил бизань-парус и взорвался в море далеко позади нас.

Начался крошечный ад, матросы попытались броситься к своим местам согласно боевому расписанию, а горны заиграли «Все по местам». Капитан стоял на мостике, не веря своим глазам.

И лишь Залески, только что стоявший рядом со мной на корме, наблюдая приближение американского корабля, схватил сушившуюся на поручнях скатерть и взлетел по вантам бизани. Не знаю, каков мировой

рекорд на залезание с палубы полуюта трехмачтовика на бизань-мачту, но думаю, что если такой есть, то он до сих пор принадлежит Залески.

Фештетич очнулся от оцепенения и закричал, чтобы тот спускался. Но уже через десять секунд Залески цеплялся одной рукой за стеньгу, а другой отчаянно размахивал скатертью. Тем временем палуба заполнялась матросами с винтовками, взятыми из стоек стрелкового оружия.

Залески приказал им встать наизготовку, но не стрелять в ответ. Смущенные и напуганные неожиданным поворотом событий, все застыли и смотрели, сначала как он спускается вниз, затем на Фештетича на мостике, кричащего что-то о батарее левого борта, затем на американскую канонерку, теперь сблизившуюся до трехсот метров. Пушки ее правого борта нацелились на нас и были готовы открыть огонь.

Воцарилась мертвая тишина. Затем над водой разнесся голос, усиленный рупором.

— Вы сдаетесь?

Фештетич схватил собственный рупор, явно в готовности прокричать в ответ какую-то безрассудно-смелую глупость. Но прежде чем он это сделал, Залески вспрыгнул на ступеньки мостика и вырвал у него рупор, оттеснив капитана в сторонку.

— Что означает это нападение? Мы австрийский корвет «Виндишгрец». Разве между Австрией и США идет война? Если так, то мы ничего об этом не слышали.

Через несколько мгновений тишины американская посудина внезапно дала задний ход и остановилась. Наконец, над водой снова разнёсся голос. Нотка смущения в нём чувствовалась даже на расстоянии.

— Кто-кто?

— Австро-венгерский паровой корвет «Виндишгрец» на пути из Вальпараисо в Кальяо. Думаю, нам нужно всё это обсудить. Можем ли мы спустить шлюпку и подойти к вам?

Похоже, на мостике американца начался спор. Наконец, прозвучал ответ:

— Окей, пришлите кого-нибудь. Но не вздумайте шутить. Вы у нас на прицеле, и мы выпустим пару снарядов ниже ватерлинии, если начнете валять дурака.

Пока происходил этот разговор, Фештетич пытался вырвать рупор из рук Залески.

— Герр шиффслейтенант, я настаиваю, чтобы вы отдали мне рупор. Мы должны ответить этим людям как следует... Это возмутительно... Чистое пиратство... Честь монархии не допускает оставлять такое

оскорбление неотомщенным...

— Герр капитан, с вашего позволения, подождите, пожалуйста. Нужно с ними поговорить.

— Но это грубейшее нарушение международного права — стрелять без малейшего повода! Мы должны ответить огнем. Горнисты, трубите «Готовьсь»!

Залески ухватил его за лацканы кителя.

— Со всем уважением, герр капитан, заткнитесь. Вы видите наведенные в нашу сторону пушки? Это современные скорострельные орудия с разрывными снарядами. Если мы хотя бы чихнем на американцев, они за минуту разнесут этот старый ящик в щепки.

— Залески, вы взбесились? Это мятеж!

— Прохазка, пошли со мной. Ребята, спустите левый катер, мы плывем к ним на переговоры.

— Герр линиеншифслейтенант, вы арестованы!

— Со всем уважением, герр капитан, помолчите, многие из нас хотят пожить еще немного.

Мы под белым флагом погребли к канонерке «Таппаханнок», где нас встретили её капитан, старший офицер и вооруженные матросы. Капитан оказался коренастым коротышкой с бочкообразной грудью, натянутой на глаза фуражкой и нависшими над высоким воротником кителя складками шеи. Американцы небрежно нам отсалютовали и подозрительно вперились в Залески, который не сильно соответствовал общепринятым представлениям об австрийцах.

— Рад знакомству, — Залески отсалютовал в ответ и протянул руку для рукопожатия. — Флориан Залески, старший лейтенант императорского и королевского австро-венгерского флота, в настоящее время второй офицер на паровом корвете «Виндишгрец». Капитан отправил меня на переговоры. С кем имею честь...?

— Томас Эйч Далгрин, командер ВМС США. Это мой старший офицер лейтенант Ковальски. Прошу отдать мне вашу саблю.

Залески улыбнулся.

— Мою саблю? Ох, я забыл взять её с собой. Может быть, вы примете вместо неё вот это? — он порылся в кармане мундира и извлек перочинный нож с перламутровой рукояткой.

Лейтенант Ковальски улыбнулся, но я заметил, что Далгрин почувствовал — над ним смеются. Я уже догадался, что он не слишком сообразителен и очень высокого о себе мнения. Капитан сердито фыркнул.

— Очень смешно. Лааадно, лейтнант, думаю, вам лучше всё

быстренько мне объяснить.

Залески обезоруживающе улыбнулся.

— Со всем уважением, капитан, объяснить что? Это вы стреляли по нам, а не мы.

— Смотри сюда, лейтенант Забиски или как-там-вас. Вы перуанский фрегат «Арекипа» или нет?

— О боже, нет, почему вы так решили?

Складки шеи Далгрин вылезли из воротника кителя еще больше.

— Понятно, но какого дьявола вы подняли чертов перуанский флаг?

— Простите, я не совсем вас понимаю, мы идем под австрийским военно-морским флагом.

Американец взглянул на наш корабль. Фок-мачта представляла собой жалкую мешанину рангоута и такелажа, а на бизань-парусе посередке красовалась большая прореха – там, где его насквозь прошел снаряд, но красно-бело-красный флаг все еще безвольно свисал с гафеля на бизань-мачте.

Далгрин приблизил свое бычье лицо к Залески с видом туриста, который знает, что его дурит базарный торговец, но изо всех сил старается сдержать гнев.

— Чертов-перуанский-флаг-красный-и-белый-с-чертовым-гербом-посередине! Понятно?

— Да, так же, как и наш, но разница, если позволите объяснить, в том, что полосы у перуанского флага вертикальные, а у нас — горизонтальные. Да и герб отличается.

В итоге вопрос решился путем изучения книги флагов международного свода сигналов, принесенной из корабельной канцелярии. Далгрин некоторое время смотрел на оба флага, как баран на новые ворота.

Потом ещё немного поубеждал нас, что мы всё же «Арекипа» — выглядим-то мы как-то странно, но в конце концов уковылял прочь, проворчав, что он боевой капитан и у него нет времени для этой дипломатической скукотени. Вести переговоры остался лейтенант Ковальски.

Как только командер Далгрин ушел, Залески внезапно сменил гнев на милость и довольно дружелюбно отозвался обо всём произошедшем, как будто пальба без предупреждения и отстреленные полмачты — это полная ерунда.

— Ошибка опознавания, мой дорогой лейтенант, ошибка опознавания. Прекрасно понимаю вас. Это могло случиться с каждым. Но, пожалуйста, объясните, почему вы в нас стреляли?

— В прошлом месяце мы вышли из Сан-Диего и разыскиваем «Арекипу». В Перу опять случилась революция, и команда в январе взбунтовалась. Ребята на борту не получали жалования уже год, так что стали пиратами, останавливают все корабли подряд и грабят их. Они остановили много кораблей янки, и Вашингтон отправил нас и «Мемфис» сюда на их поиски. Вы выглядели точно, как они на рисунке в книге распознавания, но мы все равно извиняемся, что стреляли в вас.

— Забудьте об этом. Но Ковальски — это ведь польская фамилия или, может быть, чешская?

Лейтенант широко улыбнулся.

— Как вы догадались? Мой отец приехал из Польши, из места под названием Сос-но-вии-тц или как-то так.

— Догадываюсь, потому что я тоже поляк.

Ковальски выглядел озадаченным.

— Но я думал, что вы австриец.

— Иногда да, иногда нет. Но, мой дорогой лейтенант, мы, поляки, должны серьезно поговорить. В то время как я всецело понимаю вас и вашего капитана и полностью на вашей стороне по поводу прискорбной ошибки опознавания, которая только что имела место, боюсь, моё правительство может не разделять мою доброжелательность. Вообще-то я опасаюсь, что это может спровоцировать весьма серьезный дипломатический конфликт. Наш корабль серьезно поврежден, на борту есть раненые. Мы не можем отряхнуться и пойти дальше по своим делам, как два велосипедиста, столкнувшиеся на перекрестке.

На белокурое и румяное лицо Ковальски набежали облака. Очевидно, он был интеллектуально одареннее своего капитана, и, несомненно, вообразил ряд далеких от приятного картин — официальные выговоры, запрет на продвижение по службе, возможно, даже военный трибунал. Ковальски позвал командера Далгрину.

Далгрин кипел и плевался, но в итоге Залески убедил его, что только из-за мимолетного сходства военно-морского флага Австро-Венгрии с флагом Перу (да и то, только для умственно отсталых), с Австро-Венгерской монархией нельзя обращаться столь же бесцеремонно, как с обанкротившейся и погрязшей в анархии латиноамериканской республикой.

К тому времени как Залески закончил, даже этот вспыльчивый и недалекий человек стал явно менее уверен в себе, чем в начале разговора. До него дошло, что капитаны, вовлекшие свои правительства в обмен дипломатическими нотами, вряд ли получают повышение.

Когда Залески счёл, что американец точно всё понял, он внезапно лучезарно улыбнулся, что разительно отличалось от его обычного угрюмого выражения и того, кто хорошо его знал, весьма настораживало.

— Но мы можем об этом не беспокоиться.

— Как так?

— Капитан, мы оба моряки, а не дипломаты. И как моряки мы знаем, что жизнь на борту корабля требует, как вы там говорите, хорошего баланса, давать и получать. Я совершенно уверен, что, используя немного здравого смысла, этот прискорбный эпизод можно тихонько забыть. Позвольте мне объяснить...

Итогом объяснения стало то, что час спустя оба корабля стояли борт о борт.

Ремонтная команда в составе примерно сотни моряков с «Тапаханнока» помогала нашим матросам очистить палубу от обломков фор-стенги, пока остальной экипаж канонерки (а в их числе капитан и старший офицер) составили команду угольщиков и работали как маньяки, перетаскивая триста тонн угля из их бункеров в наши. Залески наблюдал за этим с кормы, чтобы угольная пыль не попала на его белоснежную форму.

На его лице разлилось благостное выражение, которое бывает у кота, только что удачно утащившего большую колбаску из холодильника и удачно свалившего вину на собаку. Надо сказать, что американцы работали ловко и даже помыли палубу после себя швабрами.

Чтобы показать, что австрийцы — люди чести, перед тем как они удалились, мы пригласили чумазого и потного командера Далгринна в штурманскую, чтобы он увидел сделанную в журнале запись: «Шестое марта, 10:23, 21°13' ю.ш. 76°04' з.д. повстречали канонерку «Тапаханнок» ВМФ США. Обменялись газетами и сверили хронометр. Нас запросили о местонахождении перуанского фрегата «Арекипа», в отношении которого мы сведениями не располагали».

После случившегося мы считали, что крайне великодушно обошлись с американцами, просто освободив их от всех запасов угля в обмен на умолчание в нашем журнале о некоем происшествии. Кроме того, «Тапаханнок» располагал мачтами и парусами, хотя и рудиментарными, и несомненно доберется до порта. В теории.

Когда на закате мы потеряли «Тапаханнок» из виду, я и линиеншифслейтенант Залески находились на топе грот-мачты с подозрительной трубой и наблюдали, как канонерку шлюпками буксировали по безмятежному вечернему морю, в то время как мы снова мчались под парами, несясь к Калье на бодрых двенадцати узлах.

Но это дало лишь временную отсрочку проблем, поскольку, как только мы встали в Кальяо в док, то немедленно обнаружили, что этот визит окажется отнюдь не приятным времяпровождением.

Когда мы впервые бросили якорь в порту Кальяо, всё выглядело так, что наше пребывание превратится в приятный и довольно продолжительный отдых в иностранном экзотическом порту, где есть на что посмотреть и чем заняться. Как только мы встали на якорь, капитан и старший офицер сошли на берег, чтобы связаться с местными доками и получить предварительную оценку стоимости ремонта фок-мачты и корпуса ниже ватерлинии.

Ни одна из этих задач нас не касалась: ремонт искривленной и поврежденной снарядом мачты означал постановку корвета в док и подъем мачты мощным краном, в то время как заделка пробоин в корпусе потребует как минимум недели в сухом доке.

И та и другая работа требовала профессиональных кораблестроителей, так что нет никаких причин, почему бы экипажу не потратить большую часть из этих трех недель в увольнении на берегу, наслаждаясь такими диковинами перуанского побережья, как танцевальные залы фанданго, писка и агуардиенте по двадцать центов за бутылку и безграничные возможности для потасовок и разврата в приморской части города.

Сильнее всего заботила наших офицеров необходимость сохранить достаточно людей в команде до отплытия. В портах западного побережья в последние деньки эпохи паруса процветала вербовка обманом.

Хозяева прибрежных пансионов будут уговаривать команду дезертировать, обещая бесплатное проживание и дешевое пойло, затем дождутся, пока их нетрезвые жертвы окончательно не потеряют связь с реальностью, а затем продадут их за хорошее вознаграждение шкиперу какого-нибудь заграничного корабля.

Теоретически существовали определенные ограничения в подобной вербовке: местные власти должны были помогать корабельной полиции ловить дезертиров.

Но посмотрев на местные власти Кальяо, мы решили, что с этой стороны особо помощи лучше не ждать: следовало опасаться не только торговых судов, но и местного военно-морского флота.

В те дни и в чилийском, и в перуанском флоте служило много иностранцев — в основном англичан и скандинавов, но также немало немцев и далматинцев. Платили хорошо (особенно поначалу), так что не стоит и сомневаться, что многие в портовых кабачках попытаются убедить наших матросов сменить надпись на ленточках.

Что касается кадетов, то мысли о дезертирстве нас не посещали: мы же не кое-как оплачиваемые и ленивые призывники, а зародыши офицеров благородного дома Австрии, так что на нас возложили обычную карусель официальных приемов и культурных визитов.

Как бы то ни было, Кальяо являлся морскими воротами Лимы, а Лима — столица Перу, по сути, первая столица, что мы посетили за это плавание. Мы побывали в Лиме, с готовностью протопав вокруг монументов. Мы осмотрели все достопримечательности, например, кишки конкистадора Писарро, выставленные в стеклянном сосуде в местном соборе.

Мы посещали приемы, устраиваемые местными германскими и австрийскими сообществами, а затем на поезде отправились в Анды, чтобы пару дней развлечься в поместье герра Шнабеля — австрийского еврея, который неплохо преуспел в выращивании хинного дерева и одевал своих слуг-индейцев в серо-зеленые штирийские костюмы, дополненные баварскими кожаными штанами и подтяжками с вышитыми эдельвейсами.

Кроме того, произошло небольшое землетрясение и революция, которую мы даже не замечали до тех пор, пока она не завершилась, и мы не прочитали о случившемся в газетах.

После пятидневного отсутствия мы вернулись на корабль и обнаружили, что он пребывает в состоянии перевернутого с ног на голову муравейника.

Судоремонтные мастерские предоставили капитану предварительные расчеты стоимости ремонта, которые тот передал по телеграфу в Вену для одобрения, а Министерство финансов отказалось их одобрить на том основании, что бюджет военно-морского флота на 1903 год сильно урезали, и теперь венгры блокируют все дополнительные затраты в надежде выжать из Вены поблажки в новых внутренних таможенных ставках.

Фештетич еще раз телеграфировал в Вену, что «Виндишгрец» лежит в Кальяо в полуразобранном состоянии, и уж точно не может выйти в море и обогнуть полмира без капитального ремонта. Так следует ли нам бросить эту посудину и вернуться домой на пароходе, или казна всё же изрыгнет нам немного денег?

Полученный ответ (когда его наконец получили) оказался одним из самых удручающих, который только можно получить из правительственного учреждения старушки-Австрии: «Информация требует тщательного рассмотрения».

Что есть, то есть: все мы слышали о гражданском служащем, который

попросил о недельном отпуске, поскольку его жена вот-вот должна была родить. Его обращение получило столь тщательное рассмотрение, что отпуск был дарован, когда ребеночку уже стукнуло сорок два года. Так что если мы хотим еще раз увидеть Полу до достижения пенсионного возраста, остается только одно: произвести ремонт самостоятельно.

Извлечь, починить и установить фок-мачту это ладно: теоретически мы можем это сделать собственными силами, но вот сухой док — действительно проблема. Как мы воспользуемся сухим доком, если Вена за него не заплатит?

За границей мы располагали только золотыми монетами из сейфа казначея и не могли воспользоваться ими, разве что оставив экипаж без жалования до конца плавания, что абсолютно незаконно. В конце концов, именно линиеншиффслейтенант Залески разрешил эту проблему после консультации с герром Шнабелем в его поместье.

Одна половина экипажа останется в Калье, чтобы под надзором линиеншиффслейтенантов Микулича и Свободы заняться мачтой, а вторая под командованием Залески пойдет в двухнедельный круиз вверх по перуанскому побережью на старой раздолбанной бригантине «Уаско», арендованной для нас герром Шнабелем. Залески уверил нашего недоверчивого капитана, что когда он вернется, корвет сможет отправиться в док, нужно только подождать.

Я оказался в той половине, что осталась трудиться над фок-мачтой, которую сильно погнуло примерно в двух метрах от палубы, когда у нас обстенило паруса и мы чуть не врезались в айсберг, а потом еще сильнее повредило чуть ниже салинга снарядом с американской канонерки.

Нижняя часть мачты представляла собой огромную, слегка конусовидную железную трубу тридцати пяти метров высотой, приблизительно полутора метров в диаметре в самой широкой ее части и весом около двадцати тонн. Удалить ее для ремонта, а затем поставить на место без помощи большого докового крана представляло собой задачу не из простых.

Могу отметить, что никто из нас не мог судить о линиеншиффслейтенанте Микуличе как о приличном человеке, но всем пришлось признать его инженерные способности за то, как он разрешил эту проблему в последующие десять дней.

На «Виндишгреце» в изобилии имелась только мускульная сила: все сто двадцать человек привлекли к работе. Сначала мы выдернули остатки фор-стенги, затем спустили вниз рангоут и убрали стоячий такелаж, пока нижняя часть мачты не осталась стоять сама по себе пустым обруком.

Потом мы убрали в трюме всё мешающее доступу к степсу мачты, чтобы плотник и его помощники могли спуститься вниз с кувалдами и ломami и извлечь мощные болты, удерживающие шпор мачты в киле.

Пока плотники этим занимались (сама по себе только эта работа потребовала пару дней) остальные сооружали из нижнего фока— и гротарея (каждый длиной метров по тридцать) мачтовый кран, устанавливая концы реев по обе стороны палубы, чтобы получилась башнеобразная двуногая грузовая стрела, возвышающаяся над поврежденной мачтой.

Затем колоссальный механизм из мощных блоков и канатов наклонили к стропу из якорной цепи, обернутой вокруг мачты, в точке, которую Микулич рассчитал как точку равновесия.

После непрерывного пятидневного труда, который начинался задолго до рассвета и заканчивался поздней ночью, всё было готово: освобождённая от креплений мачта ожидала, когда её поднимут из гнезда глубиной десять метров, проходящего через все палубы прямо в трюм. С первыми лучами солнца семнадцатого марта всех построили у барабана шпиля.

По команде мы начали выхаживать шпиль, налегая на вымбовки, палы щелкали, вал завращался. По мере того как перлини принимали на себя нагрузку, блоки закрипели, цепи позвякивали. Медленно, очень медленно, цепной строп вокруг мачты начал натягиваться. Рангоутное дерево, из которого составили грузовую стрелу, стало слегка прогибаться от нагрузки.

Правильно ли Микулич рассчитал нагрузку? Судя по всему, мы скоро это узнаем. Мы ходили по кругу, всё сильнее налегая на вымбовки, с каждым кругом перешагивая через зловеще гудящий стальной перлинь, натянувшийся над палубой как огромная гитарная струна.

А если он от такой нагрузки порвётся? Торпедомайстер Кайндель рассказал, что он однажды видел, как порвался стальной перлинь и отлетевший конец отмахнул зеваке голову начисто — меч палача не сделал бы работу чище.

Мы старались не думать об этом и продолжали налегать на вымбовки. Навались, навались, навались... Внезапно впереди раздался пронзительный скрежет, и палуба под ногами содрогнулась. Мачта вышла из гнезда.

Час за часом мы шагали вокруг кабестана, приподнимая мачту на пару сантиметров за каждый оборот. На пирсе уже собралась толпа любопытных зевак. Три метра. Четыре метра... А если блоки не выдержат? Или если грузовая стрела от нагрузки рухнет?

Мачта однозначно пробьёт днище корабля, и мы затонем у причала. А

если и нет, всё равно зрителям будет, что вспомнить. Но конструкция выдержала, и примерно в три часа пополудни с бака донесся крик боцмана Негошича:

— Герр лейтенант, шпор мачты над палубой!

Теперь началась самая деликатная часть операции. От топа мачты уже были заведены тали на форкастль и оттуда на брашпиль. Теперь еще одни тали завели от шпора мачты на грота-марс. Идея состояла в том, чтобы развернуть мачту горизонтально и постепенно опустить на бревна, разложенные на палубе. Всё могло пойти не так: блоки могли не выдержать нагрузки или мачта неконтролируемо вывернуться.

Но линиеншиффслейтенант Микулич отлично всё спланировал: мачта развернулась без сучка без задоринки, опустили ее тоже без накладок, и к закату огромная железная труба преспокойно лежала на палубе, ожидая, когда кузнецы выбьют заклепки и починят поврежденные секции. Как только они это сделают, нам остается лишь еще раз поднять штуковину в воздух и опустить вниз, а затем заново закрепить, после чего натянуть такелаж всей фок-мачты.

Это заняло еще восемь дней. Мы работали допоздна при свете переносных фонарей. На палубе рдела самодельная кузница. Всё это время мы ничего не знали о линиеншиффслейтенанте Залески и сотне его подчиненных, отплывших на борту «Уаско».

Что с ними случилось? Чем они занимались? Всё это оставалось тайной до последней недели марта, когда мы уже ставили на место новую брам-стенгу — низко сидящий в воде «Уаско», внезапно появился на рейде. Он встал борт о борт с нами, и вторая половина нашего экипажа поднялась на корабль: уставшие, покрытые серо-желтой пылью и ужасно недовольные.

— Чем вы занимались?

— Соскребали птичье дерьмо, вот чем! Шестьсот тонн этого говна! Надеюсь, что больше в жизни не увижу ни одного пеликана.

Оказалось, что герр Шнабель использовав свои обширные деловые связи, взял в аренду остров с гуано в двухстах километрах севернее по побережью и использовал наших людей как наемную рабочую силу для выкапывания и переноски отвратительного вещества на борт «Уаско», чтобы потом продать его в Кальяо.

Полученные таким образом деньги, не считая выплаты комиссии герру Шнабелю и стоимости аренды судна, можно было использовать для оплаты сухого дока.

Выдвигались предложения отправить Залески под конвоем в Европу и там судить на военном трибунале, поскольку использовать труд военных в

целях извлечения личной прибыли было запрещено в габсбургских вооруженных силах еще с конца 18-го столетия. Но победителей не судят.

Мировая цена на гуано в то время держалась так высоко, что продав его, мы не только оплатили сухой док, но и осталась еще приличная сумма для покупки столь необходимых съестных припасов.

Так что дела как-то наладились, если не обращать внимания на матросов, которые не получили ни монетки сверх обычного жалованья, а их кожу до волдырей сожгло аммиаком птичьих испражнений, таким концентрированным, что он окрасил волосы моряков в рыжий, а краска с деревянных деталей судна просто облезла.

Работа в сухом доке заняла всего пять дней. Мы закончили труды и четвертого апреля приготовились к отплытию, усталые, но довольные собой. Нам своими руками удалось выполнить серьезный ремонт, предполагающий использование судовой верфи. Последняя телеграмма, полученная из Вены перед отплытием, гласила:

«деньги на ремонт выделены тчк действуйте согласно полученным расценкам тчк».

Глава четырнадцатая

ТИХИЙ ОКЕАН

Если и могла быть хоть какая-то компенсация за последние четыре месяца (наше барахтанье около Огненной земли, медлительное продвижение вдоль чилийского побережья, физические нагрузки в Кальяо и на острове с гуано), то мы не могли бы пожелать чего-то большего, нежели двадцатishестидневное плавание через восточную часть Тихого океана, от побережья Перу до Маркизских островов: четыре тысячи миль на постоянных семи узлах при неизменном зюйд-осте в левую раковину. К парусам мы почти не прикасались — ветер дул равномерно и доброжелательно, как электрический вентилятор. Мы плыли день за днем, местоположение на карте согласно ежедневным полуденным наблюдениям обозначилось настолько ровными отрезками вдоль десятой широты, будто мы их откладывали циркулем.

Тихий океан к югу от экватора... Колдовская морская гладь, о которой все читали в детстве. Атоллы из покрытых пальмами коралловых островов, вечное лето, сочные загорелые девчонки в юбочках из листьев, с цветочными гирляндами на шее, готовые предложить кокосы и все виды утешения усталым мореходам. Но во время этого плавания мы видели лишь неизменную ультрамариновую бесконечность, солнце, неустанно поднимающееся на востоке и проходящее прямо над головой, чтобы затем утонуть у западного горизонта. Всё те же черные бархатные ночи, та же стайка из трех-четырех тихоокеанских альбатросов (уменьшенная версия альбатросов с мыса Горн), лениво вздымающаяся и опускающаяся за кормой днями напролёт, похоже, не делая остановок для еды или сна.

Думаю, путешествие по космосу выглядит примерно так же. Но нельзя сказать, что на борту корабля ощущался недостаток работы, ежедневной бесконечной рутины по поддержанию чистоты и порядка на борту деревянного парусника. Мы пользовались преимуществом спокойного океана и хорошей погоды, чтобы большую часть дня висеть с ведрами и кисточками за бортом в люльках и заново красить корабль, на что в Кальяо времени не осталось.

После долгих месяцев холода и сырости мыса Горн мы уже три месяца

находились в тропиках, обшивка корпуса ссохлась, в результате чего постоянно приходилось конопатить паклей щели.

Приходилось также следить и за подводной частью корпуса, которая после десяти месяцев в море сильно обросла водорослями и моллюсками. В сухом доке в Кальяо мы успели только снять медную обшивку над самыми большими и непрерывными течениями. В остальных местах днище мы не трогали, и наросшие водоросли и ракушки немало снижали скорость. Как обычно, именно линиеншифтслейтенант Залески придумал гениальное и нетривиальное решение.

— Сделаем вот что, — объяснял он, — я приказал сделать вот эти маты... — Мы с сомнением посмотрели на маты — огромные грубые коврики размером примерно два метра на метр, сделанные из старого перлина, переплетенного с кусками полураспущенного стального троса, чьи нити торчали во все стороны... — Вот как мы поступим: привяжем трос с каждой стороны мата, а затем пропустим один из концов под килем и вытащим с другого борта. Две группы кадетов встанут на противоположных концах палубы. Одни будут тянуть мат на себя, а вторые слегка придерживать трос, чтобы мат плотно прилегал к корпусу. Затем вторая группа тянет на себя, а первая удерживает. Таким вот образом мы очистим подводную часть от водорослей и моллюсков. Всё ясно?

Что ж, всё ясно. И мы приступили к работе. Результаты первых тридцати минут воодушевляли (судя по количеству всплывающих обрывков водорослей). Залески пошутил, что запатентует эту идею, когда мы вернемся в Полу, а затем уйдет со службы и откроет собственное дело. Но вскоре с носового трапа послышался крик боцмана:

— Герр лейтенант, плотник просит немедленно спуститься в трюм. Корабль набирает воду!

После этого больше никто не говорил о матах. Если уже сейчас только водоросли и моллюски скрепляют части «Виндишгреца» в одно целое, то мы решили, что в двух тысячах миль от ближайшей суши разумнее пока оставить их на месте.

А поскольку больше на борту парусника особо нечем заняться (в плане судовождения) то мы, кадеты, по крайней мере, могли заполнить время, восполняя пробелы в теоретических знаниях, да и в образовании вообще, поскольку в южноамериканских водах всё это отступило на второй план. Сейчас мы барахтались в навигационной тайне под названием «наблюдение Луны» (в 1903 году его все еще использовали, хотя и редко, чтобы определить долготу и сверить хронометры).

Это изучают уже на последнем курсе Морской академии, поскольку

эти данные можно было получить только после долгих и сложных расчетов, но всё равно результат мог оказаться неточным, поскольку Луна движется по небу быстро и расположена близко к Земле, а это значит, что малейшая ошибка в определении ее местоположения может привести к большим погрешностям в определении позиции корабля.

Большинство морских офицеров уже давно забросили наблюдения Луны в пользу хронометров, которые уж точно стали намного надежнее, чем столетие назад, но всё же и в начале века двадцатого еще уцелело какое-то количество упрямых лунопоклонников. К их числу относился и линиеншиффслейтенант Свобода. Этот добродушный и весёлый офицер также был и непревзойденным математиком, и в двадцатые годы стал профессором математики в пражском университете.

Он считал, что капитально подготовленный штурман не нуждается в хронометре — нужны только таблицы лунных фаз и обыкновенные карманные часы, показывающие, какой примерно час.

Имея это под рукой, он неизменно определял местонахождение корабля с такой же точностью, как мы — при помощи секстанта и хронометра. Но среди нас нашлась парочка тех, кто пожелал последовать его примеру.

Одно дело — три широкоформатных листа, исписанных вычислениями посреди спокойного Тихого океана с идеальной видимостью и сушей в сотнях миль. И, как мы понимали, совсем другое — в шторм после месячного плавания, когда подветренный берег где-то рядом, небо скрыто за облаками, а штурманский столик трясется и скачет, как взбесившаяся лошадь.

И к этому времени наши ученые в полной мере начали участвовать в жизни «Виндишгреца». До этой поры они большую часть дня сидели по своим каютам и лабораториям либо бесцельно слонялись по кораблю или по берегу с баночками для образцов или прибором для измерения силы ветра.

Пока мы стояли в Кальяо, то по крайней мере были избавлены от общества профессора Сковронека. Он ушел на три недели в Анды и вернулся на корабль только перед отплытием, нагруженный черепами и артефактами, награбленными в гробницах инков. Он принёс даже две целых мумии, высохшие и скрюченные, как два древних безглазых младенца.

Теперь, в море, он снова занялся тем же, чем и раньше: разгуливал по палубе в брюках для гольфа цвета хаки и вмешивался во все работы. В конце концов Сковронек так всех достал, что капитан предложил ему

провести серию дневных лекций для кадетов — больше из желания отвлечь профессора в послеобеденное время, чем полагая, что тот сообщит нам что-либо хоть немного полезное для будущей профессии.

Этот курс назывался «Расовая гигиена».

Вскоре мы обнаружили, что ежедневные лекции на палубе полуюта содержат нечто гораздо большее, чем изложение профессорской системы черепных измерений — хотя, естественно, в какой-то степени мы и углублялись в неё, сопровождаемые рядами вычислений на классной доске, таких запутанных, что сбивали с толку даже линиеншиффслейтенанта Свободу.

Оказалось, что в результате активного собирания черепов профессор гораздо ближе, чем в Поле, подошёл к созданию набора таблиц, которые позволят измерить и рассортировать по расам всё человечество, используя ряд сложных формул, основанных на показателях ширины и высоты теменной лобной и затылочной костей, кубического объёма, формы черепа, лицевого угла и множества разнообразных прочих факторов.

— Вот что я вознамерился сделать, — сообщил нам Сковронек. — Выделить характерные черты черепов, которые делают шведа шведом, а бушмена из Калахари — бушменом из Калахари. Но тщательно измеряя и изучая черепа представителей различных рас и эпох, я постепенно выделил те постоянные факторы, которые ведут одни расовые типы к формированию великих цивилизаций, а другие — к постоянному пребыванию в трясине грубейшего варварства. То есть, например, форма черепа типичного китайца позволила этой расе создать одну из величайших и гениальнейших мировых культур, а потом погрузиться в пучину безнадежной лени и самодовольного невежества, которую мы наблюдаем сегодня. А почему японская раса внезапно очнулась от веков сна, чтобы за несколько десятилетий создать государство, по праву именуемое «Пруссией на Востоке»? Почему раса испанцев полностью выродилась, как только смешалась с индейскими племенами Южной Америки? Почему повсюду, во все времена, евреи — антикультурный народ, паразитический нарост на другой цивилизации, неспособный создать ничего своего? Почему датчане смелы, серьёзны и преданны, итальянцы азартны и коварны, а негры тупы, медлительны и легковёрны? Что стало с древними греками? Уверяю вас, эти вопросы в нашем новом столетии окажутся крайне важны, и теперь наука с уверенностью сможет на них ответить. Труды бессмертного Дарвина наконец-то избавят нас от пагубной иудейско-христианской доктрины, что все люди созданы равными. Мои скромные исследования, показавшие, что все люди далеко

не равны, заставляют меня усомниться, являются ли все люди людьми фактически. А возможно, давно назрел пересмотр этой грубой категории — homo sapiens. Позвольте привести вам пример того, что я имею в виду. Кадет Гаусс, будьте любезны, выйдите вперёд. И попытайтесь не косолапить, даже если не можете иначе.

Профессор ухмыльнулся, а по аудитории прокатился вялый сконфуженный смех — может, Макс Гаусс и был евреем, но он вовсе не косолапил. Гаусс поднялся и вышел вперёд, мрачнее тучи.

— Снимите головной убор, молодой человек.

Гаусс подчинился.

— А теперь прошу вас, постойте тихо, больно не будет.

Профессор извлёк комбинированные самшитовые линейки и циркули, и выдвинул ножки для определения лицевого угла.

Гаусс стоял, как Регул в руках карфагенян, с зажатой линейками головой, пока профессор регулировал ползунки и зажимы. Закончив, он снял своё устройство и отправил Гаусса на место, а сам принялся возиться с карандашом и логарифмической линейкой.

— Индекс семьдесят восемь, лицевой угол восемьдесят градусов — хм, пожалуй, по верхней границе, так что давайте скорректируем вниз, с поправкой на внешний угол. Объём черепа примерно девятьсот семьдесят кубических сантиметров, скорректируем с учётом возраста и веса тела. Глубина затылочной кости тридцать сантиметров — да, полагаю, лучше скорректировать с учётом фактора глубины затвердения височной кости... Итак, общий расовый индекс 1.89, средний для еврея — форма затылочной части мозга показывает сильно развитые способности к счёту — что-то вроде кассы на ножках. Аномально маленькие лобные доли свидетельствуют о низком нравственном уровне, а атрофия внешней височной области ведёт к почти полному отсутствию добродетелей, таких как мужество, верность и стойкость. А теперь...

Его взгляд прочёсывал ряды кадетов, сидевших на палубе скрестив ноги. Наконец, профессор выявил подходящего кандидата и указал на него.

— Будьте любезны, выйдите вперёд.

Избранный Сковронеком кадет выглядел как греческий бог в образе юноши: голубоглазый блондин с теми величественно-прекрасными чертами, какие спустя поколение можно будет увидеть на плакатах в оккупированной Европе — суровый взгляд из-под края стального шлема, приглашение самых достойных вступать добровольцами в части СС.

Циркули и линейки снова извлечены и закреплены на его голове, выполнены и записаны те же измерения и произведены подсчёты, пока

кадет с интересом за всем этим наблюдал.

— Великолепно, совершенный нордический тип — прекрасное полноценное функционирование рассудка и креативного мышления вкупе с сильно выраженными способностями к бесстрашию и преданности, а также умеренным развитием базальной области, указывающим на сдержанность телесных appetitов и, соответственно, высокую степень нравственности. Как ваше имя, юноша?

— Фишбейн, герр профессор.

Из аудитории раздался рев смеха. В кои-то веки профессора удалось застать врасплох.

— Это ваше настоящее имя, юноша, потому что я предупреждаю...

— Разрешите доложить, да, герр профессор. Мориц Фишбейн, кадет третьего курса.

— Ясно. Откуда вы?

— Из Черновица, герр профессор.

Сковронек облизнул губы.

— Могу я спросить, как зовут ваших родителей?

— Люциан Фишбейн и Ракель Абрамович, герр профессор, мой отец — кантор в синагоге.

— Я не спрашивал, кто он, я спрашивал, как его зовут. Вы их биологический ребенок, я имею ввиду не усыновленный или что-то такое.

— Да, профессор.

— Может быть, в вашей семье имелись обращённые иноверцы?

— Одна из моих тётушек перешла в католичество, герр профессор.

— Я не это имел в виду, — рявкнул Сковронек. — Ну а вы сами — иудей?

— Разумеется, герр профессор.

— Уверены?

— Со всем уважением, совершенно уверен, герр профессор. Если желаете убедиться... — и кадет принялся расстёгивать штаны.

— Нет-нет, вполне достаточно. Благодарю вас. Можете возвращаться на место, Фишбейн. Конечно, моя система находится ещё на ранней стадии развития, и во всех схемах классификации имеются отклонения. Ничто не идеально на все сто процентов. Время от времени появляются расовые атавизмы... Что ж, отлично, все свободны. На сегодня это всё.

Отношения между другими членами экипажа конечно не были такими душевными, как между кадетами и учеными. Линиеншиффейтенант Микулич умелым руководством ремонтом фок-мачты заслужил скупое уважение всех принимавших в этом участие и отчасти восстановил

репутацию после эпизода с матросом Хузкой и линьком.

Это значило, что отныне ему не грозило официальное расследование и он снова мог разгуливать по кораблю и превращать жизнь людей в мучение. По мнению старшего офицера, «плавание в хорошую погоду», в котором мы сейчас участвовали, крайне разрушительно сказывалось на дисциплине на борту военного корабля, люди мало работали и разлагались от безделья.

Так что во время вахты и даже во время отдыха в дневные часы мы были постоянно заняты теми или иными задачами, необходимыми и не очень. И чем более изматывающей и бесполезной была работа, тем больше она, казалось, нравилась Микуличу. Матросы щипали паклю, стоя на палубе четыре часа под палящим тропическим солнцем на приличном расстоянии друг от друга, чтобы не разрушать монотонность процесса разговорами. Во время учебных стрельб матросы вставляли в круг и передавали снаряды друг другу по кругу часами. Шлифовали якоря стеклянной пылью и старой парусиной. Да просто ставили матросов на полубаке — «следить за китами».

Вокруг старшего офицера разрастался тихий, но от этого не менее сильный дух мятежа. Иногда Микулич развеивал скуку, пытаясь спровоцировать превращение негодования в открытый мятеж, издевался над матросом, пока тот не начнет сопротивляться, затем избивал его до потери сознания и заставлял подать жалобу капитану. Матросы же боялись подавать жалобу, опасаясь трибунала за нападение на офицера.

Но пока возмущение бурлило под поверхностью. Будучи несомненно прекрасным моряком, Микулич удивительно плохо разбирался в человеческой натуре и, похоже, искренне верил, что добился послушания от нижней палубы. Время показало, как ужасно он ошибался.

Напряжение на борту росло. В то время долгие морские путешествия под парусами имели тенденцию вырабатывать состояние меланхолического безумия, которое французы в Сахаре называют «le safard». Тесные помещения, ежедневная рутина — вышел на вахту, вернулся с вахты, одинаковые лица вокруг — мы уже слишком долго слушали одни и те же повторяющиеся истории из жизни одних и тех же людей, всё это вместе делало людей угрюмыми и раздражительными.

Но самое главное в этом бесконечном тихоокеанском походе — это несменяемая пластинка океана под безжалостно палящим солнцем; ночи, отличающиеся только фазами луны; ощущение, что океан был таким же в последние пятисот миллионов лет и будет точно таким и в следующие пятисот миллионов лет, а мы — ничто, микробы, плывущие на пылинке по

его бескрайней поверхности.

Одинаковые дни тянулись один за другим, и мы начали страдать от странных фантазий — казалось, что время остановилось, а старания нарезать его на понятные отрезки средствами хронометра, песочных часов и рынды — не что иное, как ничтожная попытка удержать бесконечный, обволакивающий простор вечности, попытка зажечь спичку на дне угольной шахты. Казалось, что мы по сути не двигаемся, несмотря на все попытки, что в центре этой синей необъятности корабль стал геометрически определенной точкой, имеющей позицию, но не имеющей содержания.

Беседы в кают-компании младших офицеров приобрели тревожный философский оттенок, ревностные диспуты по вопросам типа — может ли быть время иллюзией? Есть ли на свете человек, не знающий вообще ничего?

Это странное настроение захватило капитана гораздо больше, чем других офицеров. По правде сказать, он не стремился к этой должности. Корветтенкапитан граф Фештетич совершенно неожиданно получил продвижение в Пернамбуку и мог вполне определенно ожидать, что капитаном ему быть только до тех пор, пока из Военного министерства не пришлют замену.

Но этого не случилось, и добродушный, деликатный, безукоризненно правильный офицер очевидно не сумел вписаться в новую должность за последующие месяцы.

Возможно, жизнь требовала от него слишком многого, ведь если стереотипы про службу на борту парусников правдивы, их капитан, как правило, должен быть суровым, грубым, громогласным, упрямым человеком, наделенным непробиваемой самоуверенностью и непоколебимой верой в собственную правоту.

Хотя, быть может, такие капитаны просто чаще выживали, потому что из всех способов передвижения, придуманных человеком, океанский парусник, должно быть, являлся самым опасным. Спустя годы я читал где-то, что даже в десятилетие, предшествовавшее 1914 году, когда картография и береговые знаки улучшились до неузнаваемости по сравнению с тем, что было пятьдесят лет назад, зарегистрированный в «Ллоиде» торговый парусник с большей вероятностью заканчивал свои дни на морском дне, чем его разбирали на верфи на дрова.

Командование такими кораблями требует мгновенных решений, решительных действий и железных нервов. Не помешали бы и способности принуждать непослушных, уставших или испуганных моряков выполнять

приказы. Правда, на военных кораблях было полегче за счет больших экипажей и суровых санкций военной дисциплины, поддерживающих приказы капитана.

Хотя даже на борту торговых судов встречались очень эффективные капитаны — тихие, мягкие и не особо внушительные физически. И все-таки в целом, человек вроде Славеца фон Лёвенхаузена, наделённый бычьим голосом и внешностью баварского героического тенора, имел некоторые преимущества еще до того, как его нога ступила на палубу.

Все знали, что корветтенкапитан граф фон Фештетич — справедливый и достойный человек. Но при этом, нерешительный, довольно робкий и не способный навязать свою волю подчиненным.

Мы все презирали линиеншиффслейтенанта Микулича как личность. Но уважали его профессионализм, и, если бы пришлось выбирать, под чьим командованием находиться, его или Фештетича, большинство, стиснув зубы выбрало бы Микулича. В конце концов, какой смысл в хорошем человеке, если он выбросит корабль на подветренный берег во время шторма?

Фештетич безусловно знал, какого мы мнения о нём после унижительного провала попытки обойти мыс Горн. Плюс к этому, котировки его профессиональных навыков пострадали при инциденте с «Тапаханноком», когда только благодаря сообразительности Залески корабль не разнесли в щепки.

После Кальяо капитан удалился в свою каюту и предоставил управление кораблем офицерам — сомнительная политика, тем более что Микулич, как известно, ненавидел Залески, «этого скользкого поляка», и презирал «слабака» линиеншиффслейтенанта Свободу.

Мы видели капитана на воскресной службе, но в остальные дни недели почти не встречали. Редкими стали даже приглашения на обед в капитанский салон. Камбузный телеграф сообщал, что «Старик» превратился в беспомощного алкоголика, привязанного к койке с кляпом во рту, чтобы не дать ему откусить язык в ужасе от армии синих ёжиков, врывающихся через окно и ползающих на подволоке. Однако репортажи о белой горячке у капитана входят в инвентарь камбузных репортеров с тех времен, когда первый человек вышел в море, так что подобные басни шли на нижней палубе с большой скидкой.

В конце апреля мы поняли — что-то явно не в порядке. Стоял обычный теплый полдень, под нисходящим ветром паруса тянули так же ровно, как и последние три недели. Корабль шуршал по волнам на обычных семи узлах, и только волна за кормой напоминала, что мы

двигаемся по плоской неизменной равнине кобальтово-синего цвета.

В четыре склянки свободных от вахты кадетов созвали на обеденные навигационные занятия, сегодня посвященные некоторым теоретическим аспектам гринвичского часового угла: коррекции небольших вариаций длины дня из-за годового оборота Земли вокруг Солнца, звездному году и прочим подобным вещам, которые хотя не имеют практического значения при движении корабля из пункта А в пункт Б, могут пригодиться у экзаменационной доски при продвижении молодого офицера от звания зеефенриха к званию фрегаттенлейтенанта.

Залески был занят до самого полудня, так что урок проводил капитан. Мы достали тетради и карандаши. Глобус, хронометр и секстант лежали на покрытом одеялом столе, доска установлена. Мы приступили к занятию.

Только когда мы перешли к вопросу о наблюдении неподвижных объектов по время движения, стало понятно: что-то идет не так.

— Известно, что свет проходит расстояние от Солнца до Земли за восемь минут, так что когда мы пользуемся секстантом, то наблюдаем не позицию Солнца как такового, а видимое положение, которое оно занимало восемь минут назад. Также нужно держать в голове, что наблюдения мы ведем с движущегося объекта, и это вносит дополнительные искажения в расчеты. Конечно, при движении на запад на борту корабля со скоростью семь узлов этой ошибкой можно смело пренебречь, настолько она мала. Но давайте обсудим случай, когда мы путешествуем вокруг света в районе десяти градусов южной широты на одном из дирижаблей графа Цеппелина. Если бы мы могли лететь со скоростью в тысячу морских миль в час, абсурдное предположение, но давайте примем его для целей нашего урока, тогда мы смогли бы идти в ногу с солнцем, то есть вращаться как бы вместе с планетой, в результате хронометр на борту тикал и отсчитывал бы время, а для нас все время длился бы местной полдень,двигающийся по планете вместе с нами. А если бы нам удалось двигаться быстрее тысячи узлов, мы смогли бы оставить солнце позади и заставить время идти вспять или ускорить его течение, двигаясь против солнца на восток. Факт в том...

Фештетич крутанул глобус так, что моря и континенты слились в одно серо-зеленое пятно.

— Факт в том, что если я смогу разогнать дирижабль быстрее скорости света, то выйду на орбиту Земли и вернусь обратно раньше, чем стартовал. Тогда, сделав необходимое количество стартов, я заставлю хронометр идти назад в реальном времени, вернусь в собственную молодость, когда я был таким же прыщавым кадетом, как вы, выбрал эту

паршивую профессию и обрек себя на жизнь в этом болтающемся в океане деревянном ящике, полном вонючих хорватов и обманутых молодых идиотов, думающих, что они подписались на жизнь, полную приключений, как считал и я, но скоро обнаружат себя втиснутыми за стол, заполняющими бесконечные формуляры и обслуживающими тупых ублюдков! Да!

Он сломал указку об колено, разбросал обломки, сел за стол и разрыдался. На мгновение повисло неловкое молчание, прерываемое только приглушенными всхлипываниями капитана и смущенным шарканьем сорока с лишним пар юношеских ног. Должен ли кто-то утешить несчастного? Но ведь это капитан, первый после Бога... В итоге Макс Гаусс скользнул вниз и вызвал доктора Лучиени и капеллана, сказав, что капитан, похоже, получил солнечный удар.

Они отвели Фештетича в его каюту, и после мы долго его не видели, только иногда замечали, сидящим в кресле на полуюте, закутавшись в одеяло. Он смотрел на горизонт, тихонько что-то бормоча, а два крепких матроса наблюдали за ним с вант на случай, если он попытается прыгнуть за борт.

На следующее утро объявили, что капитану нездоровится, и его функции переходят к линиеншифслейтенанту Микуличу до дальнейших указаний, а Залески будет назначен старшим офицером. Еще один офицер выбыл из строя, четвертый с тех пор, как мы покинули Полу. Что не так с этим кораблем? Предсказатели с нижней палубы — кок и парусный мастер — говорили, что несчастья связаны с каютой, набитой черепами мертвецов, и такими темпами будет большой удачей, если мы доберемся до Индийского океана и не потонем.

Утром первого мая мы подошли к берегу. Накануне вечером впередсмотрящие рапортовали о необычных облаках на западном горизонте. Также мы заметили водоросли и альбатросов, которые (как заверил герр Ленарт) редко путешествуют дальше чем на один день пути от берега. Весь тот вечер кру простояли у порочней полубака, раздувая ноздри нюхали воздух и просили всех «прикрыть варежку», если шум мешал чувству обоняния. Я спросил Юнион Джека, чем они заняты.

— Масса Отокар, я чую берег. Чую всякий лес, всякий жареный мясо на берегу.

Он оказался прав — на следующее утро появились темные, закрытые облаками пики гор над западным горизонтом. Вся вахта собралась на полубаке, наблюдая как корабль рассекает воду. Согласно нашим картам, это был остров Хива-Оа, самый северный из Маркизских островов, в то

время французская колония.

Новость вызвала заметное волнение среди начитанных кадетов. В корабельной библиотеке имелся роман Германа Мелвилла «Тайпи», и большинство из нас, чей английский позволял читать, лежали в гамаках или укромных местах на палубе, слегка потя, и читали, как восхитительная полинезийская девушка Файавэй снимает с себя легкое парео и использует его вместо паруса, когда она и герой романа Том плывут на каноэ по лагуне. Это наш первый остров в Южных морях. Нам же разрешат сойти на берег после месяца в море? Если разрешат, то есть надежда, что внушки Файавэй не бросятся на нас все сразу, а организуют упорядоченную очередь.

Нам разрешили сойти на берег. Но все прошло не так, как мы ожидали. Бухта Атуоны, деревни-столицы острова, выглядела не совсем так, как люди представляют себе Южные моря. Здесь росла парочка пальм, но остров позади них выглядел зубчатым и угрожающим, с густыми мрачными лесами, карабкающимися по склонам остроконечных гор, нависающих над бухтой.

Океанские волны разбивались об угрожающие черные базальтовые скалы, а не коралловые пляжи. Девуцы в травяных юбках и с цветами гибискуса в волосах не вышли нам навстречу. По сути, Атуона очень сильно напоминала Порт-Стэнли, только солнечный. Несколько домов из выбеленных досок и крытых гофрированным железом вместо пальмовых листьев. Две католические церкви, принадлежащий китайцам универсальный магазин, бар (закрыт) и пост жандармерии под французским триколором, хлопающим на ветру.

Что до жителей, то это в основном были полукровки, наполовину полинезийцы и наполовину европейцы, главным образом средних лет, в строгой черной одежде, и у всех на лицах выражение застегнутой на все пуговицы суровости, характерное, как я позже узнал, для жителей провинциальной Франции. Картину дополнял жандарм на велосипеде и в пробковом шлеме, а также гигантское число мрачных французских миссионеров в белых сутанах.

Мы поболтались какое-то время без цели, а затем отважились отправиться вглубь острова, чтобы исследовать лесистые склоны гор и осмотреть остатки мистических островных храмов — гигантское нагромождение каменных блоков, раздираемых на части корнями деревьев. Павший каменный идол валялся среди подлеска, покрытый мхом. Чрезвычайно удручающий вид.

Океанограф доктор Салаи, хорошо знакомый с Тихим океаном,

рассказал, что когда адмирал Пети-Туар аннексировал эту местность в 1842 году, здесь проживало примерно сорок тысяч островитян-маркизцев. Пятьдесят лет спустя население упало до менее чем десяти процентов от этой цифры. Сифилис, корь, религия, пьянство и отчаяние совершили для Маркизов то же самое, что теперь творилось с индейцами Огненной Земли. Казалось, призраки погибшего мира все ещё населяют это место и отравляют жизнь выжившим.

В тот вечер мы вернулись на борт в унынии не только из-за судьбы несчастных мертвых маркизцев, но и из-за своей тоже. Приключения? В 1903-м году даже отдаленнейшие острова Тихого океана патрулировались жандармами, а сине-белые таблички сообщали, что «Il est formellement interdit» — то-то и то-то строго запрещено. Ничего похожего на гологрудых дев и воинов-каннибалов, вышибающих друг другу мозги боевыми дубинами.

Отбытие из Хива-Оа на следующее утро задержалось на несколько часов из-за того, что доктора Лучиени внезапно вызвали на берег. На острове отсутствовал постоянный врач, и местный кюре прислал записку с просьбой во имя христианского милосердия посетить европейца, который жил неподалеку от деревни во грехе с аборигенкой. По словам священника, мужчина был печально известным выпивохой, драчуном, богохульником и баламутил весь остров. Но сейчас он болел и страдал от незаживающей язвы на ноге. Доктор Лучиени обработал рану, оставил мазь и инструкции по дальнейшему лечению.

Договорились об оплате, все-таки кригсмарине — это военный флот, а не передвижная благотворительная клиника для всего мира. Но в связи с тем, что у пациента не было денег, Лучиени, не любивший давить, согласился взять в качестве оплаты одну из картин, которыми художник — без особого успеха — пытался зарабатывать на жизнь. Лучиени колебался, но он ненавидел обижать людей и принёс холст на борт корабля, все ещё слегка липкий и пахнущий льняным маслом.

Доктор спешно унёс картину в каюту, не показывая никому, видимо, боялся насмешек. Экипаж шлюпки распространил слухи, что картина на редкость плоха — на ней ничего не понятно, и к тому же с каких это пор деревья стали синими, а трава розовой? За ужином доктора подвергли расспросам по поводу визита на берег, в основном потому, что о нашем пребывании на Хива-Оа и вспомнить-то нечего.

— Да, сложный пациент, кюре был прав — какой-то полукровка, но не полинезиец, это точно, на мой взгляд, скорее ацтек.

— Что с ним случилось, Лучиени?

— Ну, как обычно. Боюсь, что это болезнь любви — третья стадия сифилиса, частично вылеченного несколько лет назад и вновь поднявшего голову. Я пришел лечить ему рану на лодыжке, но он в ужасном состоянии, и это меня не удивляет, учитывая двадцать лет употребления абсента и разврата с аборигенками.

— На что похожа картина? Вы должны показать ее нам. В последнее время у нас не так много поводов для смеха.

— Она ужасна, просто неопишимо. Не удивляюсь, что ему пришлось уехать. Даже каннибалы умирают со смеха при виде этой мазни. Я не слишком разбираюсь в искусстве, но, как по мне, осел с привязанной к хвосту кисточкой нарисует лучше. Единственная причина, по которой я принял эту жалкую картину, это то, что бедолага разорен и болен, и мне стало его жаль.

В итоге, картина доктора Лучиени однажды показали публике — на полуюте, на следующий день после отплытия на Самоа. Она послужила иллюстрацией к очередной лекции профессора Сковронека из цикла «Расовая гигиена». На сей раз лекцию стоило посетить. Называлась она просто — «Дегенерация».

Лекция безусловно превзошла ожидания, годы спустя, кадеты призыва 1899 года вспоминали её как кульминацию путешествия в смысле развлечения, некоторые даже сравнивали её с недавним выступлением капитана на тему путешествия во времени.

— Вырождение рас, — начал профессор, — может происходить по ряду причин, но основные из них — это болезни, расовое смешение и эрозия принципа мужского главенства. Все эти мерзости присутствуют в нашем обществе, когда мы вступаем в двадцатый век, и если оставить их без внимания, они приведут к краху, как способствовали падению Древнего Рима. И в нашем случае, как и у римлян, главный переносчик упадка, чумная крыса, распространяющая смертельную бациллу... — он взглянул на Гаусса, — это еврей, вечный кочевник планеты, паразитический грибок, сеющий споры в каждом уголке цивилизации, в случае с римлянами — христианство и разбавление расы, в нашу эпоху — идеи социализма и сифилис.

Все начали толкать Гаусса и тыкать в него пальцами.

— Пожалуйста, герр профессор, вот он. Он подрывает устои службы, пытаюсь продать нам свою сестру и записать нас в социал-демократы. Некоторые уже подхватили венерическую болезнь, и у нас отваливаются носы.

— Помолчите и избавьте меня от своих детских выходок. Это

серьезная научная лекция, а вы — будущие офицеры Германской империи. Сидите тихо, или я вызову боцмана.

Мы заткнулись и угомонились.

— Итак, как я уже сказал, одна из важных причин вырождения — это расовое смешение. В случае Дунайской монархии, я с сожалением считаю, что тут не о чем и говорить. Достаточно сказать, что если сегодняшнее смешивание тевтонов, латинян, славян и евреев когда-нибудь произведет на свет общий австрийский тип, то как евгенист, я содрогаюсь от мысли, на что это будет похоже. Рассуждая как специалист по расам, я вижу для габсбургской монархии только одно приемлемое будущее — скорейшее присоединение немецких областей империи к Германским рейху, отказ от Венгрии и протекторат над славянскими территориями. Затем строгий запрет на смешанные браки в этих районах, усиленный программой постепенной ликвидации дисгенических элементов средствами смены населения и обязательной стерилизацией. Это скорее похоже на попытку разобрать омлет на составные части, но если этого не сделать, то я не вижу надежды на выживание германской цивилизации и культуры в Центральной Европе. Евреи также работают над этим не покладая рук, и во многих городах сифилис уже достиг порога эпидемии, отравляя будущие поколения, ослабляя отпрысков даже тех людей, кто не утратил способности размножаться. Да и по всей планете видна печальная картина, как белой расе угрожают неполноценные народы. Ещё сто лет назад проблема была не настолько велика. Путешествия были затруднены, народы оставались примерно на одном месте, и расовая чистота сохранялась как бы сама собой. Русоволосому немецкому крестьянину, сидящему у дверей своего домика и играющему с голубоглазыми детьми, не страшны кишачие израэлитами польские гетто. Негр живет в дикости в малярийных болотах и джунглях своего погруженного во мрак континента, а роящаяся желтая масса китайских речных равнин остается там же, где была последние шесть тысячелетий. Но потом появились пароходы и железные дороги, и спустя полвека мы начали замечать последствия — в чисто немецкой когда-то Вене сейчас живет больше евреев, чем в Палестине, и больше чехов, чем в Праге, китайские кули вторглись на западное побережье Америки, чернильное пятно просачивается в Миссисипи и окрашивает прежде белые города Нью-Йорк и Бостон, еврейская армада перебирается через Атлантику и инфицирует Соединенные Штаты. Белой расе, спасителю нашего мира, повсеместно угрожают народы второго сорта. Наука создала проблему, наука и должна ее решить. — Он сделал паузу, чтобы глотнуть воды из стакана. — Однако,

как же так вышло, что белому человеку, единоличному когда-то властелину мира, приходится соперничать с людьми, не обладающими и каплей мужества или творческой энергии? Первая причина, как я уже говорил, физическое разложение расы из-за сифилиса. Но вторая, столь же пагубная в длительной перспективе — систематическая эрозия принципов мужского доминирования из благосклонности к женщинам. Любой непредвзятый наблюдатель заметит, что женские черепа во многих аспектах сходны с типичными черепами евреев или негров — чрезмерное развитие инстинктивной и эмоциональной частей мозга и соответствующая атрофия нравственных и рациональных областей. Женщина — это еврей мирового масштаба, творческая бесплодность, инстинкты и чувственность, эгоизм, слепота к любым принципам за пределами собственных интересов, неспособность к объективной моральной оценке или благородству чувств. Конечно, это не вина женщин, а в большей степени — работа бесконечной эволюции через естественный отбор. Но отрицать факты — значит отрицать саму науку, а игнорировать их и потворствовать тому, чтобы женские принципы превалировали в государственных органах, это не что иное, как расовый суицид. Заменить мужскую отвагу, преданность, смелость и послушание — добродетели древних римлян и северных племен — их противоположностями, то есть коварством, алчностью, лживостью, чувственностью и хитростью. Будущие офицеры австро-венгерского флота, вашей моделью должна быть Спарта. Женщина ограничивается соответствующими функциями — помощница по дому и производительница воинов. В ином случае нас сметут три волны — коричневая, черная и желтая.

Он повернулся к одному из двух задрапированных мольбертов за своей спиной.

— А теперь, кадеты, я продемонстрирую вам графическую иллюстрацию дегенерации, любезно предоставленную нам судовым врачом Лучиени, который находит эту вещь столь ужасной, что не может держать её в каюте, даже повернув к стене. Её вчера передал ему один француз на Хива-Оа в качестве платы за лечение.

Он размашисто сорвал ткань с мольберта.

Эта картина стоит у меня перед глазами и сейчас: холст светится свежестью красок; глубокий синий цвет и насыщенный винно-красный; сочный зеленый тропической листвы и ослепительный белый цветков гибискуса; и три женские фигуры, две стоят и одна сидит, смуглый земляной цвет их кожи и печальные, плоские, отсутствующие полинезийские лица смотрят в никуда, вечные и непостижимые, как тот

свергнутый идол, которого мы видели в лесной чащобе.

Все ахнули и затаили дыхание, кто-то в ужасе, кто-то в своего рода восхищении. Это было так непохоже на любую картину, виденную нами когда-либо в том мире, еще лишенном цветных журналов, когда популярное искусство ограничивалось безвкусными серийными литографиями «Рассвет в Зальцкаммергутте» или «Бал кучеров фиакров».

— Видите, это просто неопишимо. Изумляет мысль, что сейчас, в начале двадцатого века, через четыреста лет после Дюрера и фламандских мастеров, столь омерзительная мазня будет всерьез предлагаться на продажу где-то за пределами сумасшедшего дома. Без формы, без сходства, без толики выразительности, без сюжета или морали, без малейшего намека на то величие духа, которое должно передавать искусство, или благородство действия, на которое оно должно вдохновлять. Но я расскажу вам, молодые люди, как эта непристойность увидела свет. Это не слишком приятная история, но прекрасный пример моего тезиса о том, что расовая дегенерация сопровождается культурным разложением. «Художник», назовем его так, судя по отчету доктора Лучиени, считает себя продуктом смешения кровей — француз, но с приличной примесью «цветной» крови. Лет двадцать назад этот вырожденец отказался от стабильной работы в банке, оставил жену и детей, чтобы отправиться в южные моря, пьянствовать, малевать и развратничать, где и заразился сифилисом в череде грязных отношений с местными женщинами. Отвратительная клякса, которую вы видите — это конечный результат процесса и очевидное подтверждение комбинированного эффекта смешанных браков, сифилиса и ловушек женского пола. Обратите внимание на дикие, грубые цвета — результат поражения зрительных нервов. На полное отсутствие попыток придать реализм деревьям или листве. Взгляните, если можете, на трех туземных дам, наши три смуглые грации. — Он рассмеялся. — По крайней мере, здесь наш «художник» возможно передал природу правдиво и воздал натурщицам по заслугам, в своем криворуком стиле. Судя по тому, что я видел, я готов поверить, что полинезийские женщины так же тупы и также уродливы, как и чаровницы с картины. Но что касается остального, то это гнусная, жалкая мазня, гноющаяся рана, пятна гноя и экскрементов. Если вы хотите понять, насколько это отвратительно, какая это мерзость, какое отрицание всего, что белая раса достигла в изобразительном искусстве за последнюю тысячу лет, я вряд ли могу сделать больше, чем предложить вам стандарт для сравнения.

Он потянул ткань со второго мольберта. Она скользнула в сторону, и

снова по аудитории прокатился вздох. Мы слышали от матросов, убиравшихся в профессорской каюте, что он увлеченный коллекционер искусства с уклоном в женскую наготу. Но поскольку он держал каюту запертой почти всегда, это оставалось на уровне слухов. Теперь мы имели зримое доказательство, жеманящееся перед нами в притворной скромности. Это оказалась крупная литография, подписанная (если я правильно помню) «Разоблачение римской невесты», венского классического художника Теофиля Шайбенрейтера.

Вообще-то подпись оказалась немного обманчивой — нужно было написать «Разоблаченная», а не «Разоблачение», что касается «римской» части, не могу сказать, сколько женщин в древнем Риме имели светлые волосы и голубые глаза, или тот тип фигуры, который венское мужское общество описывает словом «molliert» — пышка.

Но это так, к слову. На заднем плане находились несколько мраморных колонн и ваз, показывающих, что это серьезная историческая живопись, а не просто карточка с красоткой, прекрасная же фигура девушки, изображенная с фотографическим гиперреализмом, на который были способны художники в ранние 1900-е, была прорисована до прыщика, но с пропорциями тела, как мне показалось, художник слегка переборщил, чтобы сделать её прекрасные бедра еще более пышными, а грудь даже полнее, чем у натурщицы.

Имелся даже — все-таки в 1903 году художники становились смелее — абстрактный намек на лобковые волосы и другие подобные вещи, которые ранее были бы тактично опущены или удачно прикрыты ниспадающей драпировкой.

Убийственный эффект, произведенный этой внезапной демонстрацией на сорок сексуально озабоченных подростков после десяти месяцев в море, можно себе представить. Оглушительная тишина на мгновение, затем слабый стон из задних рядов. Профессор не обратил на шум внимания.

— Это изображение, по контрасту, можно назвать великим искусством: женщина белой расы во всей её незамутненной славе, подходящий компаньон для белого человека и мать его детей. Обратите внимание на высокий нордический лоб, открытую честность голубых глаз, крепкие бедра. — Стон нарастал. — Сильные, но грациозные ноги, крепкие груди...

Гаусс, сидевший возле меня, тихо стонал и тяжело дышал.

— Остановите, его. Господи, остановите... я этого не вынесу...

— Это создание, скажу я вам, создано стать матерью германских детей, и человек, обессмертивший её великолепие, может называться

художником.

Он накиннул на картину ткань. Как раз вовремя, судя по звукам с задних рядов.

— Однако, — он повернулся к недавнему приобретению доктора Лучиени, — что мы можем сказать об этом ужасе? Я скажу вам, кадеты. Мы не должны ничего о нем говорить. Нет смысла объясняться с вырожденцами, мы идентифицируем их, как вошь или чумную крысу. — Профессор потянулся через стол и вытащил тяжелый двуствольный дробовик. — Мы с ними разбираемся.

Он положил ружье на стол, снял картину с мольберта, подошел к вантам и воткнул полотно туда. Вернулся к столу и поднял дробовик, по ходу его взводя.

— Не стоит рассуждать о дегенерации, мы ее уничтожаем, искореняем, прижигаем, как гнойную язву.

Он прижал ружье к плечу, прицелился и выстрелил из обоих стволов. Профессор Сковронек был хорошим стрелком, что он доказал на несчастных страндлоперах на побережье Каоковельда несколько месяцев назад. Картина взорвалась облаком ярких клочков холста. Как только дым рассеялся, мы увидели, что рама еще цела, хоть и перекручена, но весь центр картины исчез. Профессор положил дымящийся дробовик и показал на меня.

— Вы, юноша. Прохазка, да? Выбросьте эту ерунду за борт. Хорошо, кадеты, на этом моя сегодняшняя лекция закончена.

Профессор собрал свои вещи, и класс разошелся по своим делам, а я снял останки картины с вант. Угол холста остался цел — гвоздичное дерево с блестящей листвой и голова одной из женщин. Один грустный глаз косился на меня, пока я шел к поручню, как бы говоря: «Как ты мог так поступить со мной после всего того, что было между нами?» Я запнулся на секунду, взглянул на неё и выбросил за борт. Сквозняк в кильватере корабля подхватил картину и на мгновение подбросил в воздух, затем она упала в воду.

Один из сопровождавших нас альбатросов спустился со своего вечного места за кормой на несколько мгновений, чтобы определить, стоит ли это есть. Он быстро решил, что нет, и расправил большие крылья, чтобы взлететь вверх без видимых усилий и занять свою позицию. Я вернулся к своим обязанностям, и картины вскоре забылись. Однако «Римская невеста» Шайбенрейтера надолго осталась в нашем коллективном сознании и часто обсуждалась художественными критиками в кают-компании. Кадеты не так уж хорошо разбирались в изобразительном

искусстве, но безусловно знали, что нравится именно нам.

Глава пятнадцатая

ОСТРОВА БЛАГОСЛОВЕННЫХ

Первым крупным портом захода в Тихом океане стала Апия на острове Самоа. Мы достигли его шестнадцатого мая, при этом, немного отклонились от курса вдоль десятой параллели южной широты, но тут уж ничего не поделаешь — Самоа был немецкой колонией и с тех пор, как Австро-Венгрия стала главным союзником Германии, для австрийского корабля казалось немыслимым пройти по Тихому океану и не остановиться на несколько дней с визитом вежливости.

После удручающей дегустации Французской Полинезии, представленной островом Хива-Оа, мы с уверенностью ожидали от Самоа самого худшего. Немцы находились здесь с 1880-х годов, так что островитяне, несомненно в мышино-серых парео, маршируют туда-сюда по окаймленным пальмами плацам под рывканье строевых сержантов и звуки марша «Прусская слава», исполняемого на ракушках и крабовых панцирях. Приятным сюрпризом после высадки оказалось, что, хотя колонизаторы и миссионеры кое-что поменяли — остановили людоедство и одели островитян более пристойно, в основном самоанский стиль жизни остался незатронутым. Предполагаю, что немцев просто оказалось слишком мало для того, чтобы провести более радикальные преобразования.

Немцы получили это место почти случайно, кайзер Вильгельм всегда называл его «тот абсурдный остров», и, не обладая стратегической важностью, Самоа никого в Берлине не интересовал. В Апии имелась колониальная полиция и немецкий губернатор, германский корвет стоял на якоре в бухте, а несколько плантаторов, торгующие копррой, жили в глубине острова, но в остальном жизнь текла, как и раньше, не считая того, что местный король (к которому мы попали на аудиенцию) приобрел великолепный мундир бисмаркского кирасира в комплекте с остроконечным шлемом пикельхаубе и носил его во время выполнения судебных функций, а также говорил на сносном немецком.

Также в Апии устроили женский монастырь, в нем проживали пятьдесят или около того монашек-урсулинок из Мекленбурга. Они

управляли хорошо оснащенной и высокоэффективной больницей, а также открыли школу-интернат для дочерей местной знати, где девочки учились немецкому языку, письму, шитью и остальным предметам по программе «дети-кухня-церковь», положенной девочкам в кайзеровской Германии.

Мы отправились на берег, чтобы нанести положенные визиты вежливости — чай с губернатором, посещение кокосовых плантаций, плантаций хлебных деревьев и всё такое. Нас пригласили в дома местной и немецкой знати. Однажды в жаркий день мы поднялись на холм, чтобы посетить дом Роберта Льюиса Стивенсона в Вейлиме. Мы навестили могилу писателя — он умер всего несколько лет назад, и на самом деле прикасался к столу, на котором (по словам нынешнего владельца дома) написал «Остров сокровищ».

Больше в Апии во время недельной стоянки заняться было нечем. Капитан сошел на берег и проводил время с губернатором в его саду, такая смена обстановки могла улучшить ему настроение. Ученые находились на берегу с различными заданиями, а большая часть команды получила увольнительные, так что корабль притих и мягко качался на якоре в бухте. На третий день после обеда Гаусс, Тарабочча и я получили приказ перевезти фрегаттенлейтенанта Берталотти на гичке в город для посещения дантиста. Как только мы двинулись по сверкающей воде, то увидели необыкновенное зрелище,двигающееся навстречу. Это директриса монастырской школы, сестра Розвита, наносила визит на наш корабль.

Она сидела под зонтиком в тростниковом кресле на каноэ с балансиром. Каноэ приводилось в движении шестеркой старшеклассниц. Все в одинаковых белых муслиновых платьях с высоким воротником, длинных белых перчатках и шляпках с вуалями поверх плотных кудрявых волос, но они гребли так, будто родились с веслами в руках, что, конечно же, истинная правда. Проплывая мимо, все заулыбались нам самым прелестным образом, а сестра Розвита подняла руку в приветствии, пронзила нас взглядом из-за очков в стальной оправе и произнесла: «Благослови вас Господь» с резким северогерманским акцентом. Они гребли к кораблю, а мы высадили лейтенанта на пристани. Он сказал, что процесс займет часа два, потому что нужно удалить зуб и обезболить газом, но велел ждать его на берегу, в бухточке рядом с городом. День был спокойным, но предсказывали плохую погоду, а бухта Апии могла стать очень неприятной в сильный ветер.

Некоторое время тому назад, в 1889 году, целая британо-германо-американскую эскадру разбило здесь тайфуном, единственным выжившим кораблем оказался английский шлюп «Каллиопа», сумевший вырваться в

море благодаря подвигу моряков, о котором до сих пор с трепетом рассказывают в морских кругах.

Мы бросили якорь в тихую воду и настроились на долгий скучный день, разглядывая рыбу, плавающую под нами на фоне кораллового песка. Но через несколько минут над водой разнеслись голоса, голоса юных девушек. Мы осмотрелись. Оказалось, что это девочки из монастыря, они гребли к нам на каноэ. Похоже, сестра Розвита, посещающая «Виндишгрец», не желала оставлять свою молодую и очень симпатичную команду пришвартованной у борта, беззащитной перед обольщением и моральной опасностью со стороны похотливых моряков, и приказала им грести к берегу и там ждать сигнала. Девушки — примерно моих лет — были взволнованы возможностью произвести на нас впечатление своим немецким, неплохим, кстати, не считая какой-то певучей интонации и тенденции произносить согласные Ф и В как П.

— Guten Tag Jungen, sprechen Sie Deutsch vielleicht? Доброе утро мальчики, вы говорите по-немецки?

— Конечно да. Вы ходите в школу в городе?

— Ну да, мы все теперь добрые немецкие католички — читаем молитвы, носим платья и больше не едим людей. — Все девушки покивали в знак согласия. — Но что вы, бедняжки, делаете здесь совсем одни? Наверное, вам о-о-очень грустно.

Девушки забормотали и согласились, что нам наверняка очень грустно.

— Почему бы вам не искупаться, чтобы скоротать время?

— Может быть, они не умеют плавать? — подсказала другая девушка.

— О да, бедненькие белые мальчики не умеют плавать, они боятся воды. Не хотят, чтобы их прекрасная белая форма вымокла, или боятся подставить свою бледную германскую кожу солнцу.

Одна девушка брызнула в нас веслом. Гаусс плеснул в ответ.

— Мы не немцы, мы австрийцы. И умеем плавать не хуже вас. Готов поспорить, что вы уже забыли, как плавать, в этих-то дурацких длинных платьях, пока торчите целыми днями взаперти в монастыре со старыми высохшими монашками. В смысле, кто слышал о таком, чтобы в Южных морях носили перчатки и шляпки, садясь на весла в каноэ?

— Ах ты, чудовище! Как ты посмел такое сказать!

Остальные заворковали, соглашаясь с ней и отвергая клеветнические измышления.

— Я покажу вам, кто умеет плавать, а кто нет.

Она сорвала шляпку, сдернула перчатки, потом прямо под нашим

ошеломленным взором начала расстегивать платье.

— Давайте, девочки, покажем им!

Они и показали. Выпучив глаза, мы, не веря в происходящее, таращились на то, как они снимают шляпки, перчатки и платья. Больше на них не было ничего. Сначала шквал белого, затем мелькание шести гибких тел цвета корицы, с длинными черными волосами, падающими на плечи. Потом всплеск, всплеск, всплеск, они нырнули в воду, как группа тюленей, оставив полное каное сброшенной одежды.

Мы в изумлении вертели головами. Куда они подевались? Прошла минута, вторая. Появились ужасные мысли: может быть, мы каким-то образом оскорбили их честь своими шутками и вынудили смыть позор самоубийством, ведь говорят, что японцы убивают себя при малейшем унижении? Внезапно на поверхности показалась голова, затем еще две и еще три. Они смеялись и совсем не запыхались после долгого периода под водой.

— Ну что, австрийские мальчики, умеете так плавать? Спорим, что нет. — Она повернулась к остальным мокрым головам. — Думаю, что это не одежда, это их настоящая кожа. Европейцы никогда не снимают одежду, она к ним уже приросла.

Они засмеялись и начали брызгать в нас, затем перевернулись и ушли под воду, качнув задами в насмешку.

— Вот так, значит, вы думаете? — закричал им Гаусс. — Мы вам покажем. Давайте, Прохазка, Тарабочча — на карту поставлена честь императорского и королевского флота! Он сдернул с себя куртку. Мы тоже разделись и через несколько мгновений погрузились в море.

Для чеха я был неплохим пловцом, Гаусс и Тарабочча — превосходными. Но по сравнению с самоанскими девушками мы едва прошли стадию лягушатника. Казалось, они представляют собой нечто среднее между человеком и дельфином, судя по скорости и способности находиться под водой. Конечно, они были хорошо сложены, но ни у одной не было крупной грудной клетки — думаю, постоянное плавание с детства немного изменило их физиологию, что теперь позволяло им находиться под водой несколько минут подряд.

Раз за разом я хватал ртом воздух и нырял, открывал глаза в жалящей соленой воде и видел впереди в голубой дали мерцающую коричневую фигурку, старался ухватить её, но не мог. Иногда они дразнились, позволяя коснуться лодыжки, прежде чем взмахнуть ногами и устремиться вдаль. Но в основном мы выныривали на поверхность, задыхаясь и захлебываясь воздухом, и видели смеющуюся девушку, подсказывающую на воде в

нескольких метрах от нас, на которую, по-видимому, девяносто секунд под водой совершенно никак не повлияли, она показывала язык и призывала ее поймать.

Должно быть, это длилось минут десять, по истечении которых я почувствовал себя неуютно из-за воды в носовых пазухах. Я снова всплыл и перед залитыми водой глазами разглядел одну из девиц, пристроившуюся у носа каноэ и насмехавшуюся надо мной. Я выпустил изо рта струю воды и со смехом протёр глаза.

— Попалась, маленькая распутница, наконец-то ты устала и... О боже...

Это оказалось не их каноэ, а один из наших восьмиметровых катеров. И в нём находилась не самоанская девочка в бантах, а линиеншиффслейтенант Свобода с багровым от ярости лицом.

— Прохазка, тупой ты ублюдок, чем, черт бы тебя забрал с потрохами, вы сейчас заняты?

— Разрешите доложить, герр лейтенант, эти девушки вызвали нас на соревнования по плаванию... Они заявили, что мы не сумеем их поймать, потому что австрийцы не умеют плавать... Честь мундира...

— Заткнись, идиот! Честь мундира? Ты понимаешь, что пока вы с голыми жопами резвились вместе с этими потаскушками, сестра Розвита наблюдала за вами в подзорную трубу? Сейчас она в офицерской кают-компании, и доктор держит бутылочку нюхательной соли у её носа. За это старший офицер вырвет вам кишки. Одевайтесь и быстро на борт. Вы все арестованы.

Так что мы оделись, а монастырские девушки с грустью попрощались, помахав нам вслед и поглядывая через борт своего каноэ. Они знали, что раз уж они получают нагоняй, когда сестра Розвита отведет их обратно в монастырь, то нам влетит втройне, когда по приказу Свободы мы вернёмся на борт корабля.

И они оказались правы — мы получили страшную выволочку от старшего офицера. Одно хорошо — Микулич находился на берегу, в доме плантатора, и эту должность временно занимал линиеншиффслейтенант Залески.

— Вам на редкость повезло, что сегодня на посту я, юные кретины. Если бы это был линиеншиффслейтенант Микулич, он бы уж точно привязал вас к мачте и исполосовал в лоскуты, невзирая на устав. Так, давайте посмотрим. Вы покинули вверенную вам лодку, я знаю, она стояла на якоре, но всё равно, и своим поведением дискредитировали дом Габсбургов, честь офицера императорского и королевского флота и доброе

имя своего корабля. Что вы можете сказать в свое оправдание?

— Со всем уважением, герр шиффслейтенант, — ответил я, — на самом деле мы как раз пытались защитить честь флота и офицеров от наглого поклепа со стороны представительниц неевропейской расы. Не будь они девушками, и если бы мы находились в Фиуме, а не на Самоа, то пришлось бы вызвать их на дуэль или хотя бы отстегать хлыстом.

Залески цыкнул зубом.

— Справедливо, Прохазка, справедливо. Но вы ведь не вчера родились. Австрия — главная католическая держава Европы, а дом Габсбургов — мировой лидер среди католических династий, главный хранитель веры на земле уже пять столетий. И как будущие австрийские офицеры, вы не должны скакать с голым задом перед монастырскими послушницами на виду у их наставницы. Так что не ждите, что это сойдет вам с рук, даже если вынудили вас на это маленькие затейницы. Когда сестру Розвиту везли на берег, она изрыгала громы и молнии, угрожая пожаловаться губернатору, что мы пытались развратить ее девочек. — Он умолк и уставился на нас троих прищуренными черными глазами, а мы вытянулись по стойке смирно. — Это правда? Вы собирались... чем-то с ними заняться?

— Разрешите доложить, герр шиффслейтенант, — сказал Гаусс, — еще как. Они такие милые и не стали бы раздеваться перед молодыми людьми, если не ожидали бы чего-нибудь такого.

— И получилось?

— Разрешите доложить, никак нет, герр шиффслейтенант. Уж больно они быстрые в воде. Честно говоря, самоанцы плавают как рыбы. Мы пытались загнать их к берегу, а потом в кусты, но тут появился линиеншиффслейтенант Свобода.

— Ясно. — Залески задумчиво погладил усы. — Ладно, учитывая ваш рассказ, я объявляю вас виновными в серьезном проступке и приговариваю к пяти дням ареста в кандалах, на хлебе и воде. А также к дополнительным двум дням ареста за недостойное моряка отсутствие предприимчивости. Слишком быстрые в воде, видите ли. Да я вдвое вас старше, но окажись на вашем месте, поймел бы каждую, даже если бы потом меня унесли обратно на носилках. Ну правда, шестеро девушек на вас троих — всего по две. Даже не знаю, что за молодое поколение растет. Свободны.

Есть такая поговорка, кажется испанская: «Бери, что хочется, только плати за это». Мы заплатили семью душными, темными, испускательными днями на затхлой воде и корабельных сухарях в недрах корабля, в натирающих запястьях и лодыжки кандалах, пытаюсь спать на грубых

досках в обществе тараканов и с одним на всех ведром для отправления надобностей.

Но это стоило того, до последней капли. Молодость крепка, и затхлая смоляная тьма карцера освещалась для каждого из нас памятью о солнце и голубом море, юном смехе и блеске лоснящихся смуглых тел в воде. Для меня те несколько далеких полуденных минут остались столь же яркими, как и в тот день. В последующие годы память о том событии поддерживала меня в дни гораздо более мрачные, чем в той камере.

На восьмой день тяжкие оковы пали и нас выпустили, моргающих и жмурящихся от солнечного света. Корабль уже три дня как вышел в море, мы догадывались об этом по его движению. Изменилось и ещё кое-что — мы плыли без линиеншиффслейтенанта Залески. На пятый день стоянки в Апии он высадился на берег с геологом доктором Пюрклером и отрядом матросов. Доктору Пюрклеру понадобились образцы кристаллических пород с гор на острове, и добыть их можно было только взрывом.

Один из зарядов не взорвался. Залески пошёл посмотреть, в чём дело, и взлетел на пятнадцать метров вверх, когда динамит взорвался, потом приземлился без сознания, но с переломом черепа, несколькими сломанными ребрами и ключицей. В Апию его доставили на носилках.

Хирург монастырского госпиталя заявил, что угрозы жизни нет, но восстановление займет несколько недель. Условия ухода на корабле оставляли желать лучшего по сравнению с больницей, так что Залески остался там до выздоровления, а затем ему предстояло вернуться домой пассажиром на корвете Германского императорского флота, который вскоре отправлялся обратно после задания.

Итак, Микулич исполнял обязанности капитана, Свобода — старшего офицера, а три молодых лейтенанта — вахтенных офицеров. Что не так с этим кораблём? Мы уже потеряли пять офицеров. Если так пойдёт, простые матросы дослужатся до кают-компания задолго до того, как мы достигнем Суэца. С головой у капитана Фештетича все ещё было не в порядке, несмотря на прогулки по берегу в Апии, так что теперь мы все оказались на милости линиеншиффслейтенанта Деметера Микулича. Совсем не соблазнительная перспектива.

В добавок к этому оказалось, что пребывание «Виндишгреца» в Апии весьма дурно пахло. Не только из-за дела с монастырскими девушками сестры Розвиты, но и из-за научной стороны визита. Как мы узнали, на четвертый день стоянки профессор Сковронек попал на борт фактически под вооруженным конвоем, местный суд обвинял его в нарушении общественного порядка, его даже связали, чтобы не возбуждать толпу.

Выяснилось, что в попытках получить несколько черепов доколониальных самоанцев, он с помощниками углубился на несколько километров вглубь Апии и при свете дня начал раскопки на старом туземном кладбище, по-видимому, наплевав на то, что в нескольких сотнях метров находилась деревня.

Начали собираться аборигены, и от скорой расправы Сковронека спасло прибытие отряда местной полиции под руководством немецкого сержанта. Профессор требовал спасти репутации белой расы и сделать несколько залпов по толпе, а может, и сжечь к чертям всю деревню. Сержант отказался и вместо этого арестовал Сковронека за нарушение спокойствия и осквернение могил, а затем отвел его в камеру полицейского участка Апии, где профессор и провел ночь. Возмущение Сковронека не имело границ.

— Меня, герр лейтенант, одного из самых уважаемых ученых мужей Европы, увела в наручники банда босоногих полисменов в юбках под командованием какого-то назойливого хлыща фельдфебеля. Это чудовищно, возмутительно, оскорбляет дух рационального исследования и научных устремлений. Я требую, чтобы вы немедленно подали протест губернатору. В Апии есть австрийский консул, зачем он здесь находится, если не для подобных случаев?

— Я попрошу капитана написать ноту губернатору, герр профессор, — ответил Свобода, — но уж простите, лично я считаю, что местная полиция была в своем праве. Для островитян много значит память о предках, как я понимаю, и вряд ли стоило ожидать любезности по отношению к иностранцу, который тревожит дух их предков, раскапывая могилы.

— Полнейшая чепуха! Эти «духи» — полностью разоблаченный средневековый вздор. Наука доказала, что человек состоит из материи, и только, и если горстка каннибалов хочет это оспорить, то, как ученый, я готов убедить их в ошибке с помощью пулемета «Максим». Трудно найти лучший аргумент в пользу первичности материи, чем очередь из четырехсот патронов в минуту! Попробуйте выставить против этого дух!

На следующем отрезке нашей кругосветки, к западу от Самоа, мы снова вернулись к юго-восточным пассатам — на десять градусов южной широты и вдоль параллели к Соломоновым островам и Новой Гвинее. Мы надеялись, что идем к Австралии — всем хотелось увидеть чудеса этого материка и хвастаться дома (почти без преувеличения), что побывали на всех континентах. В кают-компании велись ожесточенные споры, считать ли Северную Америку отдельным континентом и сойдет ли отклонение от

айсберга за посещение Антарктиды, но юношеский энтузиазм не был склонен к излишнему педантизму в этих вопросах.

Однако этим мечтам не суждено было сбыться — мы прошли севернее Австралии, и, судя по самым надежным сплетням из камбуза, нам предстояло провести пару недель на Соломоновых островах, занимаясь исследованиями, а потом вернуться в Полу через Голландскую Ост-Индию и Суэц.

Теперь острова стали мельче, но гуще разбросаны по морю. Большинство из них — настоящие атоллы, с пальмами и коралловыми рифами. На южном горизонте проплыли зеленые холмы Фиджи, потом мы обогнули острова Гилберта и Эллис. Но мы туда не зашли, и лишь пятого июня бросили якорь в гавани Тулаги, «столицы», за неимением более подходящего слова, Британских Соломоновых островов.

Это были уже не залитые солнцем атоллы, а торчащие из моря поросшие джунглями горы, мрачные и довольно грозные, учитывая, что один остров — спящий вулкан. В Тулаги было так мало интересного, что зашли мы туда только ради пополнения запасов провизии. Но в тот вечер на корабль позвали отужинать британского торгового уполномоченного, мистера Вудфорда, причем в капитанском салоне, поскольку состояние Фештетича сочли приемлемым для приема гостей.

— Капитан, я слышал, вы держите путь на Новую Силезию?

— Совершенно верно, мистер Вудфорд. Венский Геологический институт поставил нам задачу исследовать гору Тетуба на этом острове.

— Лучше уж вы, чем я, вот что я вам скажу. Новая Силезия — последний ничейный остров в архипелаге, после того как немцы и французы договорились насчет острова Шуазель. Говорят, причина в том, что географы не могут решить, куда отнести остров — к Соломоновому архипелагу или считать прибрежным островом Германской Новой Гвинеи. Но истинная причина — туземцы, всем это известно.

— Почему? Они причисляют себя к аборигенам Новой Гвинеи или Соломоновых островов?

Вудфорд добродушно рассмеялся.

— Хотел бы я посмотреть на человека достаточно смелого, чтобы спросить их об этом. Европейские правительства не могут определиться, кому достанется остров из-за дрянных карт, это безусловно так. Но в основном это из-за того, что до 1880 года пропадали все корабли, пытавшиеся изучить местность. Даже рабовладельческие шхуны всегда избегали Новую Силезию. Но скажите, почему вы так заинтересовались островом?

— Как я понял со слов доктора Пюрклера, там может обнаружиться крупное месторождение высококачественной хромовой руды, которая необходима для выплавки стали, например, предприятию «Шкода» в Пльзене. Правительство попросило нас исследовать остров с прицелом на то, чтобы австрийские компании в будущем могли разрабатывать месторождение. Насколько я понимаю, гора Тетуба представляет собой просто-напросто глыбу из оксида хрома.

— Ясно. Что ж, на вашем месте, отправляясь на Новую Силезию, я бы больше следил за тем, чтобы головы моих солдат остались на месте, чем разыскивал хром.

— Аборигены настолько враждебны?

— Можно сказать и так. Лично я думаю, что необузданность жителей Соломоновых островов преувеличена, в особенности миссионерами, когда те возвращаются в Англию, чтобы пустить по кругу чашку для подаяний. Миссионеры и каннибалы явно нуждаются друг в друге. Я-то хожу по островам невооруженным и цел и невредим, хотя должен признать, было у меня два неприятных случая. Но есть два острова, на которые я не стал бы ступать с таким же легкомыслием. Это Малаита и Новая Силезия.

— В таком случае, на какое расстояние вы посоветуете нам зайти вглубь острова, мистер Вудфорд?

— Это зависит от того, сколько вы пробежите за тридцать секунд, капитан. Никогда не заходите дальше, если хотите оставить голову на плечах, и обязательно держите шлюпку кормой к берегу, чтобы быстро удрать при необходимости.

— Аборигены нападают на всех белых, которых заметят?

— Не всех. Там есть несколько миссионеров, в Понтиприте. Один из них католик, из ваших, отец Адамец, он служит в бельгийском религиозном ордене. Он там уже многие годы, и, хотя у меня нет связей с католической церковью, сам-то я англиканец, но вроде приличный человек. Раз в году он приезжает в Тулаги, и мы иногда болтаем. Он говорит на всех местных языках, и аборигены, похоже, ему доверяют, но даже он не осмеливается углубляться дальше берега. Что касается двух других миссионеров, они англичане и служат на Новой Силезии нашей церкви. Но сейчас они на ножах и настраивают островитян друг против друга. Сдается мне, скоро это приведет к беде, а когда такое произойдет, то какому-нибудь европейскому государству, вероятно нам, придется взять остров под контроль.

Услышав про католического миссионера, Фештетич наострил уши.

— Мистер Вудфорд, вы назвали католического миссионера «одним из

наших». Это потому что он католик, а Австрия — католическое государство?

— Нет-нет. Простите, что не выразился яснее. Он австрийский подданный, как я понимаю, или, по крайней мере, был таковым. Он из Богемии или что-то в этом роде.

— Благодарю, это весьма ценные сведения. Но, в целом, вы советуете соблюдать осторожность при посещении Новой Силезии?

— Я советую вам, капитан, вообще не посещать остров. Но если вы и впрямь готовы рискнуть жизнью, то, встав на якорь, не забудьте про усиленные ночные вахты, и под усиленными я имею в виду матросов с винтовками в руках и саблями за поясом. Туземцы — эксперты по части вырезания всей команды корабля в темноте. Несколько лет назад как-то ночью они захватили и подожгли французский шлюп. Половина экипажа отправилась на корм акулам, а вторая — на ужин дикарям. Один вождь говорил мне потом, что французы на вкус хуже англичан, наверное, из-за пристрастия к красному вину и кофе. Да, и сложите на палубе приличный запас камней и чугунных болванок — они пригодятся, чтобы сбрасывать на каное, когда вас будут брать на абордаж.

— Аборигены вооружены огнестрельным оружием?

— О да, в основном винтовками Снайдера. Но не волнуйтесь, они вряд ли могут в кого-то попасть, если только не в упор. Обычно они ставят прицел на шестьсот ярдов, чтобы, как они считают, винтовка стреляла дальше. Бояться вам надо дубинок и боевых топоров, а в наши времена — и динамитных шашек, скажите спасибо торговцам.

— По вашим словам выходит, что эти острова — очень опасное место, мистер Вудфорд.

— Так оно и есть, не стану скрывать, что некоторые аборигены ничуть не лучше белых мерзавцев, которые приезжают сюда, чтобы набрать рабов для плантаций в Квинсленде. Соломоны — не место для камеристок или преподавателей благородных манер. Но думаю, судя по всему, вы вскоре сами в этом убедитесь.

Вероятно, нам повезло, что в Тулаги было так мало интересного, потому что исполняющий обязанности капитана Микулич запретил сходить на берег — просто по своей прихоти. Теперь командующий кораблем дал понять, что собирается ужесточить дисциплину, по его мнению, разболтавшуюся за год плавания. Возможно, вскоре нам придется сражаться с настоящим врагом, и потому, объявил он, плавучий отель следует снова превратить в военный корабль.

С этого дня и все последующие мы скользили между островами в

тумане учебных стрельб и надраивали то, что и без того отскоблено почти до грани исчезновения, красили покрашенные накануне детали, смолили стоячий такелаж, пока он не стал похож на черное дерево, а все, незанятые чем-то другим, занимались строевой подготовкой с оружием. Тех же, кто не проникся новыми веяниями, ждало наказание греблей.

Это наказание люто ненавидели. Оно заключалось в том, что за корму спускали шлюпку с привязанными к ней двумя ведрами в качестве тормоза, и заставляли гребцов поспевать за кораблем, желательно под полуденным солнцем. Одну шлюпку чуть так не потеряли к северу от острова Гуадалканал, когда измученные гребцы потеряли из виду паруса корабля. Они не пришли в себя до следующего утра, и Микулич тут же отправил их на два дня под арест за попытку дезертирства.

В дальнейшем, наказанные гребцы были вынуждены не отставать от корабля, потому что со шлюпки убрали парус и бочки с водой, так что стоило им отстать, и они бы наверняка погибли от жажды или были бы съедены дикарями. Тем временем на борту корабля снова защелкал кнут — в руках самого Микулича или нескольких его доверенных помощников. В скором времени у каждого на плечах появились красные отметины.

Но мы сжимали кулаки и подчинялись. Флотская дисциплина жестока, но в те дни капитан на море был чем-то вроде Бога. Если боцман, старшина корабельной полиции или унтер-офицеры стали бы возражать или не подчинились, то как минимум их бы обвинили в нарушении субординации, и закончилось бы это карцером и парой выбитых зубов. А если бы мы поддержали их непослушание, то нарушение субординации превратилось бы в уклонение от воинского долга, так это значилось в императорском и королевском флоте.

А уклонение от воинского долга могло бы стать открытым мятежом, и власти всех цивилизованных стран начали бы охоту на нас, а поймав, отправили бы обратно в Австрию в цепях, где мы предстали бы перед трибуналом и скорее всего получили наказание в виде двадцати пяти лет каторги в какой-нибудь крепости.

Воинская дисциплина, вероятно, одно из самых опасных изобретений человечества. Как часто за свою жизнь я видел, как сотни взрослых мужчин лишаются разума и словно автоматы идут навстречу смерти из-за приказов какого-нибудь ничтожества, которое они могли бы раздавить пальцами, как блоху, если бы только пожелали, но это ничтожество стоит выше по рангу, и потому его приказы не обсуждаются. В старых империях Европы воинская дисциплина была, без сомнения, королевой всех наук и искусств. Фельдфебелю достаточно рявкнуть «Вперед марш!», и самые

умные философы, самые образованные профессора и самые утонченные композиторы взмахнут руками и зашагают вместе с остальными.

А что еще остается? Уклонение от воинского долга иногда приводит к успеху, но только не на море, когда оно автоматически становится мятежом, и только если все мятежники едины. Проблема с последним условием заключалась в том, что Микулич обладал подлинным чутьем задиры выискивать возможных зачинщиков неподчинения и изолировать их от остальных. Его любимый трюк — пройтись вдоль строя, выбрать одного человека наугад и приговорить его в пяти дням карцера в кандалах, на хлебе и воде. Унтер-офицеры уводили человека вниз, а Микулич обращался к остальным с мостика, расставив ноги, как маленький колосс.

— Эй вы, стадо свиней. Я только что дал ему пять суток карцера без причины. А теперь подумайте, что я сделаю с действительно виновным. Вот и славно. Боцман, разбудите тех, кто свободен от вахты, и займитесь строевой подготовкой. Сон вам только повредит.

И люди, только что сменившиеся с вахты, поднимались из гамаков и бежали на палубу, чтобы стоять под палящим солнцем. На плечо! Готовься! Цельсь! Огонь! На плечо! Готовься! Цельсь! Огонь! И так все оставшееся для сна время.

Но худшая выходка Микулича случилась тем утром, когда мы стояли на якоре у северного побережья Гуадалканала, на следующий день после отплытия из Тулаги. Предполагалось, что мы не задержимся там больше чем на пару часов — доктор Ленарт хотел собрать какие-то образцы растений. Тем не менее, времени хватило для ежедневного купания, чего мы были лишены на Тулаги из-за плохой погоды. Бухта была глубокой, с сильными течениями, и в воду опустили привязанный к двум брускам парус, соорудив импровизированный бассейн.

Мы с Гауссом несли вахту и должны были стоять рядом со шлюпкой, как требовал устав. Скучнейшее занятие — торчать на палящем солнце, пока другие плещутся и ныряют в воде десять минут, после чего освобождают место для следующей партии. Теперь дошла очередь последних. Одним из них был юноша по фамилии Крочетти, итальянец из Зары. Поскольку старший офицер был занят другими делами, Крочетти решил поплавать вне паруса. Он выплыл в бухту и погреб вокруг корабля.

— Крочетти, — прокричал я, — немедленно вернись в бассейн!

— А то что, поймал меня, любитель клёцек? Да кому вообще есть до тебя дело?

— Вернись, я сказал, а не то доложу вахтенному офицеру о неподчинении.

Неподчинении? Кому? Вы не офицеры...

Он вдруг умолк и застыл в воде с открытым ртом, лицо окаменело и стало воскового цвета.

— Ну что, дубина, теперь сдрейфил? Это научит тебя уважать кадетов. Гаусс пнул меня в бок.

— Прохазка, надо спустить шлюпку. Что-то не так.

Кое-что и впрямь оказалось не так. Когда мы втаскивали Крочетти через планширь, он казался на удивление легким, хотя ничего странного — ведь у него отсутствовала треть тела. Вся правая нога, и часть бедра отсечена по пояс. Когда мы втянули его и положили в шлюпку, во всем стороны яркими розовыми и оранжевыми спагетти брызнули внутренности, кровь фонтанировала, как из дырявой цистерны с водой. Мы были слишком ошеломлены, чтобы чувствовать отвращение. Гаусс попытался наложить жгут, но это было бесполезно: Крочетти все равно умер от потери крови, когда я склонился над ним, пытаясь записать последние слова для его родителей. А перегнувшись через поручни, за нами наблюдали молчаливые зрители. Среди них и линиеншиффслейтенант Микулич. Он не одобрил наше желание подняться с телом на борт.

— Поднять шлюпку в таком виде? Да вы похожи на плавучую мясницкую лавку.

— Разрешите доложить, герр лейтенант, матрос Крочетти умер.

— И поделом кретину за неподчинение приказам. А теперь просто выбросьте его за борт.

— Но, герр лейтенант...

— Заткнитесь и делайте, что велено. Корабль не для всякой чепухи вроде похорон и тому подобного. Если акула сожрала половину тела, то может забрать и остальное. Выкиньте его за борт, и пусть им займется акула, потому что если мне придется спускаться, то вы пожалеете, что акула сожрала не вас.

И мы выбросили останки бедолаги Крочетти в воду. Когда он пошел ко дну, мы увидели устремившийся к нему темный силуэт. По рядам собравшихся на палубе пробежал ропот — пока Микулич не повернулся к ним и не приказал заняться своими делами. Происшествие видели, наверное, с десятков человек, и в судовом журнале его отметили следующей записью: «Матрос Доминико Крочетти погиб во время купания, по всей вероятности, атакован акулой». И всё же это событие горячо обсуждалось тем вечером на нижней палубе.

В те дни моряки были религиозны, несмотря на привычку громко

ругаться и богохульствовать, и приказом избавиться от мертвеца без должной церемонии линиеншиффслейтенант Микулич объявил себя врагом Господа и всех матросов. Дай только срок — и беда обязательно придет.

На карте Новой Силезии деревня Понтиприт была отмечена как единственное поселение. Несомненно, в глубине острова имелись и другие, но раз внутренняя часть овального острова пометили как «пока еще неисследованная», для всего внешнего мира Понтиприт служил его столицей и портом. Когда утром девятнадцатого июня мы вошли в широкую, обрамленную кораллами бухту Понтиприт, всё выглядело вполне мирно.

Почти у самого берега вырастали покрытые джунглями холмы. Вдалеке, километрах в десяти, высился закрытый облаками пик Тетуба (две тысячи двести тридцать пять метров), а за ним — вершина горы Трампингтон (две тысячи четыреста пятьдесят три метра). Бухта Понтиприт лежала на юго-западной оконечности острова. Напротив бухты, на другом берегу пролива Шарнхорст, находилось едва видимое гористое побережье Новой Ирландии — части Германской Новой Гвинеи.

Сам же Понтиприт (кто знает, как он назывался на самом деле) располагался в устье залива — просто кучка хижин на берегу. На каждой стороне залива расположились еще две деревушки, по словам мистера Вудфорда — поселения двух соперничающих английских миссионеров, мистера Трайба и мистера Масгроува. Рядом с тем, что покрупнее (мы не знали, кому оно принадлежит), виднелась кокосовая плантация и приличных размеров деревянная пристань.

Но когда мы сошли на берег, сам Понтиприт оказался туземной деревушкой без каких-либо признаков европейской цивилизации, не считая церкви, которая отличалась от окружающих хижин из пальмовых листьев только крестом над крышей.

Не более сорока хижин на бамбуковых сваях — куда менее приятные с виду жилища, чем на Самоа, вытянутый в форме каноэ дом для похорон вождей (оттуда шел весьма странный запах), а также причал для каноэ — из песка и обломков кораллового рифа. Помимо этого, смотреть особо не на что — единственная улица, грязь, мухи, голая ребятня, несколько блохастых псов и множество длиннорылых свиней, копающихся в грязи — похожи на европейского дикого кабана, но менее волосатые. Отбросы выкидывали прямо на пляж, чтобы их унес отлив, включая мертвецов, как нам сказали, поскольку лишь вожди достаивались отдельной могилы.

Позже я читал, что моря вокруг Соломоновых островов во время

Второй мировой войны кишели акулами, тогда здесь шли бои между американским и японским флотом, и в воде плавала масса трупов. Могу лишь сказать, что когда я был там за сорок лет до войны, местные акулы уже прекрасно распробовали вкус человеческого мяса.

Сами жители Новой Силезии выглядели вовсе не кровожадными, ни в какое сравнение с высокими и статными самоанцами. В основном низкорослые, кожа почти черного цвета, они больше всего напоминали жителей Абиссинии — с торчащими при улыбке зубами и невероятно курчавой шевелюрой, к моему удивлению, часто рыжей, а иногда и совсем светлой, хотя сложно сказать — может, они специально осветляли волосы. Когда мы сошли на берег, они были достаточно дружелюбны, но не так приветливы, как самоанцы. У нас осталось чувство, что аборигены считали остров собственным государством и не желали отдавать его никакому другому. В газетах тех дней подобных туземцев описывали как «диких, ненадежных, угрюмых и упрямых».

Как вполне ожидалось от одного из лидеров современной науки, профессор Сковронек тут же нашел признаки низшего положения островитян.

— Местные туземцы, — сказал он собравшимся на юте слушателям, — относятся к самому низшему и дегенеративному расовому типу, известному науке. — Он повернулся к группе из четверых аборигенов, поднявшихся на борт по какой-то надобности. — Судите сами — они даже по росту ниже и слабее физически.

Мы посмотрели на улыбающихся туземцев — обнаженных, не считая набедренных повязок. Они были чуть ниже нас ростом, это верно, но совершенно не выглядели менее физически развитыми, как раз наоборот — весьма крепкими и мускулистыми.

— Сюда, милейший, — позвал профессор одного из туземцев. — Выпей этого доброго немецкого пива, оно поможет тебе окрепнуть. — Он протянул аборигену бутылку пльзенского светлого из наших и без того истощенных запасов. Потом повернулся к нам. — Давайте понаблюдаем, как наш туземный приятель справится с открыванием бутылки. Это будет прекрасная иллюстрация неразумности этого слаборазвитого вида из низших людей.

Туземец смотрел на бутылку пару секунд. Она была запечатана, а у него не было открывалки. Тогда он просто сунул горлышко между темными от бетеля зубами и отгрыз его, сплевывая осколки стекла в сторону, а потом залпом осушил содержимое. Определенно, это была впечатляющая демонстрация, но только не недостатка физического

развития.

Католический священник в Понтиприте и впрямь оказался австрийцем, как и говорил мистер Вудфорд. Мы убедились в этом во время первого визита на берег, когда мы с Гауссом отдали ему приглашение на ужин тем же вечером. Звали его отец Адамеч, или Адамец, как он называл себя теперь: чех из городка Иглау на юге Богемии. Но сейчас он уже не считал себя австрийцем, даже если когда-то считал. Крупный и благодушный очкарик хорошо за пятьдесят, в последний раз он видел Богемию почти сорок лет назад.

— Я здесь с миссией искупления, — сказал он в тот вечер в капитанском салоне, его немецкий с годами стал скрипучим и с запинками, но чешский акцент никуда не делся, — и наш орден — моя единственная отчизна. Я проходил обучение в Бельгии, в Лёвене, а потом приехал сюда... Когда это было? Кажется, в 1876-м. С тех пор я побывал в Европе всего однажды, в Марселе. Я знаю, что еще правит Франц Иосиф, но это всё, что мне известно об Австрии. Газеты мы здесь получаем нечасто, и только из Сиднея, с задержкой в несколько месяцев. Языки? Ну, как вы сами слышите, мой немецкий поистрепался, а чешский ненамного лучше. Начальство посещает меня где-то раз в полтора года, и мы разговариваем по-французски, а в остальное время я общаюсь на местных языках или на характерном для этих краев пиджин-инглише, его здесь называют «трепанговый» английский.

— Простите, что спрашиваю, но мне кажется странным, что австрийский священник ведет дела миссии на французском или испорченном английском, а не на немецком.

— Да с чего бы это? Господь проповедовал на арамейском, а святой Павел — на плохом греческом. Язык — всего лишь инструмент. На Реюньоне меня всегда поражало, когда французские чиновники отчитывали местных за то, что те говорят не на креольском, диалекте французского, который и сам — всего лишь диалект латыни. Что касается моего австрийского гражданства, то в последние годы я редко об этом вспоминал. Я родился и вырос в Богемии и был подданным Габсбургов, вот и всё, что я могу сказать по этому поводу.

— Но разве здесь, среди каннибалов и охотников за головами, вы не чувствуете себя в опасности без защиты европейского государства?

— Ни в малейшей степени. На самом деле я чувствую себя неуютно с европейцами. Христос проповедовал перед толпой с рыбацкой лодки, как я помню, а не с борта крейсера с пушками, нацеленными на побережье.

— И вы достигли чего-нибудь проповедями среди этих людей?

Мистер Вудфорд в Тулаги заявил, что они самые одичалые среди всех аборигенов Соломоновых островов.

Отец Адамец рассмеялся.

— Это напоминает одну табличку в брюссельском зоопарке: «Осторожно! Животное опасно — если на него нападают, оно защищается». Нет, я здесь провел большую часть своей жизни и должен признать, что сейчас куда меньше убежден в необходимости проповедей, чем, когда только что приехал. Видите ли, по нашим стандартам, эти люди примитивны, но во многих смыслах их общество сложнее нашего. Честно говоря, сомневаюсь, учитывая, как они воспринимают проповеди, что их менталитет сильно отличается от нашего. Например, взять прощение врагов. Всё их общество базируется на отмщении за плохие поступки и воздаянии за хорошие. Для них мысль простить за оскорбление столь же смехотворна, как для нас было бы, скажем, если бы суд объявил человека невиновным и отправил в тюрьму, или если избирали бы политическую партию, получившую наименьшее число голосов. Отпилите у стула ножку, и он рухнет. Нет, наша работа здесь затянется на десятилетия, за несколько лет не справиться.

— А как насчет омерзительных обычаев этих племен — каннибализма, охоты за головами и работорговли? Вы и с этим готовы смириться?

— Что касается каннибализма и охоты за головами, тут вы правы. Но когда вы убиваете на войне, то как поступаете с павшими врагами? Помню, пару лет назад я перевел местному вождю газетную статью об осаде Плевны: за день убито пять тысяч человек или что-то вроде того. Он просто усмехнулся и сказал: «Наверное, славно они попиrowали в тот вечер». Но в то же время, другие их обычаи я склонен оставить в покое, если они никому не мешают. Некоторое время, прежде чем приехать сюда, я жил на Таити и видел, что натворили там миссионеры, полностью искоренив местный образ жизни, а взамен не дав людям ничего, кроме воскресных школ. Неудивительно, что несчастные создания просто сворачиваются калачиком и умирают от отчаяния. Конечно, протестантские миссионеры попытались сделать это и на здешних островах. Несколько лет назад был один такой на острове Шуазель, он вроде убедил местного вождя отказаться от полигамии. Вождь устроил большой пир, а под конец отвел любимую жену и ее детей в сторонку, а остальных забил дубинкой. А на Бугенвиле один англиканский миссионер научил новообращенных играть в крикет. Игра им страшно понравилась, в особенности если вставить в битую акулью зубу. Во время одного матча

было убито и съедено несколько сотен игроков. Он длился три дня и закончился, только когда немцы прислали канонерку из Рабаула и обстреляли остров.

— Но отче, неужели вы и правда не хотите приобщить этих язычников к христианству и европейской цивилизации?

— Я бы серьезно над этим задумался, в особенности над тем, чтобы перечислять христианство и европейскую цивилизацию в одном ряду. Господь родился и умер в Азии, как мне известно, а не в Австрии. Что до распространения католической веры, то да, конечно же, я этого хочу, иначе не прожил бы здесь четверть века, но только в тех терминах, которые сумеют понять эти люди. Я хочу благословить их образ жизни, а не искоренить его или заменить дрянной копией Европы. Но как я уже сказал, эта работа затянется больше, чем на одну жизнь.

— Но ведь островитяне — дикари, тонущие в грубейшем варварстве и невежестве. Разве другие миссионеры придерживаются таких же терпимых взглядов на это, как и вы?

— Кто? Мистер Трайб и мистер Масгроув? Вряд ли они способны воспринимать что-то терпимо, особенно друг друга. И у них сложилось очень плохое мнение о католической церкви — они, например, объявили Папу римского антихристом. Я помню, как мистер Трайб работал над переводом Библии на тетубский, и в ней сатана переводился, как Папа. Правда, сейчас он изменил перевод и назначил на роль нечистого бедного мистера Масгроува.

— Эти англичане — непримиримые соперники?

— Можно и так сказать, хотя, приехав сюда пять лет назад, они были коллегами-миссионерами, работавшими в одной организации. Разошлись друг с другом они около двух лет назад. Я любезен с обоими и не встречаю в их вражду, особенно после того, как это сказалось на туземных племенах в глубине острова. Но не могу сказать, что добился у них уважения. Я так понимаю, вы собираетесь нанести им визит?

— Не совсем, отче, мы пригласили их на борт завтра вечером.

— Понятно. Что ж, приготовьтесь. Если хотите увидеть воплощение дикости острова Каннибалов, нет ничего лучше, чем пригласить этих двоих.

Глава шестнадцатая

СПАСИТЕЛЬНАЯ БЛАГОДАТЬ

На следующий день я убедился, что отец Адамец ни капли не преувеличил, описывая английских жителей Новой Силезии. В восемь склянок меня на гичке послали передать обоим миссионерам приветствия от капитана и пригласить вечером на борт «Виндишгреца» что-нибудь выпить. Первой моей целью стала миссия мистера Трайба, носящая название Спердженсвилль, на дальней стороне залива Понтиприт.

Пока мы гребли в сторону большого и крепкого причала, я отметил, что поселение состоит из пары десятков крытых пальмовыми листьями хижин, стоящих рядами, как казармы, деревянной церкви (что-то вроде садового сарайчика со шпилем наверху) и типового деревянного бунгало с верандой. Я также заметил за деревней довольно внушительную кокосовую плантацию. От котлов с копррой поднимался дым, а по бокам причала высились груды дурнопахнущей бурой субстанции, готовые к отправке.

За пляжем, по ту сторону пристани, что выходила к заливу, стоял большой красный щит с метровыми буквами. Надпись гласила: «Слуги, любите господ ваших и подчиняйтесь им, ибо они поставлены над вами». Не считая мрачного смысла, текст поразил меня тем, что находится именно в этом месте, ведь проплывающие мимо на каноэ туземцы уж точно не умеют читать на английском, да и на любом другом языке.

Мы причалили, я оставил в шлюпке четырех матросов с винтовками и саблями, просто на всякий случай, и направился к бунгало – по всей видимости, дому мистера Трайба. Идя по деревне, я увидел несколько туземок, одетых не по местному обычаю, в одни набедренные повязки, а в на редкость отвратительные платья, как я выяснил позже, они назывались «хаббарды», их шили дамочки в английских церквях специально для голых язычниц. Все платья, похоже, были одного размера и состояли из сшитого в форме дымовой трубы куска ткани, украшенного бахромой, как на шторах или абажуре.

Похоже, женщины стыдились своей одежды, во всяком случае, при виде меня они в ужасе разбежались. Одна из них дремала на ступенях бунгало, я подошел и спросил, понадеявшись (и как выяснилось, не

напрасно), что трепанговый английский создан по тому же принципу, что и крио в Западной Африке:

— Пожалуйста, где мисса Трайб?

Она пошевелилась и тупо уставилась на меня: среднего возраста и выглядела болезненнее, чем аборигены из Понтиприта: на лице прыщи, рахитичное тело. Она встала и похромала к веранде, указав на боковую дверь. Я постучал. Тишина. Я снова постучал. Наконец, дверь приоткрылась на щелочку, и выглянул сердитый мужчина в рубашке без воротничка и с повязанной платком головой.

— Чего тебе надо?

— Доброе утро. Я имею честь беседовать с мистером Трайбом?

— Для тебя — преподобный Трайб, — огрызнулся он. — А ты кто такой?

— Кадет Отто Прохазка с австрийского парового корвета «Виндишгрец», стоящего сейчас в бухте Понтиприт. Капитан шлет приветствия и надеется, что вы доставите ему удовольствие своим присутствием на ужине сегодня в половине восьмого на борту корабля.

Я протянул ему приглашение. Он разорвал конверт, вытащил карточку и стал читать ее, водя пальцем по строкам и молча проговаривая слова, его брови поднялись в нарастающем изумлении. Наконец, он посмотрел на меня.

— Что всё это значит, юнец? Это какая-то бессмыслица. Предупреждаю, если ты пытаешься меня одурачить...

Я взял карточку из его руки.

— Ах да, простите, это потому что написано по-французски. Позвольте мне перевести. «Капитан корвета, граф Ойген Фештетич фон Центкатолна, имеет честь пригласить мистера и миссис Сэмуэль Трайб...

— Преподобный Сэмуэль Трайб...

— Прошу прощения... «преподобного Сэмуэля Трайба на прием на борту императорского и королевского парового корвета Австро-Венгрии «Виндишгрец» в семь тридцать двадцатого июня 1903 года. ОВП».

Он подозрительно покосился на меня.

— Что значит ОВП? Это что-то иезуитское? Признавайся.

Настал мой черед поразиться. Но потом забрезжил смысл.

— Прошу прощения, преподобный, но вы, вероятно подумали про Общество святого Викентия де Поля ^[30]. Нет, это означает лишь «Ответьте вручившему послание».

— Вы француз, верно? Я слышал, что у Понтиприта стоит корабль. Должен предупредить — я британский евангелист протестантской миссии

и не собираюсь терпеть с вашей стороны всякий вздор вроде...

— Нет-нет, уверяю, мы не французы. Наш корабль принадлежит австро-венгерскому флоту и здесь в научной экспедиции. Мы проведем на Новой Силезии неделю или около того, чтобы наш геолог изучил остров.

Он фыркнул.

— Ну да, так я и поверил. Вы же паписты, верно? Вас пригласил сюда этот подлец и отступник Адамец, разве нет? Так вот, позвольте сказать прямо: я не собираюсь этого терпеть, ни за что. Кстати, а где вообще Австро-Венгрия?

— Около Германии, южнее и восточнее.

— Так вы паписты?

— Простите?

— Вы поклоняетесь Папе, Деве Марии, кардиналам — вот этому всему?

— Австро-Венгерская империя — католическое государство, но это не имеет отношения к нашему пребыванию здесь.

— Чепуха! Вы явились сюда, чтобы крестить черномазых, ведь так? Признайтесь честно, под палубой у вас куча иезуитских священников только и ждут, чтобы высадиться на берег. Я читал про таких как вы — вероломная вавилонская шлюха, пьянство, блуд и кровь святых. Вы хотите приехать и сжечь всех нас на кострах, разве нет? А потом притащить своих монахов и монахинь и настроить повсюду монастырей. Да уж, знаю я ваши игры, не волнуйтесь. Просто передайте вашему капитану от меня — реформистская евангелическая баптистская миссия из Пенджа не спускает глаз с римских шалав и их гнусных поступков.

Я просто обалдел от такого каскада желчи. Несмотря на многочисленные недостатки, врожденная лень и нежелание будить спящую собаку делало Дунайскую монархию весьма терпимой в вопросах религии.

— Прошу вас, преподобный Трайб, уверяю, что ваши подозрения совершенно лишены основания. У нас на борту лишь один католический священник, корабельный капеллан, и признаюсь честно, я сомневаюсь, что он смог бы кого-либо обратить. Он приятный человек, но лейтенант Залески говорит, что если бы обращение германцев доверили отцу Земмельвайсу, то они бы до сих пор поклонялись камням и дубам.

Он озадаченно уставился на меня. Несмотря на молодость, я внезапно осознал, что в нашем мире перед некоторыми людьми лучше не выписывать подобные пируэты на льду, их мозг не в состоянии уловить иносказания. Я уже понял, что преподобный Трайб из реформистской евангелической баптистской миссии — человек упертый, не то чтобы

плохо воспитан, но явно мрачная личность. Он хмыкнул.

— Хммм... Вполне возможно. Что ж, юноша, можешь передать своему капитану, что мы здесь не заключаем сделок с католиками. — Я заметил, что он произносит «кафоликами». — Я прекрасно знаю, что они вечно мутят воду, подбивают черномазых против тех, кого поставил над ними Господь. Так вот, я не собираюсь этого терпеть, ясно? Марта!

Из бунгало раздался робкий голосок:

— Да, преподобный?

— Принеси мне сапоги и шляпу на выход. Я собираюсь докопаться до сути. Могу поспорить, что за всем этим стоит подонок Масгроув.

Появилась женщина с парой высоких коричневых сапог и тропическим шлемом. Она была белой, тощей и болезненной на вид, в длинном платье и чепце вроде тех, что я видел на картинках в детских книжках. Сказать, что она была похожа на мышь, значило бы оклеветать мышей.

— Вот, преподобный.

Она положила сапоги и шлем у плетеного кресла, украдкой покосилась на меня, а потом застыла, опустив глаза и сложив руки, в ожидании дальнейших приказаний. Мистер Трайб натянул сапоги и шлем и отпустил ее коротким кивком. Он сошел по ступеням веранды и назидательно покачал в мою сторону пальцем.

— Видимо, об этом типе вы еще не слышали, это уж точно. Я десять лет тружусь здесь на ниве Господа среди язычников, заставляя черномазых прикрывать наготу и познавать ценность тяжелого труда, и не позволю всякому сброду явиться сюда и всё испортить. Этот ваш поп Адамец разрешает женщинам в Понтиприте шлаться с голыми задами и ни слова не говорит, как я слышал. Да что это за религия такая?

Он ушел, а я остался на веранде. Прежде чем покинуть это место, я подумал, что этикет требует от меня передать капитанские приветствия и миссис Трайб, которая так и не появилась во время этого разговора. Я сунул голову в открытое окно, чтобы спросить о ней служанку, которая принесла сапоги и шлем.

— Простите, не подскажете, где я мог бы найти миссис Трайб?

Она шмыгнула носом и вытерла глаза передником.

— Я миссис Трайб.

Возвращаясь к пристани, к ожидающей там гичке, я обратил внимание на группу рабочих с плантации, возвращающихся из рощи с мотыгами на плечах. Пока они шаркали в пыли, я заметил, что они скованы лодыжка к лодыжке.

После полученного в Спердженсвиле приема я опасался самого худшего, приближаясь к пристани миссионерского аванпоста мистера Масгроува под названием Реховоф, на другой стороне бухты Понтиприт, милях в двух от места предыдущего визита. Приблизившись к берегу, я тоже увидел здесь красный щит, обращенный к морю. На этом было сказано, что все неверные отправятся в геенну огненную на веки вечные. Учитывая подобное приветствие, я имел все основания считать, что встречу даже более грубый прием, чем у преподобного мистера Трайба.

Опасения только увеличились, когда мы приблизились к пристани и оказались лицом к лицу с несколькими туземцами в одних набедренных повязках, но с винтовками и копьями. Пока они вели меня к миссии, я отметил, что она окружена колючей проволокой и мешками с песком. На некотором возвышении стоял пулемет Норденфельта. Даже в 1903 году он годился только для музея, но вряд ли находился здесь для красоты.

Прием на пристани был довольно прохладным, хотя туземцы вели себя вполне любезно. Но сам мистер Масгроув в своей хижине повел себя очень сердечно. Комнату охлаждал потолочный вентилятор, который крутил абориген, дергая за веревку снаружи. Мистер Масгроув оказался румяным, бочкообразным человеком с бесформенным лицом и беспокойными водянистыми глазами, какие можно иногда увидеть у слегка недоразвитых людей.

Коническую голову венчал куст кудрявых волос, от постоянного удивления челка торчала вверх. Он жил здесь уже пять лет, как я понял, но так и не привык к жаре. В любом случае, если мистер Трайб принимал меня в рубашке с длинными рукавами, мистер Масгроув носил потный жилет с висящими подтяжками.

— Садитесь, садитесь, молодой человек, и давайте возрадуемся Господу, чье всевидящее Провидение привело вас в наше обширное сообщество избранных Богом людей.

Слуга-туземец принес чай и печенье и поставил на стол. Чай разлили, мне поднесли печенье. Но мистер Масгроув несколько минут сидел молча и без движения, закатив глаза, как будто пытается вспомнить что-то важное. Мне следует что-то сделать? Я не был знаком с английскими традициями и, возможно, в соответствии с этикетом во время чая я должен передать печенье или что-то в этом роде. Я вежливо покашлял. Это как будто спустило какую-то пружину в его голове. Он разразился длинным бормотанием.

— Благодарим тебя, Господи, за бесчисленные милости твои и благодать, за то, что ты свел нас вместе, чтобы разделить плоды сии и

спасительную любовь к грешникам...

И так далее, и тому подобное на протяжении десяти минут, пока чай не остыл и не покрылся неаппетитной бурой пленкой. Это был чай с молоком — естественно, из консервной банки — и, хотя мне не впервые предлагали этот странный напиток (в Кейптауне нас им буквально пичкали), даже горячим он казался мне малоприятным. Но я находился в гостях, и потому сделал вид, что чай мне нравится.

— А теперь, юноша, чем могу быть полезен?

— Ах да, простите, мистер Масгроув. Я пришел, чтобы передать приветствия капитана и пригласить вас на прием на борту корабля завтра вечером в половине восьмого.

Я вручил ему конверт. Масгроув взял его и уставился отсутствующим взглядом.

— О каком корабле вы говорите, юноша?

Произнес он это как «корабеле». Я тут же понял, что этому человеку нужно рассказывать всё по буквам. Уж точно каждый туземец на острове знал о нашем прибытии, ведь сюда заходит только шхуна за копррой с плантации Спердженсвиля.

— Об австрийском паровом корвете «Виндишгрец», который сейчас стоит на якоре в бухте. Мы пробудем здесь около недели, чтобы провести научные исследования.

Несколько мгновений он смотрел на меня, вытаращив глаза, а потом упал на колени и стиснул руки, что-то бормоча себе под нос. В таком положении он оставался минут пятнадцать, пока я опять не начал гадать — может, мне следует что-то сделать. Даже не считая всего прочего, я был совершенно сбит с толку этим показным благочестием. Австрия, конечно, же христианское государство, но на практике христианство оказывало на людей столь же малое влияние, как астрономия, и значительно меньшее, чем астрология.

Люди посещали мессы по воскресеньям и церковным праздникам, раз в квартал ходили на исповедь, на Пасху (самые благочестивые) воздерживались от визитов в дома с дурной репутацией — вот, собственно, и всё. Большинство австрийцев называли бы в ряду церковных праздников и день рождения императора восемнадцатого августа.

Наконец, англичанин поднялся.

— Что ж, юноша, можете передать агентам сатаны в Австралии, что Божьи люди острова Новая Силезия готовы. Разве не написано в Откровении Иоанна Богослова, что зверь, великий грешник, придет из далекой южной страны?

На это мне нечего было ему возразить, хотя я смутно помнил, что Антихрист придет с севера. Но я все-таки решил, что стоит его поправить.

— Простите, мистер Масгроув, но я австриец, а не австралиец.

Он уставился на меня беспокойными бледными глазами.

Австрия? Австралия? Я почти что слышал, как его мозг пытается разделить эти два понятия. Потом он вкрадчиво улыбнулся.

— Ну да, конечно же, Австрия, не Австралия, теперь я понимаю. Вы должны меня простить — я здесь уже пять лет, а хинин через некоторое время начинает плохо сказываться на слухе. Разумеется, я не жалею, надеюсь, вы даже на секунду так не подумали. Да будет так, Господь! Что это за прием? Молитвенное собрание?

— Ни в коей мере, мистер Масгроув. Всего лишь небольшой прием, который капитан проводит для всех европейцев Новой Силезии — хотя, конечно, вас здесь всего трое.

Он посмотрел на меня из-под наполовину прикрытых век.

— А змей будет?

Я на мгновение задумался, о каком змее речь, возможно, это имя какого-то местного вождя, а потом сообразил, что он имеет в виду своего коллегу, преподобного Сэмуэля Трайба из миссии Спердженсвиль.

— Мистер Трайб действительно приглашен, вместе с миссис Трайб. Казначей не мог написать её полное имя на приглашении, поскольку не был уверен, что миссис Трайб вообще существует.

Масгроув лукаво рассмеялся.

— Да она и сама не уверена, если вы меня понимаете. Была обычной шлюхой, пока он ее не подцепил. Нет, юноша, если собираются прийти Трайб и этот римский богоотступник Адамец, я не буду даже обсуждать возможность моего присутствия. «Не склоняйтесь под чужое ярмо с неверными», говорил апостол. Кстати, а будут ли на этом вашем «приёме» подаваться пища духовного характера? Он произнес слово «прием» так, что оно прозвучало как «оргия» или «пир каннибалов».

— Конечно, будут угощения и музыка. Оркестр нашего корабля высоко ценится и играл для взыскательной аудитории везде, где мы останавливались.

Он поджал губы.

— Ни капли алкоголя не коснётся моих губ, я не стану посещать мюзик-холлы или слушать нечестивые песенки, это обет, который я принял, вступив в общество Богоизбранных в Пендже.

— Следует ли это понимать, мистер Масгроув, что вы не сможете присутствовать?

Он на секунду задумался, а затем снова упал на колени в молитве. Теперь это продолжалось добрых полчаса, я неуклюже переминался с ноги на ногу, пока он кричал и бормотал что-то про себя. По комнате пролетела муха и уселась ему на нос. Я задумался, не стоит ли смахнуть её, но, казалось, она его не беспокоит, так что я не сдвинулся с места. Наконец он встал.

— Ко мне воззвал Святой дух. Я должен посетить ваш корабль, проповедовать команде и крестить ее. На какое время назначен прием?

— Завтра в половине восьмого, мистер Масгроув. Но что касается крещения команды, боюсь, вся она уже крещеная, не считая нескольких евреев. У нас на борту католический капеллан, и по воскресеньям мы посещаем мессу. Уверен, вам стоит крестить островитян, а не европейцев.

Он поковырял в ухе пальцем.

— Ибо не проповедуй мудрость мира сего. — Он вытащил палец из уха и вытаращился на меня, как умственно отсталый. — Кто не с Господом, тот против него. Никто не обретет спасения в великий и ужасный день Господа, кроме тех, кого помазали кровью агнца. Крестить островитян? Да проще разговаривать с фонарными столбами, чем с этими голыми мерзавцами. Нет, все туземцы, чьи имена вписаны в Книгу жизни агнца, уже со мной и презрели зло.

— То есть отказались от каннибализма и охотой за головами?

Он уставился на меня так, будто я не в своем уме.

— Нет, юноша, отказались от реформистской евангелической баптистской миссии — этого мерзкого любителя шлюх Трайба и его темных делишек. Я приехал сюда пять лет назад, чтобы стать его партнером по спасению заблудших душ, но обнаружил, что он всего-навсего устроил плантацию копры. И тогда однажды ночью на меня снизошел Дух святой — ангел с огненным мечом и открытой книгой. И сказал он мне: «Восстань, Джордж Масгроув, отвергни тех, кто не почитает агнца, и уведи их по водам залива в новое место, и нареки его Реховоф, и я соберу там всех благочестивых людей, избранный народ, и созову из них армию, которая сокрушит врагов моих и вселит страх в сердца всех смертных». И я восстал, как велел Дух святой, и пришел сюда. А на следующий день я получил письмо, где говорилось, что Дух святой снизошел и в сердца тех, кто живет в Пендже, они отринули неверных и стали называться свободными реформистскими евангелическими баптистами. И с того дня и на этом острове, и в Пендже многие из тех, кто жил во тьме, узрели свет.

— Понимаю. Означает ли это, что ваша миссия проповедует другую

религию, не ту, что мистер Трайб?

Меня это страшно озадачивало: в габсбургской монархии большинство было католиками, а остальные — православными или иудеями, лишь горстка протестантов в Венгрии и несколько редких исламских поселений на Балканах. Но внутри этих групп, которые формировались скорее по национальному признаку, чем по религиозному, не было никаких разногласий относительно веры.

Мысль о религиозных сектах, постоянно делящихся, как амеба, и яростно предающих друг друга анафеме, казалась мне очень странной. Но как только я задал вопрос, то понял, что мне не следовало этого делать: мистер Масгроув счел своим долгом развеять мое невежество.

Лишь ближе к вечеру мне удалось ускользнуть и доплестись до ожидающей у пристани гички, матросы развалились на банках, обессилев от солнца и скуки. Предыдущие пять часов были похожи на бесконечный клубок — нескончаемый монолог мистера Масгроува, он объяснял мне причины раскола между реформистскими евангелическими баптистами и свободными реформистскими евангелическими баптистами.

Должен признать, большая часть объяснений всё равно прошла мимо меня, я сидел с пустым взглядом перед мистером Масгроувом, изливающим на меня эту теологическую лавину. И не сказать, что он излагал это с воодушевлением и пылом — это было бы, по крайней мере, забавно. Но он бубнил всё тем же ровным тоном, почти не делая пауз, бесконечно цитируя библейские страницы, чтобы привлечь мое внимание к тем или иным местам, подчеркнутым красным карандашом.

Он прерывал речь, лишь чтобы произнести «аминь» или «хвала Господу», а всё остальное было на том странно высокопарном языке, который много лет спустя я слышал из уст догматичных марксистов — характерная речь людей, думающих не словами и образами, а скрепляющих готовые идеи подобно листам гофрированного железа при строительстве хижины.

Но несмотря на монотонный ненатуральный тон, идеи (по крайней мере, те из них, которые я уловил, пока на меня обрушивался этот поток) выглядели совершенно безумными. Насколько я понял, центральной была та, что три жабы, выходящие из уст лжепророка в Откровении Иоанна Богослова, одновременно составляли Святую троицу, а беспощадный Бог назначил мистера Масгроува и его сотоварищей донести до мира эту доктрину, достигнув в процессе того, что они называли «относительным бессмертием» — этого я совершенно не понял. Всё это было крайне запутано, но в конце концов я понял, что, если Масгроув прав, то в день

Гнева Господня, всем тем, кто не стал последователем свободных реформистских евангелических баптистов, придется туго.

Похоже, капитану и офицерам завтра предстоял долгий вечер. Я надеялся, что мне не придется прислуживать за столом в салоне.

На следующее утро я доставил в Понтиприт послание отцу Адамцу. Он принял меня в скромной и единственной комнатке своей хижины около церкви. Хижина ничем не отличалась от туземных, за исключением скамеечки для молитв из красного дерева, книжного шкафа, закрытого цинковой сеткой, чтобы книги не сожрали насекомые, старомодной французской олеографии с изображением Сакре-Кёр и красной масляной лампы рядом с ней. Отец Адамец срезал верхушку свежего кокосового ореха, вылил молоко в стакан и предложил мне. Мы разговаривали почешки, и он обрадовался возможности попрактиковаться в языке после стольких лет забвения.

— Итак, молодой человек, вы уже познакомились с мистером Трайбом и мистером Масгроувом, как я понимаю?

— Да, преподобный, вчера я доставил им приглашения.

— Они вели себя вежливо?

— Вполне вежливо. Но мистер Трайб вел себя резковато, и, кажется, он думает, что мы часть католического заговора и собираемся захватить остров. Мистер Масгроув вел себя учтиво, но бесконечно рассказывал о богословии, в котором я разбираюсь с большим трудом.

— Тогда вы легко отделались. Боюсь, они совершенно непредсказуемы. Иногда дружески меня приветствуют, а иногда выкрикивают оскорбления и угрожают карами небесными мне и моей церкви. Я часто думаю, что это как-то связано с фазами луны.

— Подозреваю, отче, они относятся к вам дружелюбно, когда особенно враждебно настроены друг к другу.

— Вполне возможно. Конечно, когда-то они трудились вместе, это было года три назад, и тогда они относились ко мне и нашей церкви крайне недружелюбно. Но с тех пор как они рассорились, и мистер Масгроув основал собственную миссию, всю желчь они приберегают друг для друга и постоянно пытаются воровать друг у друга обращенных.

— А много таких?

— У мистера Масгроува — да. Но не у мистера Трайба. Это грустная история. Десять лет назад он приехал из Англии, чтобы основать здесь миссию от имени маленькой секты протестантских еретиков из лондонских предместий. Но у секты было туго с деньгами, и для поддержки миссии он заложил плантацию копры. Работали на ней рабы, сбежавшие от

внутренних племен острова или с других островов. Плантация копры процветала, он договорился с закупщиком из Сиднея... В общем, одно за одним — он приехал сюда миссионером, а стал миссионером-плантатором, потом плантатором-миссионером, а затем и просто плантатором, хотя до сих пор называет свое поселение «миссией».

— А как он набирает работников? Плантация выглядит немаленькой и наверняка требует много рабочих рук.

— Ну да, разумеется. Беглых рабов вскоре стало не хватать, и тогда он начал нанимать так называемых «подмастерьев» — рабов во всем, кроме названия, их поставляет племя тетуба, живущее в горах. Это свирепое племя постоянно воюет с соседями, они просто не могут съесть всех пленников, а потому втихую продают их на австралийские плантации сахарного тростника или мистеру Трайбу. Его работники живут в бараках, получают скудное пропитание и вынуждены каждое воскресенье слушать его проповеди. Как я понимаю, церковная дисциплина весьма строга. Неудивительно, что обращенные мистера Трайба вооружены винтовками, а работники — нет. Я никогда там не был, но слышал, что там есть несколько клеток под землей, а недавно перед церковью установили столб для телесных наказаний. Осталось только воздвигнуть виселицу, и Спердженсвилль будет завершен.

— И как к э тому относится мистер Масгроув?

— Мистер Масгроув отказался быть управляющим на плантации мистера Трайба, и это говорит в его пользу. Но когда он основал собственную миссию, то навел мосты с главными врагами племени тетуба, племенем уакере. Большинство его обращенных оттуда или сбежавшие из Спердженсвиля работники.

— Так им хотя бы есть куда бежать. Разве это плохо? Пусть лучше миссионеры тратят пыл, огрызаясь друг на друга с разных сторон бухты, и оставят в покое остальных.

— Хотел бы я, чтобы всё было так просто. Беда в том, что теперь обе миссии вмешиваются во внутренние дела острова. Племенные войны всегда были излюбленным развлечением на здешних островах. Но они хотя бы велись каменными топорами и никогда не заходили слишком далеко. Теперь в руки туземцев попали винтовки и динамит, и всё вышло из-под контроля. Племя тетуба всегда было сильнее, и я подозреваю, хотя не могу сказать с уверенностью, что мистер Трайб снабжает племя винтовками в обмен на работников для плантации. Но теперь в игру вступил и мистер Масгроув, поставляя оружие племени уакере. Пока дело не дошло до серьезной схватки, но думаю, она не за горами. Я приложил все силы,

чтобы установить мир, но что я могу, когда двое других белых пытаются спровоцировать войну?

— Похоже, они мерзкие люди, отче, эти Трайб и Масгроув.

Он ненадолго задумался.

— Сами по себе они неплохие, мне кажется, просто не слишком умны, незначительные люди без воображения, в чьи головы вложили некие идеи и послали сюда, где они могут заставить людей себе подчиняться. У меня сложилось впечатление, что на родине ни один из них не стал бы кем-то большим, чем младший приказчик в лавке или мелкий клерк, но на Новой Силезии они императоры и Папы. Когда столь ограниченные люди получают такую огромную власть, быть беде.

Когда я вернулся на корабль, то предстал перед разъяренным линиеншиффслейтенантом Микуличем — он негодовал на задержку с доставкой посланий. С этой минуты он запретил сходить на берег. Это вызвало недовольство. И не сказать, что на берегу было что-то стоящее или кто-то мог дезертировать, если не хотел закончить дни поджаренным на костре, и чтобы его голову закоптили на медленном огне для сохранности. Скорее люди негодовали, что придется торчать на переполненном и душном корабле под жарким солнцем, когда берег всего в сотне метров.

Но у Микулича имелись собственные средства борьбы с разрастающимся на нижней палубе недовольством — заставить команду так много работать, чтобы никто и имени своего вспомнить не мог, не то чтобы пожелал сойти на берег.

Да и вообще, заявил он, с чего это матросы жалуются, что не могут пройти по твердой земле? Еще до конца дня он позаботится, чтобы команда почувствовала столько твердой земли под ногами, что до конца дней хватит. На кусочке пляжа неподалеку от пристани для каное расчистили неровный плац. И до вечера вся нижняя палуба маршировала с оружием в руках, готовясь к отправке исследовательских отрядов вглубь острова на следующий день. Одну половину команды муштровали унтер-офицеры на палубе, а другая погребла на берег, чтобы вышагивать на плацу.

Потом они поменялись местами, и те, кто только что выбился из сил, четыре часа таская винтовки Маннлихера, теперь приставляли их к плечу и бросались в атаку, и наоборот. После восьми часов муштры матросов разделили по отрядам и отправили готовить оружие для вылазки вглубь острова.

Одному отряду из шестидесяти человек предстояло сопровождать доктора Пюрклера на двенадцать километров вглубь острова для подъема

на гору Тетуба и проведения геологических изысканий, а также переговоров с вождями местных племен о возможности покупки прав на пользование недрами. Другой отряд из тридцати человек отправится с профессором Сковронеком и герром Ленартом для сбора образцов в районе горы Трампингтон.

Причина для внезапного приступа муштры заключалась в том, что схватка более чем вероятна. Как предупредил в Тулаги мистер Вудфорд, внутренние части Новой Силезии были чрезвычайно опасны. Несколько исследовательских отрядов уже пытались забраться на гору Тетуба, и никому этого не удалось — а может, и удалось, только никто не вернулся к побережью, чтобы об этом сообщить. Отец Адамец уже предупредил, что племя тетуба считает гору табу и верит, что всему миру настанет конец, если кто-нибудь потревожит духов, дремлющих на вершине.

Если бы мы обладали мудростью, то оставили бы это место в покое. Но, похоже, живущий на Новой Силезии австрийский священник навел Микулича на размышления, насколько я мог понять, прислуживая в тот день за обедом. Вена интересовалась Новой Силезией из-за ее месторождений, как он сказал, к тому же остров до сих не объявила своим ни одна европейская держава. Что может быть проще, чем захватить остров на том основании, что австрийским подданным угрожают агрессивные туземцы?

— Но насколько я вижу, Микулич, священнику никто не угрожает. Похоже, у него вполне дружеские отношения с местными.

Микулич ухмыльнулся.

— Когда я закончу свою миссию, они перестанут быть таковыми.

Я зримо представил, как он уже видит себя подписывающимся «барон Микулич фон Ное-Шлезииен».

Кадетам предстояло остаться на корабле, никто не присоединился к исследовательским отрядам, и потому нас избавили от муштры, проходящей в тот душный день на палубе. Вместо этого мы проводили обычные занятия, сегодня была последняя лекция профессора Сковронека о расовой гигиене. Она проходила на полуюте, чтобы не болтаться под ногами у остальных, это также позволило профессору Сковронеку закончить цикл лекций до того, как он отправится на берег в очередную экспедицию по сбору черепов.

Он открыл черную доску, тесно покрытую столбиками цифр, представляющими его систему классификаций черепов: сложный и чрезвычайно туманный набор индексов, которые, перемноженные друг на друга и деленные на непонятно откуда взявшиеся цифры, давали

коэффициент интеллектуальной и моральной эволюции человека.

Должен признаться, что большая часть всего этого прошла мимо нас. Стоял душный день с тягучим воздухом, вдали гремел гром, а вокруг безостановочно орали, топали и звенели оружием, так что было сложно сосредоточиться. Казалось, лишь Макс Гаусс слушал заинтересованно и делал записи. Вот это вряд ли, подумал я — Гаусс уж точно не из тех, кто воспринимает всё это всерьез. Вскоре лекция закончится — профессор как раз начал подводить итог.

— Итак, кадеты, в результате моих многолетних исследований и сбора этнологического материала, который я пополнил во время этого путешествия, сегодня я могу впервые продемонстрировать вам систему краниометрических индексов Сковронека. Надеюсь, она вскоре заменит ранние модели, предложенные Ретциусом, Велькером, Хаксли, Тореком и другими. С помощью моей системы можно ранжировать европейское население в соответствии с расовым происхождением и генетическим потенциалом. Это откроет двери в историю. Опираясь на форму черепов, мы наконец-то узнаем, почему немцы смелы и усердны, почему латиняне легковозбудимы и ненадежны и почему славяне аморфны и медлительны. Это определяет не климат, история или религия, а форма черепа, и теперь, изучив это, мы получили безупречную систему для...

— ...Для того, чтобы сказать то, что вы и без того знаете, — заговорил Макс Гаусс.

Повисла мертвая тишина, длилась она несколько минут, как мне показалось. Профессор уставился на него, не веря собственным ушам, как будто кошка спросила у него, который час.

— Что вы сказали, юноша?

— Со всем уважением, герр профессор, я сказал, что ваша система лишь говорит о том, что и без того известно, или подтверждает ваши предрассудки, если желаете, чтобы я высказался откровенно.

— Гаусс, — прошептал я в отчаянии, — бога ради, заткнись!

— Что это еще значит, наглый щенок? Да как ты смеешь...

Ученики заерзали и зашептались. Гаусс что, выжил из ума? Да его высекут за такое...

Но он не унимался.

— Ваша «научная система» для определения характера и умственных способностей по форме черепа, насколько я могу судить, просто полная чепуха. Вы начали с того, профессор, что посчитали шведов преданными, умными и так далее, а негров — неуклюжими и глупыми, а затем начали носиться вокруг этой идеи со своими индексами, чтобы доказать ваш

посыл.

— Как смеешь ты сомневаться в науке!

— Со всем уважением, герр профессор, но то, что вы только что рассказали, не наука, а какая-то хиромантия. То, что написано на доске — это набор утверждений, и некоторые из них весьма сомнительны с точки зрения математики, между прочим, а основаны они на предпосылках, вызывающих не меньше вопросов, чем то, что вы пытаетесь доказать.

— Ваша безграничная наглость меня изумляет, юноша. Какой квалификацией вы, простой морской кадет, обладаете, что позволяете себе с таким оскорбительным высокомерием разговаривать с самым уважаемым ученым Европы?

— Никакой, герр профессор, кроме здравого смысла.

Сковронек саркастически улыбнулся.

— А, вот оно что, я вас вспомнил. Вы же еврейский мальчик, да? Вот, курсанты, перед вами идеальный пример придирчивого, критикующего, всезнающего мироощущения Вечного Жида — продукт мозговой формации, прекрасно адаптированной к уничижению чужого труда, но совершенно стерильной и неспособной создать что-то собственное.

— Простите, профессор, но я всегда думал, что цель науки — объяснять, а не создавать...

Сковронек чуть не взорвался.

— Объяснять? Ах ты, безродный дегенерат! Может, жидовская наука и объясняет, а немецкая наука создает! Цель нашей науки, мой юный еврейский друг — это не наблюдать за реальностью, а придавать ей форму! Немецкая наука не объясняет то, что мы видим собственными глазами. Она подтверждает то, что у нас уже в крови!

Эта пламенная речь была прервана прибытием старшины корабельной полиции и двух унтер-офицеров, которые утащили беднягу Гаусса в карцер, а профессор Сковронек тем временем в самых крепких выражениях жаловался капитану на то, что его публично оскорбил какой-то кадет.

Несомненно, теперь Гаусса за это запрут в карцере в кандалах до конца плавания и с позором исключат из Морской академии, когда мы прибудем домой. Да что в него вселилось? Вот же идиот! В 1903 году в Австрии обучение было не настолько похоже на армейское, как в Германии, где университетские профессора обычно в мундирах читали лекции. Но недостаток армейской суровости восполнялся высокомерием.

В нашем обществе вырабатывалось уважение к возрасту. Никто моложе тридцати не считался способным произнести что-то путное, а человек за сорок обычно очень старался выглядеть на шестьдесят.

Семнадцатилетний кадет, осмелившийся спорить с университетским профессором, просто напрашивался на проблемы.

Визит мистера Масгроува тем вечером не помог разрядить натянутую обстановку на борту «Виндишгреца». Так случилось, что он стал единственным гостем на приеме. Мистер Трайб, как мы поняли, отклонил приглашение, а отец Адамец вызвался помочь больному прихожанину.

А значит, пророк из Пенджа получил всю кают-компанию в свое распоряжение, как и внимание всех офицеров. Он явно счел божественным провидением возможность прочитать им проповедь. Большинство офицеров владели английским, и, тем не менее, мало кто был способен разобрать путанное бормотание Масгроува — он прочел свою проповедь, не вставая со стула. Этикет не позволял кому-нибудь вставить хоть слово.

Но всё равно офицеры пребывали в полном смятении. Под конец мы смогли разобрать лишь (не считая рассказ о трех жабах и доктрину частичного бессмертия), что мистер Масгроув полагал, будто корабль послан Господом, чтобы уничтожить миссию мистера Трайба и провозгласить царство Божие на Новой Силезии. В заключение мистер Масгроув призвал нас преклонить колени в молитве.

Это вызвало ропот, но в конце концов законы гостеприимства возобладали, и линиеншиффслейтенант Свобода жестом велел всем опуститься на колени. И с десятков офицеров, по-прежнему с бокалами в руках, и выглядя на редкость неуклюже, встали на колени рядом с мистером Масгроувом для молитвы и благословения.

А потом, не успел кто-либо сообразить, что происходит, Масгроув извлек из кармана склянку с латунным разбрызгивателем и начал трясти ею над собравшимися. Когда на безупречно белые мундиры полетели красные капли, раздались возмущенные возгласы.

— Мистер Масгроув, что всё это значит?..

— Омовение кровью агнца. Апостол Иоанн крестил водой, но я крещу свою паству кровью... Чтобы вписать имена ваши в Книгу жизни агнца...

Он продолжил мямлить что-то о крови и молодом барашке, но тут Микулич и фрегаттенлейтенант О'Каллахан подхватили его с обеих сторон и потащили к выходу из кают-компания, чтобы сгрузить на шлюпку в сторону берега. Тем временем в кают-компании я вместе с другими младшими чинами суетился со влажными салфетками, пытаюсь помочь офицерам оттереть красную жидкость с одежды. Корабельный врач пришел к выводу, что это красный растительный краситель, потому как настоящая кровь в склянке свернулась бы. Но всё равно — это было уже слишком. Все знали, что не очень хорошо владеют английским, и на это

следует сделать скидку, но даже если и так...

На заре следующего дня на палубе выстроились два исследовательских отряда — для проверки перед сходом на берег. Большим облегчением было узнать о смене руководства главного отряда. Экспедицию доктора Пюрклера к горе Берг поведет не линиеншиффслейтенант Свобода, как планировалось, а лично капитан, хотя его роль была чисто декоративной, поскольку десант организовывал Свобода.

Накануне Фештетич объявил, что чувствует себя лучше, и доктор Лучиени, поразмыслив, согласился с тем, что если он лично будет сопровождать капитана (на всякий случай с собой прихватили смирительную рубашку), то не видит причин, почему бы тому не сойти на берег. Свежий воздух и горные пейзажи уж точно ему не навредят, а могут и пойти на пользу. Да и в любом случае, он будет полезен экспедиции в качестве ходячего символа.

Возможно, предстоят переговоры с вождями племени тетуба по вопросам типа продажи прав на недра, и бывший придворный аристократ с непререкаемым благородством манер наверняка произведет большее впечатление на туземцев, чем линиеншиффслейтенант Свобода — способный офицер, но угловатый плебей-чех с элегантностью и грацией опрокинутого ведра.

Отряд, сопровождающий профессора Сковронека и доктора Ленарта к горе Трампингтон, возглавит фрегаттенлейтенант Берталотти, как и планировалось. Профессор, до сих пор пребывающий в дурном расположении духа после спора с Максом Гауссом накануне вечером, провозгласил, что требуется от отряда, едва забравшись в лодку.

— Строение мозга негров делает их неспособными к абстрактному мышлению или моральным оценкам. Они признают единственный аргумент — силу и физические наказания. А значит, мы с самого начала должны четко дать понять этим охотникам за головами, что не позволим никому и ничему помешать продвижению белой расы и научного прогресса. На любые попытки помешать развитию европейской цивилизации нужно ответить сокрушительной силой.

Оба отряда, без сомнения, выглядели внушительно, выстроившись в две колонны на клочке земли у пристани для каноэ. В каждом имелся знаменосец и горнисты. Большой отряд тянул за собой пушку Учатиуса, а к морякам в полной выкладке присоединилось значительное число местных носильщиков, чтобы тащить припасы, плюс другие носильщики, чтобы тащить припасы первых носильщиков. В общем, крупнейший отряд

насчитывал около двух сотен человек, а меньший — сто двадцать.

Толпа зевак из туземцев взирала на горнистов, протрубивших сигнал «Выступаем», и колонны двинулись по тропе, ведущей вглубь острова. Некоторое время из-за деревьев еще проглядывали змейки белого и коричневого. Потом их поглотил плотный зеленый покров Новой Силезии.

Оставшиеся на корабле знали, что, как только последний человек в колонне скроется в джунглях, нам предстоят нелегкие испытания. Кадеты грустили, что им не позволили отправиться с одной из экспедиций, но эта грусть не шла ни в какое сравнение с недовольством линиеншиффслейтенанта Микулича, который надеялся возглавить отряд Сковронека.

Эта экспедиция отправилась к району племени уакере у горы Трампингтон, и лейтенант явно решил, что этому племени необходима прививка цивилизации, ведь именно этих туземцев описывали как закоренелых каннибалов и охотников за головами — хотя и меньше по численности, чем соперники-тетуба, но гораздо более свирепых. По словам отца Адамца, мало кто из белых, не считая мистера Масгроува, пытался вступить в контакт с уакере, а немногие выжившие среди этих пытавшихся обычно прибегали к побережью галопом, уклоняясь от свистящих мимо отравленных стрел, пока пули из винтовок Снайдера взбивали пыль у их ног. Микулич, однако, ни о чем таком не думал.

— Переговоры с вождями черномазых? Ни один белый не будет разговаривать с голозадыми черными дикарями, если хочет сохранить хоть толику самоуважения. Нужно пулями расчистить путь, и только так. Двадцать залпов, а потом сжечь дотла их хибары. Это даст им понять, что мы долго запрягать не станем.

Но оставшись на корабле, вместо того, чтобы нести европейскую цивилизацию низшим расам, Микулич всё равно собирался превратить чью-нибудь жизнь в кошмар. Он решил, что не удовлетворен чистотой на корабле, и перед отплытием домой мы должны устроить тщательную приборку.

Почему старший офицер недоволен чистотой на корабле, осталось бы загадкой для всех, кто не знаком с корабельной дисциплиной. Ниже ватерлинии «Виндишгреца» мог твориться полный кавардак — течи, гниющая древесина и ржавые болты, но наверху глазам публики представал безупречный вид. Причиненные штормами мыса Горн неприятности давно подлатали, краска сияла белым и голубым, медь и позолота начищены до блеска, стоячий такелаж черен, как кухонная плита.

Возможно, орудия Варендорфа на батарейной палубе уже настолько

изношены, что в стволе не осталось нарезов для снарядов, но снаружи они обманчиво поблескивали черным, как лакированные балетки танцора. Но для линиеншифтслейтенанта Микулича этого было недостаточно, и как только экспедиции скрылись из вида, он заставил нас драить даже те предметы, о существовании которых мы раньше не подозревали.

Из трюма даже достали чугунные болванки балласта, их очистили от ржавчины, отполировали и покрасили красным. Мы привыкли к тяжкому труду на борту парусника, требующего бесконечной рутинной работы, только чтобы держать его на плаву. Но это переходило уже все пределы.

Даже тяжелая работа с починкой фок-мачты теперь, в тумане воспоминаний, казалась приятным времяпрепровождением. Тогда хотя бы был смысл в ломающей хребты работе. Да и сам Микулич принимал в ней участие, а теперь возомнил себя высшей властью на борту и расхаживал по палубе, выискивая помарки, заставляя всё переделывать, сбивал банки с краской, когда проходил мимо, грозился наказаниями и подбадривал людей кнутом и пинками.

Всё дело — в нем самом. Залески умел облегчить самый тяжкий труд, превратив его в забаву, устраивая соревнование между командами с призом победителю, и подбадривал людей похвалами и шутками. Но Микулич любую работу делал барщиной, и даже складывать салфетки казалось не легче, чем грести рабом на галере. Тут уж ничего не поделаешь, все были согласны — некоторые просто такими уродились.

Глава семнадцатая

ОТШЕЛЬНИК

С первыми лучами солнца все уже были на ногах и занялись выскабливанием и покраской. Всё утро мы трудились под палубой и на палубе, не натягивая тент, прямо под палящим солнцем. Около десяти часов дежурный кок вытянулся перед Микуличем, отдал честь и доложил, что с бочонком солонины, выделенным для обедов нижней палубы на ближайшие несколько дней, что-то не так, от него пованивает даже при закрытой крышке. Сложив руки за спиной, Микулич подошел к дубовой бочке, стоявшей у двери камбуза.

— Ну, что случилось?

— Разрешите доложить, герр лейтенант, мясо испортилось.

— Чепуха, открыть бочку!

Помощник кока послушно взял лом и поднял крышку. Казалось, даже тропическое солнце потускнело и побледнело от ужасающего зловония. Все вокруг отступили на безопасную дистанцию. Но Микулич просто подошел к бочке и заглянул внутрь, затем принялся.

— Все в порядке, говядина хорошо созрела, вот и все. На что вы жалуетесь?

Вызвали матроса Майера. В этом месяце именно он был представителем экипажа в продовольственной комиссии. По уставу их выбирали каждый месяц, чтобы следить за количеством и качеством питания и тем самым препятствовать воровству и коррупции среди офицеров-снабженцев. Майер заметно побледнел, учуяв идущий из бочки запах.

— Разрешите доложить, герр лейтенант, мясо протухло. Люди к нему не притронутся.

Микулич приблизил лицо к лицу Майера.

— Хочешь послушаться меня, морской адвокат? Люди будут это есть, или я их повешу.

— Со всем уважением, герр лейтенант, они не станут это есть. Если вы не согласны, по уставу я обязан доложить...

Майер, так и не закончил предложение. Микулич сбил его с ног,

поставил на ноги и снова сбил, потом пару раз пнул ногой по ребрам, поднял и затолкал головой в бочку с разлагающейся говядиной, где он пускал пузыри и барахтался, пока чуть не захлебнулся. Наконец Микулич отпустил его, боцман вытащил матроса из бочки и начал оживлять. У Микулича немного сбилось дыхание, но в целом он выглядел невозмутимым. Вытер руки и объявил зрителям, что со всеми, кто ослушается приказов, он будет поступать именно таким образом. Затем отправил нас работать дальше.

Во время обеда он прогуливался вдоль линий столов на батарейной палубе, наблюдая за тем, как моряки не едят тушеное мясо, на что они имели полное право, и следя, чтобы никакой другой еды они не получили. После еды команда снова отправилась на работы, без часового послеобеденного отдыха, предписанного по уставу, поскольку, по словам Микулича, если не было обеда, то и нечего после него отдыхать.

Моряки подчинились в угрюмом молчании, но под палубами распространялись мрачные настроения. Они начали закипать, когда после обеда обнаружили на носового трапе тушку Фрэнсиса, корабельного поросенка, привязанного за задние ноги, кровь капала из перерезанного горла на посыпанный опилками брезент. Микулич воспользовался тем, что моряки внизу, и приказал коку с помощником зарезать животное, чтобы обеспечить кают-компанию свежим мясом и отделаться от гадящей на палубах скотины. Матросы гневно загудели.

На мгновение показалось, что команда взбунтуется, но после секундного замешательства моряки разошлись по рабочим местам, подгоняемые мрачными приказами старшины и боцмана. При всех своих грязных привычках, поросенок стал любимцем нижней палубы, он бегал по всему кораблю и везде получал небольшие угощения. Учитывая обстоятельства появления на борту «Виндишгреца», зарезать его было хуже убийства, настоящим богохульством, плевок в лицо богам, правящим морями и предопределяющими судьбу всех, кто по этим морям ходит.

Это случилось примерно в пять склянок послеобеденной вахты. Группа моряков работала на реях такелажа бизань-мачты — кру Юнион Джек, юный чешский матрос Хузка, которого Микулич отстегал линьком у берегов Чили, и итальянский моряк Паттиера. Микулич стоял у основания мачты, наблюдая за работой на шкафуте. Вдруг раздался удар, сверху вниз просвистела такелажная свайка, одна из тех, что используются для сращивания проволочных тросов, причем самая большая, номер шесть — толщиной примерно с огурец.

Она вошла в доски палубы на добрых четыре сантиметра прямо у левой ноги лейтенанта. Сверху не было предупреждающего окрика, так что я думаю, свайка упала случайно. В любом случае, тот, кто попытался бы убить Микулича таким способом, играл с судьбой. Что касается Микулича, тот не сдвинулся ни на сантиметр, только бросил взгляд на воткнутую в палубу свайку, а затем на такелаж. После этого он прогулялся до поручней и спокойно смотрел в сторону Понтиприта, как будто ничего не произошло. Через минуту владелец свайки, Паттиера, спустился по выбленке и засуетился у подножья мачты, подбирая инструмент в надежде, что никто его не заметил. Он вытащил свайку из палубы и находился на пути к вантам, когда Микулич остановил его с самой благодушной улыбкой на лице.

— Потерял что-то, Паттиера?

— Э-э-э... нет... разрешите доложить...

Первый удар Микулича отбросил его на поручни. Он попытался встать, но прежде, чем ему удалось подняться, лейтенант вскочил на него и стал метелить кулаками, пока несчастный не растянулся на палубе, а затем пнул жертву, пытающуюся перевернуться, поднял за воротник, прислонил к мачте и начал молотить, как боксерский мешок. Вскоре Паттиера лежал на палубе без сознания в луже крови и блевотины. Я надеюсь, что без сознания, потому что Микулич поднял его бесчувственное тело за воротник и пояс, пронес к поручням и выбросил за борт к акулам, кружащим весь день за кормой. Их привлек запах выброшенного за борт протухшего обеда. Паттиера больше не появился на поверхности. Вместо этого вода за кормой вскоре окрасилась кровью. Волны выбрасывали его останки на пляж весь следующий день, но их было недостаточно для похорон.

Мы с Тарабочча и несколько матросов оказались потрясенными свидетелями этой сцены. Микулич повернулся к нам.

— Видели, как он сам упал в море, а? Так, теперь вы двое, спускайтесь сюда, я с вами разберусь. Попытка убийства офицера? Вообще-то за это грозит смертная казнь. Но думаю, что вас двоих можно отпустить после хорошей порки.

На палубе появились боцман и старшина корабельной полиции.

— С вашего позволения, герр лейтенант, — сказал Негошич, — но порка отменена на морском флоте с 1868 года. И в любом случае, нужно сначала отдать их под трибунал, даже если бы пороть еще разрешалось. Если вы обвиняете этих двоих в покушении, со всем уважением, герр лейтенант, их нужно арестовать и отдать под трибунал в Поле.

Микулич улыбнулся.

— Это фольклор, боцман, сказочки нижней палубы. Порка была приостановлена реформами эрцгерцога Альбрехта, а не запрещена, и все еще может использоваться в экстренных ситуациях по усмотрению командира во время военных действий, в случае, когда нельзя созвать военный трибунал без необоснованной задержки. Ну так вот, я командир, мы в десяти тысячах миль от Полы и с тех пор, как утром мы отправили на берег вооруженные отряды, я считаю, что сейчас идут военные действия. Кто-нибудь собирается со мной спорить? — Он огляделся, желающих поспорить не нашлось. — Очень мудро. А теперь, друзья, мы запрем вас на ночь, пока парусный мастер не свяжет мне кошку-девятихвостку, и с утра, после восьмой склянки, зададим каждому из вас тридцать шесть ударов, что к сожалению, максимум, возможный по уставу. Но не переживайте, я прослежу за качеством каждого удара. Что касается тебя, черномазый, — он повернулся к Юнион Джеку, — я всегда хотел посмотреть, какого цвета ниггеры внутри. Вот завтра и посмотрим, да? Я вообще-то хотел бы привлечь к порке твоего друга Старборда. У вас такие сильные руки, что даже жалко их не использовать. Если он откажется, тогда я и его выпорю вместе со всеми.

Мы ничего не могли с этим поделать, не затевая мятеж. Такой вариант развития событий тем вечером шепотом обсуждался на нижней палубе, но в итоге большинство выступило против. Половина команды находилась на берегу с разведывательными отрядами. Если оставшиеся на борту захватят корабль и останутся у Понтиприта, то десантные отряды, вернувшись на фрегат, подавят мятеж — хотя бы потому, что на берегу находился почти весь арсенал корабля.

Поднять мятеж и выйти в море тоже не выглядело хорошим вариантом, кадеты почти наверняка примут сторону офицеров, так что для управления кораблем не хватит рук, а также на несколько месяцев придется бросить своих товарищей на произвол судьбы на острове, полном свирепых людоедов, пока их не спасет шхуна торговцев копррой или проходящая мимо канонерка. Да и в целом остается вопрос, что вообще делать после мятежа, даже если он удастся.

В 1903 году военный корабль, захваченный экипажем, имел мало шансов скрыться даже в самых отдаленных уголках Тихого океана. Большая часть островов — чьи-то колониальные владения, а телеграфные кабели доходили до самых отдаленных мест. Единственной надеждой на убежище оставались кое-какие республики Центральной Америки с ее нездоровым климатом. Самые молодые и, так сказать, ветреные члены

команды «Виндишгреца» уже испарились в Кейптауне и на Кальяо, где с корабля сбежали семнадцать моряков. Оставшиеся в основном были профессиональными моряками с семьями на далекой родине, а не горсткой космополитов-беспризорников с полубака торгового судна.

У австрийского правительства были полные сведения об этих людях, и оно несомненно объявит их в розыск по всему цивилизованному миру. Ни один моряк с женой и детьми в Поле не воодушевился от перспективы провести остаток дней, плавая на торговом судне под вымышленным именем или вкалывая шахтером где-нибудь в джунглях Амазонии. В результате решение не приняли. Договорились отправить из Ост-Индии коллективную телеграмму протеста военному министру и императору.

Около трех часов ночи мы услышали стрельбу и бешеный топот ботинок на палубе. Поскольку всей команде приказали спуститься вниз на закате и запретили подниматься на палубу до побудки в половине шестого, то мы просто лежали в гамаках и прислушивались. Неужели все-таки вспыхнул мятеж? В кают-компании воцарилось тревожное настроение. Мы всей душой ненавидели Микулича, но знали, что в случае чего статус кадетов поставит нас на одну сторону с ним против нижней палубы. Около четырех часов с вахты спустился Тарабочча.

— Это были Хузка и черный, они сбежали!

— Как?

— Точно не известно. Где-то час назад вахтенный заметил, как они перелезают через борт. Идет ливень, так что с трудом можно и собственную ладонь у лица разглядеть. Они выпрыгнули за борт и уплыли. Вахтенные начали стрелять и, может, в одного попали, или их сожрали акулы, как беднягу Паттиеру. Так или иначе, они сбежали от дер Микулы, так что желаю им удачи.

Забирая через несколько часов утренний кофе на камбузе, я узнал, что случилось. Каким-то образом (никто не знает каким) Хузка и Юнион Джек сумели раздобыть пилу и проделать отверстие в деревянной переборке своей камеры в вентиляцию котельной. Затем они выбрались по узкой трубе на палубу, спрыгнули босиком с раструба палубного вентилятора, прокрались к борту и сиганули вниз прежде, чем их заметили. На заре, при поисках на берегу, обнаружили следы, ведущие с пляжа к лесу, но следы только одного человека.

Отбили восемь склянок, с визитом на борт прибыл отец Адамец. На берегу, где-то высоко в горах, раздавалась стрельба, но он сказал, что, судя по звуку, это обычные стычки между племенами, и они не затронули наши сухопутные отряды, по крайней мере, пока что. Затем из каюты появился

Микулич и устроил изумленному священнику публичную головомойку, требуя, чтобы тот организовал все возможное для поимки двух беглецов. Отец Адамец отказался, заявив, что он миссионер, а не полицейский.

Микулич бушевал и угрожал. Однако священник стоял на своем и отказался организовывать поисковую партию на берегу.

— Очень хорошо, преподобный, — наконец сказал Микулич, — делайте так, как считаете нужным, но не забывайте, что вы австрийский подданный, по крайней мере, вы не заявляли об обратном. Таким образом, властью, данной мне как капитану этого корабля, я отправляю вас под арест — как лицо, не оказавшее помощи императорским и королевским военно-морским властям в поимке дезертиров. Старшина корабельной полиции, уведите этого человека в камеру.

— Но это же чудовищно.

— А кстати, отче, прежде чем вас уведут вниз...

— Что, герр лейтенант?

— Вот бумага, которую я только что напечатал. Прочитайте ее и подпишите.

— Я оставил свои очки для чтения в миссии. Не будете ли вы так добры сказать, что там написано?

— Безусловно. Суть в том, что, поскольку вашей миссии здесь, в Новой Силезии, теперь угрожают агрессивные местные племена, вы обращаетесь к австро-венгерскому правительству за защитой.

— Но это просто возмутительно! Ни мне, ни моей миссии не никогда не угрожали местные жители. И в любом случае, правительство Австрии, представленное подонками вроде вас — это последняя сила на земле, у которой я попрошу защиты.

— Ну-ну, отче. «Подонок» — неподобающее для священника слово. Делайте, как хотите. Пара дней взаперти помогут вам изменить свое мнение. Но помните, что как только вы подпишите документ, я отпущу вас на берег, и мы забудем обвинение в помощи дезертирам.

Отец Адамец отказался сотрудничать, Микулич объявил, что он самолично поведет десант на побережье для поиска двух беглецов. Наконец-то ему представилась возможность оказаться на берегу и воплотить в жизнь европейскую цивилизационную миссию. Ожидая, пока подготовится десантный отряд, он в предвкушении облизывал губы.

— Босиком они не могли далеко уйти, и они не знают этих мест. Возможно, их уже съели каннибалы. Ну, а если не съели, и я поймаю их сам, то уж постараюсь, чтобы они об этом пожалели.

Отряд, хотя и хорошо вооруженный, состоял всего из двадцати

человек, чего явно недостаточно для подобного задания. Всем это казалось нормальным, всех устроило бы, если бы Микулича съели каннибалы, а остальная часть команды вернулась на корабль. Однако у меня имелись другие мысли на этот счет, ведь меня назначили знаменосцем десантного отряда.

Моя задача состояла в том, чтобы нести красно-бело-красный флаг на тяжелом древке, свернутый на время марша и упакованный в длинный брезент для защиты от дождя. Я не мог нести винтовку, поэтому вооружился абордажной саблей и тяжелым неуклюжим револьвером флотского образца. Среди холмов периодически гремели выстрелы, а мы выдвинулись с пляжа у Понтиприта, шагая по вчерашним следам отряда Берталотти. Никто не понимал, что мы, собственно, собираемся делать. Мы безуспешно прочесали кустарник на пляже, потому как беглецы должны быть уже довольно далеко, прячась в поросших джунглями долинах и предгорьях Трампингтона. Даже судя по пейзажу, который мы видели с пляжа, было ясно, что вся австрийская армия может потратить год на поиски и не добиться успеха.

Через восемь километров, в устье горной долины, мы вышли к первому местному поселению — кучке лачуг, крытых пальмовыми листьями. Несомненно, люди здесь сильно отличались от обитателей побережья. Хижины, гораздо более неуклюжие, чем те, что мы видели в Понтиприте, выглядели как эпилептические стога сена, разбросанные у банановых рощ. Два молодых туземца заметили нас с нескольких сотен метров. Микулич крикнул им. Они развернулись и побежали. Микулич выхватил винтовку у идущего рядом моряка, щелкнул затвором, приложил к плечу и выстрелил. Один из беглецов взмахнул руками, закричал и упал. Когда мы подошли, он был уже мертв, пуля попала в шею. Микулич пнул безжизненную голову мертвеца и заявил, что это научит его больше не сопротивляться аресту.

Остальные жители деревни при нашем приближении, очевидно, скрылись в лесу. Огонь в очагах еще горел, но единственный оставшийся в деревне человек был стар, слеп и покачивался на корточках у огня в своей хижине. Ни возраст, ни общее состояние не спасли его от допроса линиеншифслейтенанта Микулича. Не спасло и то, что он совершенно точно не понимал ни слова на «трепанговом» английском, даже после того, как мы связали его сморщенные ноги жгутом, а руки заломили за спиной, пока не хрустнул хребет. Он лишь бессвязно завывал на каком-то непонятном наречии. Он так и выл, лежа связанным внутри хижины, когда мы поднесли факел к крыше из пальмовых листьев. Мы прошли дальше,

оставив деревню в огне. Вокруг метались визжащие в панике свиньи, а домашняя птица хлопала объятые огнем крыльями на раскисшей тропе. Допрос не дал результатов.

В следующей деревне наше расследование немного продвинулось. Здесь местные снова сбежали в лес при нашем приближении. Однако мы наткнулись на юношу с искалеченными ногами, который пытался скрыться, уползая на одних руках. Он говорил на «трепанговом» английском и немало рассказал после того, как его ноги немного поджарились на костре. Например, о странном черном человеке в одной тельняшке, который прошел через деревню несколько часов назад. С ним не было белого человека. Микулич поблагодарил юношу за помощь, прострелив ему голову, прежде чем предать огню хижину.

Я устало тащился за Микуличем через всю эту кошмарную вереницу убийств и поджогов, обильно потев и с древком на плече.

— Что ж, — объявил он мне, когда мы покидали третью горящую деревню, — кто там говорил о свирепых людоедских племенах с винтовками Снайдера? Покажите этим голожопым обезьянам немного твердости, и они разбегаются, как мыши. Если мы объявим этот остров колонией, Вене нужно лишь прислать сюда меня с сотней хорошо вооруженных ребят, и мы зачистим это место под поселение за месяц.

К вечеру мы достигли лесистых долин между горами Тетуба и Трампингтон. За день мы слышали множество спонтанных перестрелок и пару раз отдаленный звук чего-то посерьезнее винтовки — возможно, корабельной пушки Учатиуса, но скорее всего, динамитной шашки — популярнейшего оружия в этих местах. Впрочем, стрельба была далекой и никак нас не касалась.

За весь день мы не встретили никакого сопротивления — местные жители просто убегали при нашем приближении. Однако еще до заката мы наткнулись на первых вооруженных аборигенов, две группы бежали по горной тропе в нескольких сотнях метров перед нами, по-видимому, одно племя преследовало другое. Увидев нас, туземцы на мгновение забыли о своей ссоре, а потом продолжили схватку, пока их не разметал залп нашего отряда, оставив восемь или девять трупов на тропе и среди деревьев. Микулич осклабился, проходя мимо них и отметил, что белому человеку было бы неуместно проявлять предвзятость в споре аборигенов.

Неизбежное случилось с наступлением сумерек. Пока мы шли вперед, Микулич присматривал место для ночлега. Мы уже порядочно углубились в горы, и вечерний воздух охлаждал мокрую от пота одежду. Тропинка вилась между деревьев и валунов, покрытых мхом и папоротниками.

Идеальное укрытие для засады. Два матроса разведывали дорогу впереди, чтобы избежать неприятностей, как рекомендовано в «Наставлении по действиям пехоты».

Однако туземцы, очевидно, не читали эту великолепную книгу и, полагаю, тихонько разобрались с обоими разведчиками задолго до того, как наш отряд появился в их поле зрения. Так или иначе, когда дикари набросились на нас, никаких сигналов тревоги не прозвучало. Семь или восемь десятков вопящих врагов обрушились со всех сторон в тот момент, когда мы слишком растянулись и уже не сумели восстановить строй, а тропа была слишком узкой, чтобы эффективно использовать винтовки. Через несколько секунд десантный отряд Микулича распался на отдельные группки, отчаянно обороняющиеся прикладами и саблями от нападающих со всех сторон черных.

Микулич находился рядом со мной во главе колонны. Он выхватил саблю и револьвер, пронзил одного нападавшего и выстрелил в другого, пока я пытался избавиться от флага и достать свою саблю и револьвер. Я отпихнул одного нападавшего, ударив его в живот древком флага — скорее случайно — и махнул саблей в сторону другого, пробежавшего мимо, сабля вылетела у меня из рук. Я знал, что это последние мгновения моей жизни, а после того, в чем я участвовал в этот день, лучше умереть, чем попасть в плен.

Копье попало Микуличу в руку, а я наконец вытащил старый тяжелый револьвер из кобуры и взвел курок. У дерева рядом с тропинкой туземец целился в нас из винтовки. Не задумываясь, я поднял обеими руками слишком тяжелое для семнадцатилетнего парня оружие, прицелился и нажал на спуск. Ошеломляющая отдача отбросила меня назад. Когда дым рассеялся, я увидел, как дикарь выронил ружье и упал на колени, схватившись обеими руками за живот. Затем опрокинулся навзничь. С отстраненным любопытством я осознал, что только что убил человека.

Я повернулся к Микуличу и увидел, что тот лежит с открытым ртом в широкой луже крови. Громадная дыра отмечала то место, где раньше находился его глаз. Один из наших — старший матрос по фамилии Штрохшнайдер, стоял позади тела с дымящейся винтовкой в руках.

— Простите, герр шиффслейтенант, — произнес он, склонившись над умирающим Микуличем, — она как-то сама выстрелила. Забавно, как такое иногда происходит, да? Привет вам от Паттиеры и Хузки.

Потом кто-то пробежал мимо, на бегу задев мое плечо. Его голос хрипел от ужаса.

— Бегите! Спасайтесь!

Мы повиновались и рванули вниз по склону сквозь деревья вместе с остатками отряда. Я остановился и подобрал флаг, не могу сказать зачем, быть может, годы чтения «Одобренных текстов для использования в начальных школах» стучали в моем сердце и говорили, что кандидату в офицеры габсбургской монархии не пристало оставлять флаг неприятелю. Флаг страшно мешал, пока я бежал, перескакивал через валуны и спотыкался о корни деревьев. Но я всё бежал и бежал, и вдруг понял, что за нами никто не гонится, прогремела только пара неприцельных выстрелов, видимо, нападавшие уже начали грабить мертвецов на тропе.

Вскоре я, задыхаясь, перешел на шаг и побрел по тропинке в компании Штрохшнайдера. Мы слышали остальных участников высадки среди деревьев, но уже стемнело, и мы не решились окликнуть их, опасаясь привлечь туземцев. У нас не было даже отдаленного понимания, где мы находимся, после того как мы потеряли из вида тропу, по которой пришли. Шепотом посоветовавшись, мы решили, что поскольку остров — это ни что иное, как двуглавая гора, торчащая из моря, то спускаясь вниз, мы рано ли поздно выйдем на побережье. При условии, что не встретим враждебных аборигенов (что в Новой Силезии столь же вероятно, как не встретить ни одного католика в Ватикане). Мы немного задержались, я отцепил красно-бело-красный флаг от древка и сунул в брезентовый чехол. Затем мы начали спускаться.

В компании Штрохшнайдера я чувствовал себя не в своей тарелке, ведь он только что застрелил офицера, и я тому единственный свидетель. Я имел все основания подозревать, что как только мы достигнем побережья, он станет для меня угрозой гораздо большей, чем все каннибалы мира. Однако Судьба постановила, что этой ночью нам не удастся добраться до пляжа, и пройдя едва ли сотню метров, мы очутились на поляне с двумя десятками вооруженных дикарей, отдыхающих после драки. Они тут же вскочили и кинулись за нами в погоню. Один бросил топор и скосил Штрохшнайдера, а я споткнулся, и на меня набросились четверо или пятеро аборигенов. «О всемогущий Господь, — взмолился я, — пожалуйста, пусть это закончится поскорее». Затем я понял, что вопящая толпа волочит меня куда-то за ноги, а мои руки связаны за спиной. Они не собирались меня убивать. По крайней мере, пока.

Пока тараторящие пленители тащили меня по тропе, я терял сознание от ужаса. Мучают ли эти люди своих жертв прежде чем сожрать? Я вдруг вспомнил «Коралловый остров» (так он назывался?) и людоедский пир — тот самый, где визжащая жертва лежала связанной, пока кутилы отрезали приглянувшиеся кусочки от ее живого тела и тут же жарили на костре. Я

видел, что кроме меня они волокут за ноги и Штрохшнайдера — его голова оставляла на земле кровавый след.

Казалось, что меня то ли вели, то ли волокли долгие часы, но в итоге вместе с отрядом дикарей я вошел в деревушку. Открыв глаза, я оказался лицом к лицу с мистером Масгроувом, одетым в грязную, окровавленную тельняшку, опоясанным патронташами и с винтовкой в руках. В свете факела он казался багровым, глаза безумны, а лицо черно от порохового дыма. На площади посреди деревушки горел костер, вокруг него сидела группа воинов, смеясь и распевая песни. Похоже, их день оказался удачным, чем бы они ни занимались.

— Отлично! — весело сказал он, — еще один из тех, кто творил беззакония, попал в руки праведников. Подождите, молодой человек, мы знакомы?

— Мистер Масгроув, умоляю, спасите меня от этих людей! Мне всего семнадцать. Я никак не связан с сегодняшними преступлениями, это все мой командир. Он был маньяком и теперь уже мертв.

— О каких преступлениях вы говорите?

— Мы поджигали деревни и пытали людей.

— Какие деревни?

— Вниз по долине, ведущей от Понтиприта.

— А, эти. Это хорошо, то лишь безбожники тетуба. Ваш отряд избавил нас от хлопот.

— Почему? Что вообще происходит?

— Великий и страшный день Господа, молодой человек, День гнева, когда кроткие восстанут и поразят тех, кто творил зло; когда злодеи, чьи имена не вписаны в Книгу жизни агнца, обратятся к горам и камням: падите на нас и сокройте нас, но помощь не придет. И будут трупы их пищею птицам небесным, а гады ползучие угнездятся там, где они прежде жили.

Он повернулся к пленившим меня воинам и что-то им сказал. Туземцы связали мне руки за спиной и бросили в низкую хижину с земляным полом и деревянной решеткой вместо двери. Я лежал в грязи лицом вниз. Снаружи доносился шум пирушки, завывания под аккомпанемент барабанов, и я понемногу распознал гимн «Какого друга мы нашли в Иисусе», который до тошноты наслушался год назад во Фритауне.

Ладно, чтобы там ни происходило, это наверняка коснется и меня. Сегодня ночью или завтра? Мистер Масгроув и христианские хоровые пения, похоже, не отучили этих людей от племенных войн, а возможно, даже разожгли к ним аппетит. Какая может быть надежда на то, что они

убедили прекратить охотиться за головами? Уставший и опустошенный от ужаса, я надеялся только на то, что моя смерть будет быстрой, чтобы поскорее с этим покончить.

Где-то через час решетка сдвинулась и ко мне зашел мистер Масгроув. Он принес кое-какую еду — дымящиеся клубни таро в тарелке из высушенной тыквы и жареное мясо. Он покормил меня, поскольку мои руки оставались связаны за спиной, и пока я не откусил мясо и не проглотил его, я ничего не подозревал. Однако это была не свинина, и на говядину не похоже, так что я как можно незаметнее выплюнул остаток, потому что единственная хрупкая надежда на мое спасение заключалась в этом человеке, он ведь все-таки европеец, хотя и совершенно безумен.

— Что со мной сделают, мистер Масгроув?

В мерцающем свете он уставился на меня странными полоумными глазами.

— Ну, полагаю, в конце концов прикончат, пробьют голову, как и всем остальным. Так они обычно поступают. Вождь племени уакере — могущественный человек в глазах Бога, он любит, когда я читаю ему Ветхий Завет, особенно книгу Иисуса Навина и строки про колена Израилевы и хананеев. Пленных он обычно не берет.

— Мистер Масгроув, вы говорите, что эти люди убивают пленников. Но ведь вы обратили их в христианство?

— О да, так и есть, юноша, так и есть. Дух Господа воздал им сполна и сделал самым могучим племенем в его глазах, несущим ужас всем тем, кто не возлюбил Его.

Внезапно мне в голову пришла жуткая мысль.

— Мистер Масгроув, а эти воины сегодня не встречали группу моряков с моего корабля?

Он с удивлением посмотрел на меня.

— Что? Конечно, встречали. Я думал, вы знаете. Язычники тетуба сражались с ними около полудня и получили сполна, словно древние мидяне, и тогда воинство Божие обрушилось на тех и на других и поразило их мечом своим. По большей части ваши люди сбежали на побережье, как мне кажется, но кое-кого последователи Агнца взяли живьем. Вот, подождите-ка...

Он поднялся и вышел. Вернувшись, он принес что-то, завернутое в грубую ткань.

— Одного из них я знаю, может быть вы опознаете второго...

Он достал две отрубленные головы. Одна из них принадлежала графу Ойгену Фештетичу фон Центкатолне, даже после смерти он сохранил

grimасу аристократического презрения, как будто устал и считал слишком вульгарным что-то говорить по поводу своей смерти от рук племени охотников за головами. Другая, с безучастным взглядом и распахнутым в вечном немо крике ртом, принадлежала нашему геологу, доктору Пюрклеру.

— Их привели сюда живыми. Это значит, что...

— Да, они сказали, что высокий был слегка жестковат, зато другой почти идеален.

— Но как же так, мистер Масгроув, ваши последователи едят людей?

— О да, конечно, едят. Разве не написано в Книге Чисел «Он пожирает народы, враждебные ему» и еще раз в двадцать первом псалме «Бог поглотил их в своей ярости»? — Он взял кусочек жареного мяса и задумчиво пожевал. — Да, этот и правда вкуснее.

Я не успел ответить, потому что блевал в углу. Любопытно, подумал я позже, ведь я нашел одного капитана мертвым возле бразильского борделя, а теперь съел жареный кусочек его преемника. Оба случая не предусматривались даже австро-венгерским Уставом.

Мистер Масгроув вышел, и я некоторое время лежал, а снаружи мерцали отблески костра и продолжалось шумное пение гимнов. Я знал, что скоро за мной придут. Интересно, думал я, за последние годы так много каннибалов обращены миссионерами в христианство, а мне «повезло» столкнуться с единственным случаем обращения миссионера каннибалами.

Через некоторое время решетка снова скользнула в сторону и кто-то вошел в хижину. Это был черный полуголый человек с пышной шевелюрой. Что ж, дежурный мясник пришел убить меня и приготовить для жарки. Я произнес про себя покаянную молитву и крепко зажмурился, и тут его рука схватила меня за плечо и развернула. Я надеялся только, что он знает свое дело и выполнит его аккуратно.

— Масса Оттокар, слышать меня?

Я открыл глаза и увидел лицо Юнион Джека. Он прижал палец к губам.

— Масса Оттокар, идти со мной, не шуметь, не болтать много.

Он чиркнул ножом по веревке на моих запястьях и принялся разбирать хлипкую заднюю стену хижины. Через пять минут мы улизнули в темноту.

Для человека, совершенно незнакомого с географией Новой Силезии, Юнион Джек оказался удивительно хорошим проводником. Видимо, местный лес похож на джунгли его родины, и думаю, его обоняние вело нас к берегу, как когда мы приближались к Маркизским островам. Во

всяком случае, несколько раз он жестаами просил меня остановиться и, раздувая ноздри, нюхал воздух. Уверен, это было опасное путешествие — весь остров теперь кишел боевыми отрядами того или другого племени.

Между уакере и тетуба разразилась полномасштабная война до победного конца, и, судя по количеству мертвых тел и сожженных деревень, которые мы миновали, спускаясь с гор, когда-то могучие тетуба терпели поражение. Но мы дошли. Юнион Джек достаточно похож на новосилезцев, чтобы сойти за них в лунном свете, и каждый раз, приближаясь к отряду аборигенов, я держал руки за спиной, а петля из веревки на моей шее создавала впечатление, будто он ведет пленного австрийского моряка.

Таких здесь могло быть немало, заключили мы, время от времени натываясь то на снаряжение, очевидно брошенное убегающим матросом, то на мертвые тела. Я хотел опознать их и сообщить родным, когда вернусь домой (если вообще вернусь), но почти всегда голова была отрезана в качестве трофея. Звучит бессердечно, но я был весьма разочарован, не встретив среди мертвецов тело в норфолкском пиджаке и шерстяных брюках для гольфа. Я не забыл эпизод с двумя страндлоперами и обрадовался бы, узнав, что профессор Сковронек пал жертвой тех, чей энтузиазм в коллекционировании черепов не уступал его собственному.

Рано утром мы с Юнион Джеком достигли побережья на дальнем конце бухты Понтиприт. Выйдя из-за деревьев на берег мы первым делом увидели огромный столп дыма, поднимающийся из миссии мистера Трайба в Спердженсвиле. Похоже, что новообращенные из свободного реформистского евангелического баптистского общества уже свели счеты с реформистским евангелическим баптистским обществом и попутно превращали мистера и миссис Трайб и их адептов в жареную человечину. Но когда мы подошли к кромке воды и осмотрели бухту Понтиприт, нас ждал гораздо больший и тревожный сюрприз.

Я таращился на море. Что-то не так, но усталый мозг не сразу осознал увиденное. Я смотрел на мирные хижины Понтиприта, дремлющие среди пальмовых рощ в лучах зари. Но где же корабль? Я потер глаза. Может быть, это игра света, белый корпус слился с бликами на воде, а мачты не видны на темном фоне лесистых холмов. Я в отчаянии осматривал бухту Понтиприт. Возможно, корабль нашел более безопасное место для швартовки? Но нет, сомнений не осталось, «Виндишгрец» поднял якорь и уплыл. Юнион Джек и я брошены на острове, где племена каннибалов ведут войну на взаимное уничтожение. По всей вероятности, нынешней ночью мы избежали участи попасть в тарелку, только чтобы очутиться в

меня на следующей неделе.

После случившегося с миссией мистера Трайба у меня появились серьезные опасения касательно безопасности паствы отца Адамца в Понтиприте. Пока священник сидел в заточении на «Виндишгреце», они были беспомощны перед лицом Масгроува и его фанатиков уакере. Но, оказывается, мне не о чем было волноваться, обитатели побережья уже сплотили ряды и отправили послов к отрядам Пророка Масгроува. Вежливо, но твердо они заявили, что жители Понтиприта хорошо вооружены и не присоединятся ни к тетуба, ни к уакере. К счастью, добравшись до Понтиприта, мы увидели, что отец Адамец уже вернулся к прихожанам.

Они с Юнион Джеком тем же вечером на выдолбленном каноэ священника отвезли меня на островок в открытом море, в нескольких километрах к югу от бухты Понтиприт.

— Здесь вы будете в безопасности, — сказал отец Адамец, — остров — табу для обоих племен, они не осмелятся ступить на него. Но если вы покажетесь в Понтиприте, они точно вас зажарят, пусть даже это нейтральная территория. Говорят, уакере поймали вашего профессора-этнолога за разграблением их хранилища черепов. Подобное оскорбление можно смыть только кровью. Ваш вчерашний десант к горе Тетуба не добавил вам друзей в этой части острова. Оба племени гоняются за головами австрийских матросов. Надеюсь, что смогу на некоторое время укрыть вашего чернокожего в миссии. В набедренной повязке он сойдет за уроженца Соломоновых островов. Скажу им, что он католик из Санта-Круса или что-нибудь в этом роде, будет работать моим слугой. Но что касается вас, придется на время остаться здесь, пока не прибудет шхуна за копррой. Ступите одной ногой на берег, и я гарантирую, что вы будете мертвы до того, как вторая оторвется от дна каноэ.

— Что случилось с кораблем, отче?

— Не могу сказать точно, была такая свалка, и я пропустил большую часть событий, находясь в камере. Утром высадился десантный отряд вашего лейтенанта, и до полудня было тихо. Но потом события начали нарастать снежным комом. Корабельный оркестр репетировал и вдруг заиграл «Марсельезу». Я услышал беготню на палубе над своей головой и даже несколько выстрелов. Через час или около того за мной спустились и выпустили из камеры вместе с моряком, сидевшим в соседней. Все очень извинялись и предлагали отвезти меня на берег, но вскоре забыли об этом, потому что на пляже начали появляться остатки экспедиции вашего капитана.

— Сколько их осталось? Капитана и доктора Пюрклера убили и съели, Масгроув показал мне их головы. И мы насчитали пять или шесть погибших по пути сюда.

— Думаю, большинству удалось сбежать, но только потому, что они мчались, спасая жизнь и бросив всё. Многие были ранены, все старались побыстрее вернуться на корабль. Некоторые даже заходили в воду и пытались плыть, пока ими не заинтересовались акулы. В итоге моряки отправили шлюпки к берегу, чтобы забрать отряд, и заодно отвезли меня. Спасшиеся поднялись на борт, а потом подняли якорь и тут же отплыли.

— У вас есть соображения, куда они могли направиться, отче?

— Никаких, они ничего не сказали. Но у меня сложилось впечатление, что они не намерены оставаться в этих краях.

— А когда здесь будет шхуна, отче?

— Довольно скоро, не более полугода. — Он заметил, как я приуныл. — Да ладно, вы крепкий молодой человек, и время пролетит быстро. Смотрите на это как на приключение, как бедняга Бен Ганн, изгой из «Острова сокровищ».

Отец Адамец был прав, когда говорил, что на островке я в безопасности. Это был маленький, низкий, почти круглый горб из кораллов, метров триста в диаметре, покрытый пальмами и зарослями бамбука. Когда-то здесь хоронили вождей тетуба, и оба племени верили, что остров населен привидениями и злыми духами. Мне не стоило бояться, что они пересекут двести метров воды, отделяющих его от Новой Силезии. Но для заключенного здесь на полгода человека это был все-таки довольно мрачный клочок земли. В тени деревьев расползлся сумрак. Тут пахло лихорадкой.

И повсюду на земле торчали пирамидки из кусков коралла. Нет нужды в надгробиях, чтобы напомнить мне — я осужден прожить полгода в одиночестве на кладбище. Отец Адамец сказал, что будет навещать меня раз в месяц в безлунную ночь. Аборигены чрезвычайно суеверны и в безлунные ночи собираются в хижинах, веря, что стоит выйти наружу, как в голову ударит звезда. Он поделился со мной хинином из своих запасов и кое-какими необходимыми инструментами, в остальном я был предоставлен сам себе.

С утра я начал своё пребывание на острове с инспекции «сокровищ», как предписывали «Коралловый остров» Роберта Баллантайна, «Швейцарская семья Робинзонов» Йохана Уайсса и тому подобные (по большей части бесполезные) пособия по выживанию на островах Южных морей. Из одежды на мне были белые парусиновые брюки и китель (и то и

другое довольно изодранное), рубашка, носки, трусы, ботинки, левая крага. В карманах нашлись складной нож, огрызок карандаша, ключ от рундука, монетка в десять геллеров. Также я располагал леской, огнивом и тридцатидневным запасом хинина, что оставил мне отец Адамец, но помимо этого у меня имелся лишь флотский штандарт в водонепроницаемом чехле, обернутый вокруг груди во время бегства, плена и спасения.

Подводя итог изложенному — довольно бесполезный набор предметов. Только нож, огниво и леска имели хоть какую-то значимость в теперешнем положении. По крайней мере, еды и воды было в избытке: на островке в изобилии росли кокосы и таро, чуть ближе к морю бил родничок с пригодной для питья водой, а чтобы поймать рыбу, нужно было лишь чуть намочить ноги в проливе между островком и побережьем (к счастью, слишком мелком для акул) и нагнуться, чтобы вытащить ее из воды. Вскоре я уже выпаривал из морской воды соль, чтобы приправить свою безвкусную диету.

Крыша над головой представляла бóльшую проблему. Сезон дождей уже не за горами, и мне предстояло смастерить хоть какое-то жилище. Однако на острове рос бамбук, а отец Адамец в следующий визит привез старую пилу, так что как только я наловчился связывать пальмовые листья, то сумел соорудить довольно сносную лачугу, способную защитить от дождя. Что касается одежды, то я очень хотел сохранить уже довольно изодранный мундир, чтобы прилично выглядеть, когда прибудет шхуна за копррой — «робинзоном», а не полусумасшедшим отшельником. Кроме того, мундир имел для меня сентиментальное, почти сакральное значение — последняя ниточка, связывающая с флотом, к которому я всё еще имел отношение, и далекой родиной, которую не видел уже больше года.

Я мог бы ходить по острову абсолютно голым, пожелай я того — никто меня не видел. Но это казалось мне неподобающим достоинству габсбургского офицера, поэтому я пошел на компромисс — повседневные занятия (рыбалка, сбор кокосов и так далее) выполнял, обмотавшись в красно-бело-красный военно-морской флаг наподобие саронга, завязанного узлом на талии. Мундир я носил только по воскресеньям и торжественным датам, например, на восемнадцатое августа — день рождения императора, который я отпраздновал, запалив сигнальный костер и отважно привязав флаг к верхушке самой высокой пальмы. Я оставил его там болтаться, пока пел «Gott Erhalte».

Никто не мог меня увидеть или услышать, но я почему-то почувствовал себя лучше, зная, что даже здесь, на коралловом островке за

десять тысяч миль от дома, я всё ещё остаюсь верным подданным благородной австрийской династии, отмечая день рождения моего императора вместе с сорока четырьмя миллионами остальных его верных подданных.

Глава восемнадцатая

СНОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Скука и изоляция являлись моими главными врагами на протяжении девяти тягомотных месяцев, которые я провел в заключении на могильном острове. Кто никогда не жил вблизи экватора, даже не представляют, насколько монотонна жизнь в этом регионе; всего два сезона, климат вместо погоды, всегда зеленые деревья, солнце после великолепного, но короткого рассвета проходит всегда примерно над головой и скрывается за горизонтом за несколько минут заката, каждый день похож на следующий и на предыдущий.

Для родившихся здесь это кажется совершенно обычным, но на меня нагоняло тоску. Привыкнув к людной жизни на виду у всех на военном корабле, постоянно плывущем из одного места в другое, внезапно оказавшись отшельником на острове и застряв на одном месте, я чувствовал себя несколько неуютно. После расписанного по секундам склянками, горном и вахтами распорядка беспокоило меня и то, что теперь я предоставлен сам себе.

Думаю, я неплохо с этим справился. По крайней мере, я был достаточно образован, прошел обучение на офицера и закалил характер. Но всё равно нужно было чем-то заполнить пустоту дней. Я всегда умел мастерить руками, а на острове в изобилии рос бамбук, и я соорудил кровать, а также кресло и стол. Но удовлетворив эти примитивные нужды, я продолжил работать ножом и пилой, так что к отъезду сделал столько бамбуковой мебели, что хватило бы на скромный магазинчик. Мне даже пришлось построить еще одну хижину, чтобы всё это хранить.

А кроме того, я решил сделать из позвонков крупных рыб ожерелье в подарок возлюбленной в Австрии. Лишь тщательно нанизав ряд этих импровизированных бусин, я сообразил, что у меня нет никакой возлюбленной в Австрии. Ну и ладно, решил я, тогда я подарю ожерелье будущей возлюбленной. Но собрав еще два ряда, я задумался — а захочется ли мне иметь дело с девушкой, которая носит украшения из рыбьих костей? Поразмыслив, я решил, что нет, и выбросил свои изделия.

Но несмотря на это, мне по-прежнему требовалось чем-то занять

свободное время, чтобы не сойти с ума от скуки и одиночества. Я установил деревянный столб, как описано в «Робинзоне Крузо», и делал на нем зарубки, отмечая дни, в чем не было необходимости, ведь отец Адамец оставил мне церковный календарь, но это было просто еще одно занятие. Я также ввел строгий ежедневный распорядок, как можно ближе к распорядку военного корабля. Подъем в половине шестого, обед в полдень и отбой в половине десятого, ну, и всё, что посередине. Но поскольку я остался единственным членом команды, то выглядело это всё равно неубедительно.

В конце концов, мой здравый рассудок спас отец Адамец, когда привез книгу, которую оставил ему какой-то капитан с зашедшего судна. «Навигация. Упрощенный справочник капитана П.Томпсона, младшего собрата Тринити-хауса ^[31] и в последние тридцать лет старшего преподавателя морского дела» — так гордо значилось на обложке. Это был учебник по навигации для офицеров британских торговых судов.

Вряд ли я когда-либо видел книгу, озаглавленную более обманчиво, потому что капитан Томпсон изо всех сил постарался сделать морскую навигацию как можно более запутанной, но в конце книги содержались математические таблицы и альманах 1899 года, а во время отлива у меня появлялась полоска песка, чтобы писать палочками цифры, и в результате прилежного обучения вскоре я овладел самыми трудными аспектами астрономической навигации, и даже в дальнейшем смущал лекторов Морской академии своими познаниями сферической тригонометрии и вычисляя высоту звезд прямым методом.

Что касается попытки построить лодку, чтобы уплыть на ней, то с самого начала об этом не могло быть и речи. Побережье Германской Новой Гвинеи находилось в добрых пятидесяти милях через пролив Шарнхорст и славилось такими же свирепыми дикарями, как и Новая Силезия. Остров Бугенвиль лежал в двухстах милях в противоположном направлении, и о его обитателях можно было сказать то же самое, а Тулаги был в пятистах милях. Не говоря уже о расстояниях, воспоминания о том, что осталось от матроса Кроцетти, когда его прикончила акула у Гуадалканала, отбивали всякую охоту предпринять такое плавание.

Так что приходилось просто ждать прибытия из Сиднея шхуны за грузом копры. Я не рисковал перебраться через полоску воды на основной остров, это уж точно. Отец Адамец был прав в том, что туземцы не нарушат табу, чтобы приплыть сюда и на меня напасть. Я никого не видел в лесу на главном острове, но, если я их не видел, это не значит, что никто не наблюдает за мной из чащи. Единственным способом это проверить

было пересечь пролив.

Отец Адамец навещал меня каждый месяц, в безлунные ночи, когда островитяне скрывались в хижинах из страха, что небеса падут на их головы, если они высунут нос наружу. Мы проводили вечер за беседой при свете штормового фонаря, он привозил мне чтиво из своей коллекции. В основном это была до боли скучная религиозная литература на старомодном чешском, отпечатанная готическим шрифтом, или на французском: *Les Mille Petits Fleurs de Jésus* (Liège, 1861) ^[32] и всё в таком духе. Католицизм меня не интересовал, но отец Адамец был приятным, тактичным человеком и никогда не напирал с религией, казалось даже, будто он извиняется, что может одолжить мне только такие книги.

Говорили же мы о делах сугубо светских: где я жил, о моих школьных годах, жизни на борту корабля и прочем. Думаю, эти визиты доставляли ему такое же удовольствие, как и мне. Он был хорошим слушателем, и хотя слишком долго жил вдали от Европы, чтобы мы могли иметь что-либо общее кроме языка, я чувствовал — он считает меня последней ниточкой к далекой родине, которую, вероятно, никогда больше не увидит. Он часто улыбался в ответ на какой-то комментарий, задумчиво кивал и говорил:

— О да, помню, я и сам когда-то так думал. В вашем возрасте мне тоже хотелось стать трубочистом или цирковым акробатом, вот почему я теперь здесь и стал миссионером.

Что касается другого моего гостя, должен признать, я прекрасно обошелся бы и без его общества. Я жил на острове уже несколько недель, когда на каноэ ко мне приплыл мистер Масгроув. Теперь евангелист-каннибал превратился в единоличного властителя острова Новая Силезия, не считая католического анклава Понтиприт.

Миссию мистера Трайба в Спердженсвиле предали огню и мечу, а сам мистер Трайб и его жена (хотя мистер Масгроув очень туманно высказывался на сей счет) разделили участь всех белых людей, попавших в руки племени уакере. Теперь Новой Силезией правили свободная реформистская евангелическая баптистская миссия и ее паства. Племя тетуба загнали на западную оконечность острова, «словно ханаан перед лицом Иисуса и Господа нашего», как выразился мистер Масгроув, и теперь они умирали от голода в подлесе.

Мистер Масгроув надеялся, что вскоре их обратят в рабство, съедят или вытеснят в море, и праведники завладеют всем островом, который станет базой для обращения соседних островов, как только мистер Масгроув снабдит свою паству необходимым количеством винтовок и динамита, чтобы они могли выполнить богоугодное дело. Он сказал, что

сотни человек из племени тетуба уже крестились, когда их загнали в близлежащую бухточку, где акулы пожрали тех, кто не сразу утонул.

— Под конец вода стала розовой, — сказал он, — но они умерли, познав Господа.

Учитывая всё это, можно представить, что в присутствии этого человека я чувствовал себя не в своей тарелке — и к сожалению, случалось это часто. Он сидел, закатив глаза, вздыхал и бормотал, и я никогда не мог с уверенностью разобрать, к кому он обращается — ко мне или к Богу. А говорил он невыносимую чепуху. Насколько я понял, он считал мое спасение от съедения дикарями, ради которого он и пальцем не пошевелил, знаком свыше, что я стану обращенным — возможно, мое имя написано в Книге жизни агнца пусть не чернилами, но хотя бы карандашом.

В любом случае, каждый его визит превращался в трех— или четырехчасовую проповедь, в ней он излагал принципы свободных реформистских евангелических баптистов из Пенджа, бесконечно листая страницы Библии, которую неизменно приносил с собой, и отмечал для меня строки красным карандашом.

Во время этих проповедей оставалось лишь делать вид, что мне интересно, и пытаться не заснуть и не зевнуть. Я понимал, что до прибытия шхуны за копррой моя жизнь в определенной степени зависит от мистера Масгроува. Я оставался табу, только пока он удерживал туземцев по ту сторону узкого пролива, отделяющего островок от Новой Силезии.

Мистер Масгроув несомненно имел на аборигенов большое влияние, и если он уговорит их отбросить это суеверие, как уговорил отбросить остальные, то скоро они явятся за мной и в тот же вечер приготовят на ужин богемскую колбасу по-дикарски. Этот человек мог добиться подобного результата и совершенно случайно — похоже, он жил как сомнамбула. Но если бы он решил, что я непригодный материал для обращения в его веру или недостаточно почтительно с ним разговариваю, то мог бы устроить это специально. И потому я кивал и соглашался с ним, и время от времени задавал умные вопросы (но не слишком умные).

Мне также приходилось хранить кипы буклетов и религиозные трактаты, которые он мне приносил, вместо того чтобы пустить их на растопку, когда дождь заливал огонь. У мистера Масгроува имелся небольшой печатный пресс, а он сам обладал бескрайним энтузиазмом к сочинительству и безграничным запасом бумаги. Он также владел кое-какими навыками наборщика, но куда меньшими знаниями грамматики, пунктуации и орфографии.

Раз в две недели он приносил мне очередную порцию перепачканных,

плотно напечатанных трактатов (он всегда печатал прямо до края бумаги), полных гонева Гозпода и духха Божево. Когда скука становилась совсем тяжелой, я пытался их читать, в особенности, когда сезон дождей загонял меня в хижину. Но это было слишком утомительно: без формы и структуры, бесконечные причитания без какой-либо логики или грамматической стройности, густо снабжены подчеркиваниями, а многие слова написаны заглавными буквами.

Вопрос в том, кто, черт возьми, стал бы читать подобное на Новой Силезии, где все кроме мистера Масгроува, отца Адамца и меня были неграмотными? В конце концов я пришел к выводу, подтвержденному в дальнейшем всей прочитанной пропагандой, коммунистической, фашистской или религиозной, что такие тексты обращаются только сами к себе — не передают идеи из головы в голову, а это просто своего рода ритуальные действия, чтобы держать мысли под контролем и придушить все сомнения в голове автора.

Вот так текли дни, недели превращались в месяцы, а зарубки неумолимо приближались к концу столба. И день ото дня только солнце, море и полумрак под деревьями. Когда миновал шестой месяц, а шхуна за копррой так и не пришла, меня охватило беспокойство. Может, она никогда и не придет? Может, австралийские торговцы узнали, что Спердженсвилль разрушен туземцами, и боятся отправить сюда судно? Может, они откажутся меня забрать, даже если прибудут?

Ведь средств заплатить за путешествие у меня не было, не считая десяти австрийских геллеров, на которые, как я подозревал, даже в Тихом океане далеко не уедешь. Возможно, я навсегда застрял на проклятом островке, среди могил и мертвецов. Объявил ли «Виндишгрец» меня погибшим? Вероятно, меня причислили к участникам мятежа, и тогда, даже если меня спасут, я лишь обменяю крохотный островок на камеру флотской тюрьмы в Поле.

Возможно, мистер Масгроув убедит своих последователей забыть о табу по поводу острова, но не о вкусе человеческой плоти, и тогда однажды они переплывут пролив, убьют меня и сожрут? Меня захватили странные фантазии, я каждую ночь спал на новом месте и маниакально всматривался в противоположный берег.

Миновали День всех святых и Рождество, настал новый 1904 год. Близился Великий пост, отмеченный в церковном календаре отца Адамца. Я спросил его, от чего должен отказаться во время поста, и он сказал, чтобы я перестал класть в кофе сахар.

— Но отче, — ответил я, — я не пробовал сахара или кофе уже восемь

месяцев.

— В таком случае, — заявил он, — это будет легкая епитимья, не правда ли?

Начался сезон дождей. Целыми днями лил дождь, и воды бухты Понтиприт посерели от пены, а ветер хлестал и сгибал пальмы. Ночи в середине марта выдались особенно суровыми. Я лежал на бамбуковом ложе, а хижина скрипела и ходила ходуном, над головой гремел гром, а ветер гнал над островком клочья пены. Временами я не мог понять, что произойдет скорее — то ли ветер сначала унесет хижину и меня вместе с ней, то ли сразу сдует весь остров.

Но через пару недель снова установилась спокойная погода и засияло солнце. Я вышел, чтобы разжечь костер и испечь клубни таро. Около полудня снова пошел дождь, я вернулся в хижину и принялся за очередной бамбуковый стул. Но работа не шла. Сочленение лопнуло, и в припадке раздражения я отшвырнул стул. Я пытался почитать пожелтевшие страницы католического трактата «L'Humilité du vrai croyant» [\[33\]](#), оставленный в последний визит отца Адамца, пока еще не испортилась погода.

Хотя я уже неплохо читал по-французски, слова казались бессмыслицей. Я попытался переключиться на трактат мистера Масгроува, потом на «Упрощенную навигацию». Пожевал холодное таро, но еда застревала в горле. Я прилег, но ныло всё тело. Меня знобило, и я натянул флаг вместо одеяла. К ночи я лежал в жару.

Не знаю, сколько я так провалялся — несколько дней или даже недель. Время перестало существовать. Снова поднялся ветер, хижина стонала и гнулась, как будто я брежу. Но мне не было дела до бушующего наверху шторма. Сверкнувшая среди деревьев молния была мерцанием свечи по сравнению с фейерверком в моей голове, а раскаты грома в небе я едва слышал из-за грохота в ушах.

Раскалывающийся от боли череп был переполнен, как Виа-Серджиа на ярмарочной неделе, его населяли тысячи жутких и нелепых призраков: агнец Божий, с чьих клыков стекала кровь, когда он пожирал людей, Микулич стегал кнутом девушек из монастыря в Апии на Самоа, пока их спины не залила кровь, профессор Сковронек читал лекцию о расовых дегенератах, и его лицо превращалось в ухмыляющийся белый череп. Милли Штюбель пела похожим на звук бормашины сопрано «Frölich Pfalz, Gott erhalt's», пока я не взмолился о пощаде.

Перед глазами полыхало синее адское пламя, демоны кружили хороводы и тащили мое измученное тело от Шпицбергена до Сенегала и

обратно снова и снова, пока на меня накатывали то волны смертельного холода, то жара. Я лакал дождевую воду, капающую с крыши, но глотка всё равно потрескалась от жажды, как дно пруда в засуху. Я блевал, потел, дрожал и жаждал смерти, чтобы она покончила с моими страданиями.

Мне удалось слезть с кровати, чтобы принести воды, и в краткий и внезапный момент просветления, как будто в центре урагана, я увидел, что моя моча приобрела цвет ежевичного сока. Так, решил я, значит это болотная лихорадка. Обычно она смертельна, так сколько времени я еще продержусь? Как жаль, что я выронил револьвер, когда бежал после стычки с туземцами. Всего одна пуля принесла бы мне покой. Хотя теперь это не имело значения — вскоре я всё равно умру.

Отец Адамец приплывет навестить меня через три недели и обнаружит на кровати почерневший разлагающийся труп. Меня ужасно расстраивало, что я причиню хорошему человеку столько неудобств, когда он увидит меня в подобном состоянии, не говоря уже о том, что ему придется копать могилу. Но я решил, что могло быть и хуже. По крайней мере, когда новости о случившемся достигнут Австрии, мои родные будут избавлены от неприятностей, они никогда не узнают, во что я превратился в конце короткой и бесславной морской карьеры.

Жар на несколько часов отступил, а потом температура снова поднялась до полного беспамятства, я выл и цеплялся за край кровати, чтобы не подняться в воздух. Настал серый рассвет, и хотя молнии больше не сверкали, гром стал даже громче и настойчивее, чем ночью — постоянный барабанный бой. Или он только в моей голове? Я не имел об этом ни малейшего представления, трясась в конвульсиях, как привязанный к койке узник.

Дрожь прошла, и меня охватило странное умиротворение, такое чувство бывает после тяжелой работы. Я с удивлением заметил, что хижина залита светом, тело стало невесомым, я поднимался ввысь, а вокруг стоят какие-то смутные фигуры, сверкая золотом и белым. Потрескавшимися от лихорадки губами я промычал несколько слов.

— Скажите, вы ангелы?

Как только отец Адамец перевел мои слова на английский, раздался хохот.

— В топку ангелов, мы из королевского австралийского флота.

Через три недели австралийский крейсер «Парраматта» высадил меня в Сиднее. На Новую Силезию они зашли по долгу службы, и задание нельзя было прерывать ради доставки больного морского кадета в госпиталь. Их миссия заключалась в том, чтобы положить конец

беспорядкам на острове Новая Силезия и присоединить его к британскому протекторату Соломоновых островов, частично чтобы предотвратить дальнейшие племенные войны, а частично чтобы никакая другая европейская держава не наложила лапы на остров.

Они справились с задачей твердо, но по справедливости, загнав уакере обратно в горы после впечатляющей часовой бомбардировки миссии Реховоф. Этот ужасающий грохот я и слышал тем утром, приняв его за симптомы лихорадки. Потом они высадили офицера для управления островом и отряд туземной полиции. Единственным разочарованием стало то, что им не удалось схватить пророка Масгроува — он вместе с паствой сбежал в горы при первом же залпе и, возможно, вскоре был съеден своими последователями как шарлатан, поскольку больше никто о нем не слышал.

Что касается меня, то в первые несколько дней на борту «Парраматты» я был очень плох. Люди редко выздоравливают после болотной лихорадки, как позже мне сказал корабельный врач. Но молодость сильна, и к тому времени, как мы подняли якорь и покинули бухту Понтиприт, я уже шатался по палубе в халате. Австралийский флот был ко мне очень добр. Капитан, командер Робинсон, каждый день навещал меня в лазарете. Именно от него я и узнал, что случилось с «Виндишгрецем» после поспешного бегства с Новой Силезии, и о судьбе двух исследовательских отрядов.

На корабле и правда произошел мятеж, довольно спокойный, хотя капитан пощадил мои чувства, не назвав его так. Корабль дошел до Рабаула в Германской Новой Гвинее, где сел на мель, и команда сдалась властям, потребовав от Вены амнистии и возвращения домой пароходом. Капитан точно не знал, чем всё закончилось, но считал, что как-то разрешилось, «Виндишгрец» сняли с рифа и починили, и он отбыл домой.

Что касается десантных отрядов, из группы Фештетича погибли пятнадцать человек, включая самого Фештетича, и трое из отряда Берталотти. Группа Микулича пострадала больше других, потеряв шестнадцать человек из двадцати.

Что касается омерзительного профессора Сковронека, то он и остатки отряда Берталотти едва избежали гибели после попытки ограбить хранилище черепов уакере. Они добрались до берега, но их преследовала половина племени, спаслись они чудом, на зашедшей в уединенную бухточку шхуне работоторговцев. В итоге авантюра на Новой Силезии обошлась кригсмарине в тридцать четыре жизни с практически нулевой отдачей. В имперском Рейхсрате по этому поводу провели слушания. Венгры устроили бучу, а Военное министерство подняло тревогу. Тем и

закончилась краткая попытка Австро-Венгрии заполучить колонии.

Шестого апреля 1904 года, в день моего восемнадцатилетия, меня высадили в Сиднее и отправили в больницу. К тому времени я уже вполне поправился, хотя был истощен, и потому после двухнедельного отдыха в Австралии сел на борт парохода до Иокогамы, а там перебрался на легкий крейсер «Темешвар», возвращающийся в Европу из дальневосточного похода. Там оказались Алессандро Убалдини и остальные мои однокашники с курса 1900 года, отправившиеся в океанское плавание.

Они стали первыми кадетами Морской академии, сделавшими это на борту современного парового корабля. Кошмарное и провальное кругосветное путешествие «Виндишгреца» как ничто другое убедило даже скарредное императорское и королевское Министерство финансов, что дни деревянных кораблей давно прошли.

На борту «Темешвара» по пути домой я услышал полный рассказ о том, что случилось с «Виндишгрецем» после прибытия в Рабаул под командованием линиеншифслейтенанта Свободы (находящегося на грани нервного срыва) и выбранного командой комитета. Корабль действительно сел на мель при входе в гавань Рабаула, но намеренно, чтобы не затонуть от полученных в циклоне повреждений.

Команду заперли в казармах на берегу, пока генерал-губернатор отчаянно засыпал Берлин телеграммами в надежде получить указания, как поступить со взбунтовавшимися моряками союзной державы. Начало уже казаться, что «Виндишгрец» придется уничтожить прямо на месте, а потом дожидаться прихода тюремного корабля из Полы, который отвезет всех туда на трибунал. Но положение благополучно разрешилось, как уже часто случалось во время этого злополучного плавания, благодаря гению одного человека в гражданской одежде, как-то утром сошедшего в гавани Рабаула с трапа пассажирского парохода в сопровождении миловидной женщины, на которой он женился несколькими неделями ранее на американском Самоа.

Этим человеком был линиеншифслейтенант Флориан Залески из императорского и королевского австро-венгерского флота, а женщину до недавнего времени звали сестра Ульрике, она работала сестрой милосердия в больнице при монастыре урсулинок в Апии. Залески еще числился в отпуске по болезни, но это не мешало ему соблазнять монашек. Однако несмотря на довольно творческое отношение к требованиям устава, лейтенант знал, как исполнить свой долг. Фрау Залески сняла номер в гостинице, они сдали билеты на пароход в Европу, Залески спрятал гражданскую одежду и в тот же день принялся за работу, чтобы привести

«Виндишгрец» в надлежащий вид для возвращения в Полу.

Потребовалось несколько недель, чтобы откачать из трюма воду и подлатать самые серьезные повреждения, но люди трудились в охотку, и к концу августа 1903 года потрепанный паровой корвет покинул Рабаул — верхние паруса отсутствовали, на палубе установили ветряк, чтобы приводить в движение помпы, разодранный корпус скрепили тросами, чтобы не развалился на части. По всем расчетам этот плавучий уродец должен был сгинуть без следа где-нибудь в Индийском океане.

Но море и стихия оказались снисходительны, и двадцать девятого октября паровой корвет его императорского, королевского и апостолического величества «Виндишгрец» вошел в Полу после шестнадцати с половиной месяцев отсутствия. Его быстро признали непригодным для мореплавания и стали использовать в качестве склада мин. Старый корабль стоял на приколе у набережной Вергарола и в 1918 году и, как я слышал, был разобран только в 1923-м, пережив кригсмарине и австро-венгерскую монархию на пять лет.

Когда я наконец ступил на берег в Поле в июле 1904-го, то ожидал самого худшего — по меньшей мере, подробного допроса о действиях отряда Микулича на Новой Силезии и обстоятельствах, приведших к его почти полному уничтожению племенем охотников за головами. Однако меня встречали не как бежавшего с поля боя солдата, а как национального героя, «узника острова каннибалов», чья преданность благородному австрийскому дому была такова (как гласило официальное заявление), что «даже лежа в лихорадке на пустынном острове, он обернул вокруг себя красно-бело-красный флаг, чтобы уберечь его от повреждений».

В рапортах я удостоился отдельного упоминания и получил от императора высокую награду — серебряную медаль за доблесть. Кажется, я стал самым юным ее обладателем.

Я давал интервью прессе и стал любимцем флотских бюрократов, которые прилагали все усилия, чтобы кошмарное плавание «Виндишгреца» выглядело триумфальным хоть с какой-то стороны. Я решил, что после девяти месяцев, проведенных в одиночестве на острове, пропущу в Морской академии как минимум год. Но мне выдали особое разрешение остаться с курсом 1900-го года и сдать экзамены за время летних каникул. В результате в сентябре 1904 года я выпустился в звании зеекадета, через три месяца после остального курса, но имея в запасе всего лишь эти три месяца, чтобы его нагнать.

Это было приятно, но далеко не так приятно, как обнаружить, что моему другу Макс Гауссу никак не навредили разногласия с профессором

Сковронеком по поводу краниометрии. Мятежники выпустили Гаусса из карцера, и когда два месяца спустя линиеншифслейтенант Залески принял на себя командование кораблем в Рабауле, он снял с команды все взыскания. Что до самого профессора Сковронека, я рад, что больше никогда его не видел.

Вернувшись в Австрию, он написал устрашающую книгу о своем опыте и получил славу бесстрашного исследователя дикарей. Система Сковронека по измерению черепов была сформулирована в 1908 году в книге «О классификации черепов различных рас», которая выдержала одиннадцать изданий и стала главным трудом в этой дисциплине в германоязычных странах и Скандинавии.

Сам профессор умер в 1924 году, но труды надолго его пережили. В те годы одним из восторженных его читателей был неудавшийся фермер по фамилии Гиммлер. Позже он написал предисловие к одиннадцатому изданию и в 1941 году напечатал специальную карманную версию для использования в целях расовой гигиены на местах. Всегда помните, дорогие слушатели, что даже если какая-то идея выглядит откровенно нелепой, это не значит, что она в конце концов вас не прикончит.

Так каков же итог кругосветного путешествия корвета «Виндишгрец»? Боюсь, не слишком впечатляющий. Океанографические исследования несомненно имели научную ценность, и я рад, что принимал в них участие. Но всё остальное вскоре стало бесполезным. Императорскую и королевскую колонию Австро-Венгрии в Западной Африке ждала участь остальных австрийских колониальных затей. Как только в Вену вернулся граф Минателло, Министерство иностранных дел зарегистрировало наши права на побережье западнее Фредериксбурга.

Но потом всё пошло наперекосяк. На Баллхаусплац прибыл британский посол, а вслед за ним и французский, чтобы вручить написанные в резких выражениях ноты протеста в связи с вмешательством Австрии в дела Западной Африки. Германия оказалась менее надежным союзником, чем все надеялись, а Соединенные Штаты — более заботливыми насчет территории своего протектора Либерии, чем все ожидали, и немедленно отправили в западноафриканские воды крейсер, чтобы подчеркнуть свою озабоченность. В итоге император отказался подписывать декрет об аннексии, и вся затея позорно провалилась.

Австрийским подданным из племени кру, приписанным к кригсмарине, то есть Джимми Старборду, Онести Железному Лому и остальным выплатили жалованье, когда «Виндишгрец» добрался до Полы, и отправили домой на пароходе. Юнион Джек, мой спаситель той ночью,

во время пира каннибалов, сопровождал меня до Сиднея на борту «Парраматты», а оттуда отплыл в Западную Африку через Кейптаун.

Тем утром я простился с ним у трапа, мы пожали друг другу руки и обнялись, а потом махали руками, когда пароход попыхтел к выходу из гавани. В Поле я написал рапорт о его благородном поступке и позаботился о том, чтобы ему оплатили девять месяцев пребывания у отца Адамца. Деньги отправили ему вместе с бронзовой медалью за верную службу, адресовав просто «Мистеру Юнион Джеку, эск., Бунсвилль, Побережье Кру, Западная Африка». Надеюсь, он всё это получил.

Но полную историю плавания «Виндишгреца» я услышал только как-то вечером в 1930-м году, в обеденном зале «Гранд отеля», на польском морском курорте Сопот, на полоске песчаных дюн балтийского побережья к югу от нового порта Гдыня. Мне было за сорок, уже три недели я был гражданином Польши и две из них служил командор-поручником на польском флоте, недавно вернувшись из Южной Америки, чтобы организовать подводный флот.

Контр-адмирал (в отставке) Флориан Залески покинул польский флот за год до того и теперь работал в Гдыне консультантом по минному делу. После возвращения «Виндишгреца» он сделал неплохую карьеру, получив титул барона и внеочередное звание фрегаттенкапитана — неслыханное дело на австрийской службе. Он также отличился во время Первой мировой войны и в 1917 году был списан с флота по ранению, когда командовал эскадрой в схватке с британцами у Валоны.

В те годы мы иногда встречались в коридорах и кивали друг другу, кригсмарине — небольшая организация, все знают всех, но, каким-то образом, по службе мы не пересекались на достаточное для обстоятельного разговора время. Та встреча за ужином стала первой почти за двенадцать лет.

Мы засиделись в обеденном зале за полночь. Официанты уже убрались на столиках и отправились спать. Мы говорили о старых временах и ушедшем мире, вспомнили наше кругосветное путешествие на дряхлом деревянном паруснике в те солнечные времена начала века. Первые лучи солнца замерцали на маленьких серых волнах Балтики, и тут Залески умолк, задумчиво попыхивая сигарой и глядя в море. Я почувствовал, что сейчас он расскажет кое-что важное. Наконец он заговорил.

— Кстати, Прохазка, помните тот случай с пропавшим эрцгерцогом?

— И чем всё кончилось? Я добрался до Пола только в середине 1904 года и так этого и не узнал. В последний раз я слышал о нем, когда тем

утром мы высадились с лейтенантом Микуличем на полуострове Брекнок, выкопали кости моряков и сложили их в ящик. Зачем всё это было нужно? Ума не приложу.

Он посмотрел из окна отеля на воду и вздохнул.

— Да, я хотел это прояснить, когда мы вернулись в Полу. Учитывая смерть Фештетича и Микулича, я имел полное на то право. Но вскоре я обнаружил, что дело зашло слишком далеко, назад пути нет. Уже сообщили императору, и слишком многие карьеры стояли на кону.

— Так для чего понадобились кости и что с ними сделали?

— Случилось вот что. Тем утром, когда мы навестили герра Орта в его хижине в горах, я вернулся на борт вместе с поисковым отрядом. Я сразу пошел в каюту Фештетича и рассказал о том, что мы обнаружили, показав ему жетон о первом причастии на случай, если он мне не поверит. После моего рассказа он долго его разглядывал. Лицо графа позеленело, мне пришлось налить ему бренди, чтобы успокоить. Вы же помните старика Фештетича не хуже меня. Бывший придворный, верный слуга благородного дома Австрии и всё в таком духе. Он просто встал и сказал: «Но Залески, это же кошмар... кошмар... Что нам делать? Монархия станет посмешищем во всей Европе...» Понимаете, мы ведь искали мертвеца, а обнаружили его живым и здоровым, абсолютно свихнувшимся и собирающимся вернуться в Вену с жуткой опереттой в кармане, причем полиция тут же арестует его за мошенничество со страховкой, едва он ступит на землю Австрии. Помните, ведь Фештетич был адъютантом по военно-морским вопросам при дворе, когда случилось то несчастье в Майерлинге, он всё твердил и твердил, что монархия не переживет еще один такой скандал. И конечно, в этом случае именно корветтенкапитан граф Ойген Фештетич фон Центкатолна принесет дурные вести... И вот, как вы понимаете, нам пришлось найти мертвого эрцгерцога, прежде чем частный сыщик страховой компании найдет живого. Матросов послали на берег, чтобы выкопать скелет, на кости повесили жетон первого причастия, и Фештетич состряпал остальное: якобы обломки «Святой Маргариты» обнаружили в пустынной бухте на краю света, а останки эрцгерцога лежали полусасыпанными в гальке, с ними раскопали и жетон. Довольно романтично, хотя и печально — «До конца оставался Габсбургом» и всё такое. Я видел отправленную из Пунта-Аренаса телеграмму, она была написана с таким чувством, что я рыдал.

— А разве не проводили аутопсию?

— Ну, Фештетич и об этом позаботился. Ее провел на борту бедняга Лучиени, которому, несомненно, заранее объяснили, как прийти к

правильным выводам. Лучиени сказал бы, и что это труп его бабушки, если бы ему угрожали не повышать в звании. Он показал мне свой отчет. «Белый европеец, около сорока лет, нижняя челюсть выдается вперед, на больших берцовых костях видны следы сифилиса». «Но, герр корветтенарцт, — возразил я, — у меня дважды был сифилис, но это не делает меня эрцгерцогом. Как говорят философы, это необходимое условие, но недостаточное». Но он уперся. «Ну и что? Я врач, но также и морской офицер, как и вы, и должен подчиняться дисциплине. На кону престиж монархии, так что науку следует отставить в сторону».

— Что произошло после этого?

— Навалились другие проблемы, и всё позабыли. Как вы знаете, я сошел с корабля в Апии, а потом произошла та заварушка на Новой Силезии. Когда корабль захватили мятежники, они ворвались в каюту профессора Сковронека и выкинули его коллекцию черепов за борт, сказав, что она приносит кораблю несчастье. Но те кости лежали в ящике в трюме и остались в целости. Из Рабаула я отправил рапорт с подробными объяснениями, но к тому времени всё уже сообщили императору, так что, как я понимаю, мой рапорт тактично затерялся где-то по дороге. В любом случае, в Поле нас встретили приспущенный флаг на задрапированном черным лихтере, в ожидании ящика, хотя никто не знал, чьи это кости. Я всё еще беспокоился, что мы можем попасть под трибунал, и потому не стал говорить: «Погодите, это всё мистификация, я могу объяснить!» Конечно, это не просочилось в прессу. В 1889 году Иоганн Сальватор отказался от титула и официально не считался членом императорской семьи. Но ему всё равно устроили закрытые похороны в склепе Капуцинов — просто камень в полу с инициалами «И.С». Меня тоже пригласили.

— И что вы чувствовали в связи с этим?

— Просто ужасно. Мне хотелось заорать: «Вас обманули, человек, которого вы похоронили, это простой английский моряк. Тот, кого вы искали, все еще жив, и он на Огненной Земле, где устроился с бывшей субреткой, и безумен как шляпник!» Но я не смог этого сделать, я ведь только что стал бароном Залески, получил два широких золотых галуна на обшлага мундира и орден Леопольда на грудь. А особенно трудным это сделалось после того, как Старый Джентльмен, наш император, подошел ко мне после церемонии, взял за руку и сказал: «Залески, мы очень вам благодарны. Это было ужасно, но теперь наши сердца успокоились». Ну как я мог после этого что-то сказать?

— А что стало с Иоганном Сальватором, или Иоганном Ортом, или как он там себя называл?

— Точно не знаю. Спустя годы, в Триесте, я слышал историю о том, как в 1903 году мужчина и женщина, называвшие себя Ортом и его любовницей, сошли с корабля из Буэнос-Айреса и попытались обналичить чеки семейного банковского счета. Им дали полгода за попытку мошенничества, затем полиция депортировала их назад в Аргентину.

— А потом?

— Понятия не имею. Но когда я был в Монтевидео на старом «Кайзере Карле»... Когда ж это было?.. Году где-то в 1912-м. Так вот, я разговаривал с австрийским консулом, и он рассказал, что несколько лет назад по овцеводческим ранчо Патагонии ездил человек, называющий себя эрцгерцогом, с подругой-австрийкой и труппой танцующих йодль индейцев, они показывали какую-то кошмарную оперетту, пока однажды вечером один гаучо из публики не взобрался на сцену во время второго акта и не воткнул нож в герра Орта, играющего на аккордеоне.

— Если это та же отвратительная музыка, которую нам довелось услышать, я удивлен, что этого не случилось во время первого акта.

— Это точно. Хотя консул сказал, что убийство произошло не из-за музыки. Гаучо был валлийцем по имени Пабло Хопкинс. Он возмутился, что они играют в шаббат.

— Понятно. Конец истории, *sic transit* и все такое. И это больше вас не беспокоило?

— Иногда. Я не святой, но не люблю лгать. Знаете, как это бывает — это меня не беспокоило, пока не стало слишком поздно, до того дня, когда я лежал на койке у себя в каюте с куском британского снаряда в печени. Меня перенесли туда из лазарета, потому как врач решил, что я не жилец, британцы задали нам порядочную взбучку, и в лазарет поступали всё новые раненые. Ко мне прислали капеллана, чтобы соборовал, он тоже был ранен — голова перевязана. Я исповедался, рассказал о деле Иоганна Сальватора и попросил его отпустить и этот грех. Он ответил: «Нечего отпускать. Церковь всегда считала, что выдумка ради благой цели порой не хуже правды».

Ну вот, такова история моего первого океанского плавания. О том, как мальчишка из маленького городка в сердце Европы оказался на борту военного парусника во время кругосветного путешествия и в итоге застрял на необитаемом острове. Похоже на бюргерскую пародию на приключенческие романы, которые, собственно, и привели его туда. Надеюсь, это покажется вам интересным, не только как воспоминания о последних днях парусных военных кораблей, но и о давно исчезнувшем мире в котором я родился, старой многонациональной монархии

Габсбургов, обладающей серьезными недостатками, но и многими мелкими достоинствами, большинство последних я оценил, только когда ее не стало.

Возможно, вам трудно поверить, что когда-то я был юн, что человек, которого вы видите перед собой, уже наполовину пребывающий в состоянии не то животного, не то минерала, когда-то карабкался на мачты во время шторма, старшие офицеры когда-то задавали ему взбучки, и однажды он плавал в бухте Апии вместе с юными самоанками. Да и как вы в это поверите, если я и сам-то с трудом верю? Но всё это случилось, это так же точно, как то, что деревянный барк «Анхарад Притчард» лежит на гальке на дальнем конце бухты.

Все мы знаем, где начинается наше путешествие, но кто скажет, где оно закончится? Мог ли тот неизвестный английский моряк, выйдя как-то ночью в 1890 году пьяным из прибрежного бара в Монтевидео, предвидеть, что отправляется в плавание, которое приведет его кости в могилу рядом с императорами и эрцгерцогами в склепе Капуцинов? Вскоре я тоже умру, и меня похоронят здесь, на кладбище у пляжа, всего в сотне метров от останков судна, на котором я побывал в Тальтале восемьдесят пять лет назад.

Соленая пена зимних штормов промочит наши могилы, и мы оба превратимся в ничто — останки парусника и кости старика, служившего на одном из последних таких кораблей. Самые подходящие для меня похороны — это завернуть в парусину и привязать груз к ногам.

Ну вот, звонок к ужину. Сегодня я пропустил молитву, чем заслужил два дня ареста в карцере на хлебе и воде, если только об этом прознает сестра Фелиция. Хотя мне теперь всё равно. Эти записи непросто мне дались — в последние дни я чувствую слабость, а значит, вероятно, скоро отдам швартовы. Но если это так, то я умру счастливым, осознавая, что запечатлел увиденное в Дунайской монархии и ее великолепный, безупречный флот, в котором я имел честь служить.

В последующие годы я многое пережил, но мне особо нечего добавить. Мне было всего тридцать два, когда рухнула монархия, но сейчас я понимаю, хотя никогда не думал, что придется это сказать: моя единственная родина — это старая Австрия. Немодная, хаотичная и бюрократическая империя, которой я когда-то служил, была особой цивилизацией.

Ничего похожего никогда не было и не будет, пока мир не налетит на небесную ось, то есть — никогда. Вот почему я несколько месяцев рассказывал вам о том, что помню.

Но больше мне сказать нечего, по крайней мере, ничего ценного, и потому я оставляю вам мои воспоминания в надежде, что кто-нибудь их услышит. В конце концов, будет жестокой шуткой, если я, прожив так долго и столько всего повидав, и не оставлю никаких записей. Жизнь, написанная на воде.

Яндекс Деньги

410011291967296

WebMoney

рубли – R142755149665

доллары – Z309821822002

евро – E103339877377

PayPal

istoricheskij.roman@gmail.com

VISA, MASTERCARD и др.:

https://vk.com/translators_historicalnovel?w=app5727453_-76316199

notes

Примечания

Сборник из десяти назидательных стихотворений, написанных франкфуртским психиатром Генрихом Гофманом в 1845 году. Сборник стал одной из первых в истории детских книжек с картинками. Назидания в «Штрувельпетере», призванные отучить детей от вредных привычек, облечены в устрашающую, а иногда и просто кровожадную форму, напоминающую садистские стишки и «вредные советы» советского времени.

Принятое на юге Германии и в Австрии приветствие. Буквально означает «Благослови вас Господь».

Эдлер (Edler, Эдлер фон), от немецкого edel — благородный. До 1919 года — фамильная приставка в австро-венгерских и германских титулах для безземельных дворян, которым патент на дворянство вручался за заслуги. Ниже рыцарского (Ritter), но выше дворянского звания с одним «фон» перед фамилией.

Доктор Томас Арнолд (1795-1842) — английский педагог. Преподавал в закрытой школе в Регби, где ввел изучение истории, географии, французского и немецкого языков, старался приучить учеников к самостоятельному мышлению. Модель регбийской школы стала образцом для прочих школ.

Обширный степной регион на северо-востоке Венгрии, часть Среднедунайской низменности.

Игнатий де Лойола — основатель ордена иезуитов, фанатичный католик и видный деятель контрреформации.

Выбленки — тонкие тросы, ввязанные горизонтально между вантами, параллельно друг другу. Образуют ступеньки для подъема матросов на мачты, марсы, салинги и реи.

Гордень — снасть бегучего такелажа парусного судна, с помощью которой прямые паруса подтягивают к реям. В зависимости от местонахождения гордени получают дополнительные наименования (бык-гордень — для нижней шкаторины паруса, нок-гордень — для боковой).

Маквис — заросли вечнозелёных жестколистных и колючих кустарников, низкорослых деревьев и высоких трав в засушливых субтропических регионах.

Прошу прощения (нем.)

- Чего?
- Вы не могли бы мне помочь?
- Извини, не понимаю (смесь нем. и итал.)

Armstrong, буквальный перевод с английского — «Сильная рука».

Abtreten sofort — вольно (нем.)

Ирредентизм (от итал. *irredento* «неосвобождённый») националистическое движение в Италии в конце XIX — начале XX века, направленное на присоединение к Италии приграничных территорий Австро-Венгрии с итальянским населением — Триеста, Трентино и других.

15

Очистить корабль к сражению (нем.)

Виндjamмер — последнее поколение крупных коммерческих парусников, появившееся в конце XIX века на основе достижений промышленной революции.

17

Очистить корабль к сражению (нем.)

«Песня венского извозчика» (нем.)

«С двумя своими злыми воронами стою я у канавы» (венский диалект немецкого)

Мономотапа — крупное государственное образование доколониального периода на территории Южной Африки. Занимало территорию современного Зимбабве и отчасти Мозамбика, ЮАР, Лесото, Свазиленда, Ботсваны, Намибии и Замбии.

«Жозефина Мутценбахер, или История жизни венской проститутки, рассказанная ею самой» — эротический роман.

Шки́мушка или шкимушга́р — веревка, ссученная вдвое из пряжи старого каната, от голл. *schiemansgaren*.

— Прости, мисс Я не очень хорошо говорю по-португальски
(порт.)

— Пожалуйста, не беспокойтесь. (польск.)

Простите, сеньор, где здесь ближайшая католическая церковь? (исп.)

Чего тебе, парень? (исп.)

Я ищу католическую церковь. Мой друг хотел бы отслужить мессу по недавно скончавшейся матери. (искаж. исп.)

Иностранцы? Гринго? Британцы? Немцы?

30 января 1889 года в императорском охотничьем замке Майерлинг были обнаружены тела покончивших с собой кронпринца Австро-Венгрии Рудольфа и его возлюбленной, баронессы Марии Вечеры.

Прикрепляемый к внешнему косяку двери в еврейском доме свиток пергамента духсустуса из кожи ритуально чистого (кошерного) животного, содержащий часть текста молитвы Шма.

Гран-Чако — слабозаселённый, жаркий тропический регион с полупустынным ландшафтом в бассейне реки Парана (бассейн Ла-Платы), в настоящее время административно разделённый между Боливией, Парагваем (северо-запад), Аргентиной и Бразилией.

Общество святого Викентия де Поля — международное католическое движение, занимающееся благотворительной деятельностью.

Тринити-хаус — официальная организация, отвечающая за навигацию в Англии, Уэльсе и других британских территориальных водах, за исключением Шотландии и острова Мэн и Северной Ирландии. Она несет ответственность за предоставление и обслуживание навигационных средств, таких как маяки, буи, морские радио/спутниковые системы связи.

Тысяча маленьких цветов Иисуса (фр.)

Смирение истинно верующего (фр.)